АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1984

СОДЕРЖАНИЕ

Кацнельсон С. Д. (Ленинград). Речемыслительные процессы 3
Кубрякова Е. С. (Москва). О номинативном компоненте речевой деятельности 13

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Зыцарь Ю. В. (Тбилиси). О единстве сознания и различиях языков . . . 23
Верещагин Е. М. (Москва). К проблеме краесогласия слов в византийской гимнографии (в связи с анализом рифмы в древнеславянских переводах) 33
Малкова О. В. (Москва). К истории образования восточнославянских языков (По данным Галицкого евангелия 1266—1301 гг.) 45
Франчук В. Ю. (Киев). О языке древнерусской дипломатии 58
Шевякова В. Е. (Москва). О некоторых закономерностях взаимодействия интонационных и синтаксических средств выражения грамматического значения 70

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Гречко В. К. (Ленинград). О семантике пассивных конструкций (на материале немецкой научной речи). 76
Томахин Г. Д. (Москва). Топонимы как реалии языка и культуры (на материале географических названий США) 84
Ушаков В. Д. (Москва). Стилистическая функция фразообразовательных средств (на материале текста Корана) 91
Чесрчиев М. Ч. (Махачкала). К теоретическому обоснованию фонологических экстраполяций (на материале аварского языка) 102
Пюрбеев Г. Ц. (Москва). Об актуальности типологического изучения синтаксиса предложения монгольских языков 106
Бузаров В. В., Бузарова М. Д. (Пятигорск). О нейтрализации на синтаксическом уровне 116
Харитончик З. А. (Минск). Семантические особенности производных признаковых слов 124
Беркетова З. В. (Алма-Ата). Иерархические и параллельные связи мотивационных полей современного немецкого языка 131

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Демьянов В. Г. (Москва). Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол 140
Карпенко Ю. А. (Одесса). *Lutterer J., Majtán M., Šrámek R.* Zeměpisná jména Československa. Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Malé encyklopedie 144
Карлинский А. Е. (Алма-Ата). *Копыленко М. М., Саина С. Т.* Функционирование русского языка в различных слоях казахского населения . . . 146
Мокиенко В. М. (Ленинград). *Matešić J.* Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika 148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 151

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. Н. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1984 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

КАЦНЕЛЬСОН С. Д.

РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Утвердившееся в соссюрианской традиции понимание речи (parole) как «реализации» языка (langue) односторонне соотносит речь с языком, безоговорочно причисляя ее к языковым явлениям (langage). Но речь — это не только и даже не столько «исполнение симфонии языка» [1, с. 41; ср. 2, 3], сколько осуществляемое при содействии языка «исполнение» мысли. Язык вливается в речь не как целостная структура с присущей ей внутренней организацией, а фрагментарно, отдельными строевыми элементами, отбираемыми сообразно потребностям выражаемой мысли и получающими в речи свое особое построение. Отчасти это признавал и сам Ф. де Соссюр, определявший речь как «комбинации, при помощи которых говорящий субъект пользуется языковым кодексом с целью выражения своей личной мысли» [1, с. 38]. Но будучи убежден, что главное в языке — это не конкретные, связанные с понятиями значения, и не звучания как таковые, а обусловленные внутрисистемными отношениями абстрактные «значимости», он стремился оградить речь от «вторжения» посторонних областей психики, акустики и физиологии и отводил языку господствующую роль при истолковании речи [1, с. 34—35].

Анализируя процесс употребления языкового кода, Соссюр вычленял в нем три звена: 1) отбор «означаемых» применительно к данной ситуации и их сочетание с акустическими образами; 2) конструирование фраз из комбинаций словесных знаков и 3) «фонационное исполнение» знаков с помощью голосового аппарата. Лишь центральное звено — конструирование синтаксических цепочек — составляет, по Соссюру, специфическое содержание процесса речеобразования. Остальные звенья, по его мнению, прямого отношения к языку не имеют и представляют лишь побочный интерес [4, с. 96—97].

Р. Годель справедливо писал по этому поводу: «Но если речь — это акт передачи мысли с помощью языковых знаков, а не просто знаки, состоящие из членораздельных звуков, то удивительно, что Соссюр постоянно называет ее исполнением (execution). Такой термин представляется особенно неподходящим, для чего имеются, быть может, два основания. Прежде всего он не занимался тем, что он называл реализацией означаемого, т. е. употреблением общего знака применительно к конкретной ситуации. Иногда кажется, что он подразумевал это, говоря о „потребностях речи“, о связанных с ней „обстоятельствах“. Но эта чисто психическая операция не могла привлекать его внимания и он допускал ее лишь на периферии лингвистики, так же как он поступал и в отношении ее физиологического аналога,— фонации...». И далее: «С другой стороны, как широко Соссюр ни понимал речь, он совершенно не склонен был подчинять язык речи... Обратное воздействие мысли на знаки представлялось ему менее важным, если не вовсе ничтожным» [5].

В дальнейшем языковеды отказались от односторонних установок Соссюра в пункте, касающемся фонационных явлений. Теперь уже мало кто сомневается в том, что реализация произносительных способностей существенным образом входит в процесс речеобразования. Не прекращающаяся с двадцатых годов интенсивная разработка фонологии убедительно выявила лингвистический аспект речевой фонации и со всей остротой поставила вопрос об артикуляторных и психофизических предпосылках образования фонологических единиц. В меньшей мере повезло другой области исследований, которую Соссюр называл «реализацией означаемого».

Антименталистические веяния в пососсюровском языкознании во многом содействовали укреплению мнения о «периферийном» и «экстралингвистическом» характере речемыслительных процессов. Лишь в самое последнее время наметилось движение и в этом пункте. Исследования в области актуального членения дают возможность подойти к раскрытию роли мышления в формировании речи.

В настоящей статье будут рассмотрены процессы речеобразования преимущественно с их смысловой стороны. Язык — это орудие не только коммуникации, но также формирования и экспликации мысли [4, с. 110]. Соответственно, и речеобразование — это менее всего процесс передачи готовой мысли или акт механического поэлементного перевода с какого-то внутреннего кода на натуральный язык. То, что Соссюр называл «реализацией означаемого», следует, скорее, понимать как сложный и многоступенчатый процесс, в котором формы языка необходимо сопутствуют мышлению от начальной фазы зарождения мысли до момента отчуждения и передачи ее слушателю. В этом смысле процессы мышления и речеобразования неотторжимы один от другого и представляют собой единый речемыслительный процесс. Роль и характер участия компонентов языкового строя в этом процессе, естественно, меняются от фазы к фазе, но на всех фазах они одинаково необходимы. Конечно, внутренняя сторона речемыслительных процессов скрыта от глаз наблюдателя, но исследователь языка вправе высказать свое суждение о ней, поскольку функциональное содержание языковых форм наталкивает его на определенные выводы. К тому же материалы смежных наук и, в первую очередь, исследований патологических состояний мозга, эффективно поддерживают его в его исканиях [6, 7].

Чтобы точнее определить роль языка в процессе мышления, следует прежде всего несколько уточнить понятие мышления в его отношении к сознанию. В известном смысле можно сказать, что деятельность мышления относится к сознанию примерно так же, как деятельность речи — к языку. В мозгу индивида сознание и язык образуют две относительно автономных области [1], каждая из которых обладает своей памятью, в которой хранятся относящиеся к ней знания, и своими средствами активации, способными извлечь из памяти и привести в движение необходимые в данный момент фрагменты знаний. Эти две области сопряжены между собой таким образом, что деятельность сознания всякий раз по необходимости сопровождается деятельностью языка, вызывая к жизни единый и сложный по своему составу речемыслительный процесс.

Сознание — это в некотором роде со-знание, т. е. совокупность знаний об окружающем мире, которыми так или иначе овладел индивид. Говоря об индивидуальном сознании, присущем ему инвентаре знаний, мы имеем в виду не только научные или книжные, но также, и даже в первую очередь,— житейские и практические знания.

О том, как хранятся все эти знания в памяти сознания, можно лишь делать предположения. Ясно, во всяком случае, что не в виде готовых речевых текстов. В арсенале наших знаний могут, конечно, храниться выученные наизусть тексты (например, стихи или таблица умножения), но такой способ хранения знаний вряд ли можно признать господствующим. Тот факт, что словесное воспроизведение знаний требует каждый раз импровизации, форма и объем которой меняются в значительных пределах в зависимости от ситуативных условий, говорит скорее об обратном.

Можно предполагать, что в основной своей массе знания закодированы в нашем мозгу особым кодом и что характер этого кода в известной мере зависит от природы усвоенных нами знаний. Конкретные, непосредственно полученные в житейском опыте знания сохраняются, по-видимому,

---

[1] Говоря о сферах сознания и языка в мозгу индивида, мы, конечно, не имеем в виду их локализации в отдельных «центрах» во френологическом смысле. Как показали современные нейрофизиологические исследования, эти сферы представляют собой сложные функциональные системы, координирующие работу многих взаимодействующих и отчасти компенсирующих друг друга динамических структур в коре головного мозга.

в виде образных фрагментов пережитого прошлого. Американские нейрофизиологи В. Пенфильд и Л. Робертс называют сектор памяти, сохраняющий «все те вещи, о которых человек знал, даже незначительные переживания в постоянной последовательности»,— «памятью пережитого» [8, с. 209—210]. С помощью электрического раздражения нейрохирургу иногда удается активировать прошлые переживания, и тогда больной словесно воспроизводит образы пережитого, в строгом временном порядке, от начала к концу, подобно тому, как если бы они были запечатлены на ленте кинофильма или в магнитофонной записи. В нормальных условиях человек вспоминает лишь немного деталей, его память сохраняет лишь наиболее существенное или самое впечатляющее из того, что он пережил, но образный характер «записи» в мозгу несомненен [8, с. 56].

Сложнее, надо думать, обстоит дело с хранением теоретических знаний. Запоминание пережитого играет, по-видимому, и здесь значительную роль. Внешние обстоятельства, сопутствовавшие усвоению знаний, например, беседы и споры со знающими людьми, эпизоды, имевшие место в лаборатории, и наглядные пособия, демонстрировавшиеся на лекции, внешний вид прочитанных книг или журнальных статей и сделанные в данной связи заметки и записи так или иначе «врезаются» в память, закрепляя приобретенные знания. Но простым воспроизведением событий и схематизацией образов все дело на сей раз не ограничивается. Для усвоения и хранения теоретических знаний более существенны процессы упорядочения вновь полученных знаний и увязки их с ранее известными, выделение ключевых фактов и объединяющих их внутренних связей, а также опущение всего того, что легко может быть восстановлено при помощи выводного логического аппарата. Сколь разнообразны бы ни были формы хранения знаний в нашем уме, в их основе во всех случаях лежат предметно-содержательные связи [9].

Активное оперирование элементами сознания при решении тех или иных жизненных задач и есть процесс мышления. Деятельность мышления развертывается всякий раз, когда практическая деятельность выдвигает перед нами те или иные задачи, когда расширяющийся опыт приводит к накоплению новых знаний, когда вновь приобретенные знания оказываются в противоречии со старыми и возникает необходимость в их взаимном согласовании и упорядочении, когда перед нами встает необходимость обмена опытом с другими людьми. Эта деятельность не может протекать без содействия языковой системы.

Основные знания, хранящиеся в «памяти» языковой сферы, это знания слов и их значений. Средствами активации этих знаний являются грамматические формы, актуализирующие отобранные лексические единицы и выстраивающие их в предложения и цепочки предложений. Фонологические элементы и фонологические средства активации создают возможность «озвучения» подготовленных высказываний и передачи их вовне. В контексте данной статьи, посвященной содержательной стороне процесса речеобразования, мы не будем интересоваться вопросами «фонационного исполнения» высказываний. В центре нашего внимания будет стоять предшествующий фонации внутренний этап речемыслительного процесса.

Избирательная актуализация слов и превращение их в элементы речевого ряда совершается в сфере языка не спонтанно, а заданно. Потребности формирования мысли и последующей ее коммуникации определяют характер языковых элементов, последовательно включаемых в речемыслительный процесс на разных фазах его протекания. В этой связи предшествующий фонации этап можно подразделить на две основных фазы: первичную фазу (формирование мысли) и вторичную фазу (дальнейшее преобразование мысли в целях коммуникации).

На первичной фазе формирования речемыслительного процесса поток активированных элементов сознания членится на отдельные кадры, каждый из которых отражает отдельные события или состояния. Средством членения потока мысли на отдельные кадры являются реляционные предикаты и необходимые для их конкретизации формальные понятия или значения. Возникающие из сочетаний реляционных предикатов и значений

пропозиции являются матрицами, на базе которых постепенно складываются предложения.

Восходящее к Лейбницу понятие пропозиции отличается от предложения тем, что пропозиция выражает определенное событие или состояние как отношение между логически равноправными предметами. Предложения 1) *Левин дал брату денег взаймы*, 2) *Брат взял у Левина денег взаймы* и 3) *Деньги были получены братом в долг от Левина* фактически выражают одно событие, участниками которого явились Левин и его брат, оперировавшие некоторой суммой денег. Если это событие может получить различное выражение, то объясняется это тем, что за отправной пункт высказывания берется в одном случае Левин, в другом — его брат, а в третьем — деньги. Сам по себе каждый из членов отношения не является ни субъектом, ни прямым или косвенным объектом, что видно уже из того, что каждый из них может оказаться в различных синтаксических позициях. Синтаксическое оформление члена отношения зависит от привходящих обстоятельств, связанных с построением текста, и не вытекает из природы отображаемых фактов. Пропозиция содержит в себе момент образности и в этом отношении более непосредственно отражает реальность, чем предложение. Подобно картине она изображает целостный эпизод, не предписывая направления и порядка рассмотрения отдельных деталей. Лейбниц допустил ошибку, когда в духе своей идеалистической метафизики заключил, что пропозиция есть нечто «чисто идеальное». Такой вывод, как заметил Г. Клаус, основан на ложной посылке, будто реальны только одноместные предикаты (свойства). На деле, однако, многоместные предикаты, отражающие связи и отношения между многими предметами, не менее реальны, чем одноместные [10].

Реляционный предикат можно представить себе, пользуясь сравнением Г. Вейля, в виде дощечки с высверленными в ней отверстиями по числу «мест» данного предиката, а конкретные обозначения, которые должны заполнить эти «места» при превращении реляционного предиката в пропозицию,— в виде колышков, вставляемых в отверстия дощечки [11]. Такое сравнение хорошо передает специфические свойства пропозиции, ее целостность и симультанную обозримость. Реляционный предикат *дать* (*взять*) *взаймы* имеет при себе три «пустых клеточки» для обозначений заимодавца, должника и отдаваемой в долг ценности. Чтобы превратить этот трехместный предикат в пропозицию, его «клеточки» должны быть заполнены конкретными образами соответствующих лиц и предметов.

Многоместные предикаты прямого соответствия в языке не находят. Как правило, им в языке соответствует несколько словесных предикатов, каждый из которых выражает данное отношение со стороны одного из его членов. Встречаются, правда, случаи, когда словесный предикат приближается по своим свойствам к реляционному, ср. англ. *burn* «жечь» и «гореть» или нем. *kochen* «кипятить» и «кипеть». Но и в этих, относительно редких, случаях сходство будет неполным, т. к. в синтаксической конструкции словесные предикаты неизменно различают позиции подлежащего и дополнения.

Реляционный предикат — это, таким образом, некий элемент мысли, получающий одностороннее выражение в языке и помогающий преодолевать односторонность такого выражения. Восприняв предложение *Охотник подстрелил утку*, мы восстанавливаем в нашем воображении всю картину, хотя глагол *подстрелить* непосредственно сообщает лишь о действии охотника. Все дело в том, что такие словесные предикаты, как *подстрелить* и *быть раненным*, или *быть старше* и *быть младше*, или *быть отцом* и *быть сыном* (или *дочерью*) находятся в отношении дополнительной дистрибуции один к другому, попарно восходя к реляционным предикатам нашего мышления. Выступая как средства квантования элементов сознания на дискретные пропозиции, реляционный предикат сам по себе не составляет законченной пропозиции. Чтобы придать пропозиции завершенный характер, необходимо еще заполнить ее «пустые клеточки», мысленно поименовать «действующих лиц» данной пропозиции. Эта функция выполняется при содействии языка, точнее, его семантической системы [12].

Вычленение семантики в качестве самостоятельного «блока» или «узла» может показаться неоправданным. Элементы этого «узла» — понятия или значения — обычно относят к сфере мышления. Но сетка понятий, без которых невозможна конкретизация реляционного предиката и преобразование его в пропозицию, тесно связана с языком и его лексикой. Понятия, образующие область семантики,— это не те содержательные понятия или знания, с которыми мы сталкивались раньше при рассмотрении сферы сознания, а формальные понятия, в большей или меньшей мере совпадающие со значениями слов. Из всех наших знаний о предмете они выхватывают небольшую часть, некоторые броские признаки, внешние приметы, существенные не сами по себе, а лишь как средство отождествления предмета и его отграничения от прочих предметов. Даваемые в толковых словарях пояснения значений неплохо очерчивают содержание формальных понятий. Их связь со словами не всегда однозначна. Одно и то же понятие может быть по-разному выражено в данном языке, и это обстоятельство делает семантику до некоторой степени автономной от лексики.

К выводу о необходимости различать блок сознания и блок формальных понятий или значений приходят также некоторые психологи и нейрофизиологи. Так, В. Пенфильд и Л. Робертс различают три рода памяти: память пережитого, память понятий и словесную память, из которых первая соответствует нашей памяти сознания, а вторая — нашей памяти формальных понятий или значений [8, с. 209—211]. Относительная независимость сетки понятий от запоминания слов ярко проявляется в ряде случаев афазии. Так, у некоторых больных с нарушением звуковой схемы слов понятия сохраняются, но подыскание слова затруднено. Отчетливо представляя себе, что хотят сказать, они часто не могут найти нужное слово («ну вот... это ... ведь я знаю... эх ...ну вот...») [14].

Разворачивающийся в пропозициях речемыслительный процесс и есть, по-видимому, то, что психологи называют «внутренней речью». Согласно Л. С. Выготскому, внутренняя речь отличается не только «обеззвученностью», но главным образом своим специфическим строением. Синтаксис этой речи предельно сжат, все, что представляется мыслящему субъекту самоочевидным или хорошо известным, опущено. Кроме реляционного предиката и семантически выделенных членов отношения в пропозиции ничего не дано. Переходы от одной пропозиции к другой и от одного фрагмента речи к другому без особой нужды не эксплицируются [15]. Недостаточная оформленность и разорванность этой речи может быть, как нам думается, хорошо объяснена из глобальности реляционных предикатов и отсутствия необходимости считаться с интересами слушателя.

Между внутренней речью и передачей речи вовне располагаются фазы внутренней подготовки речевого акта. То, что психологи называют «внутренней речью», слишком синкретично и обрывочно, чтобы внешняя речь могла появиться в результате простого «фонационного исполнения» внутренней речи. Для осуществления перехода к внешней речи необходима предварительная работа по преобразованию и обогащению внутренней речи.

Внешняя речь отличается от внутренней прежде всего тем, что она ориентирована на слушателя; говорящий должен считаться с уровнем знаний слушателя, учитывать, что́ ему известно и что́ неизвестно, и в зависимости от этого строить свою речь. Внешняя ситуация речи, условия времени и места существенно влияют на форму и степень словесной экспликации мысли, определяя тип словесной коммуникации (диалогическая или монологическая речь, устная или письменная, публичная или частная и т. д.).

Тема и план речи, во внутренней речи не требующие специального выражения, отражаются в той или иной форме в общем построении сообщения и его деталях. Выработка плана не всегда носит осознанный характер, но имплицитно план всегда дан. Существенные отступления от темы или плана, как правило, отмечаются не только слушателями, но и самим говорящим. Развернутое сообщение всегда подразделяется на отрывки, которые отделяются один от другого особыми интонациями и паузами, ме-

ной тематического подлежащего, вводными замечаниями и т. д. Средства межфразового синтаксиса еще плохо изучены грамматикой, которая в своих исследованиях обычно не выходит за пределы отдельного предложения. Между тем уже такие хорошо известные грамматические факты, как анафорические местоимения или формы выражения темпоральных отношений, являются по сути дела средствами организации широкого контекста и подлежат введению межфразового синтаксиса.

Внутренняя речь, не предназначенная для передачи вовне, обходится без указаний на временную последовательность событий. Она естественно следует той «нити времени», которая пронизывает все наше сознание, обуславливая порядок хранения относящихся к прошлому материалов [8, с. 57—58]. Внешняя речь, напротив, невозможна без указаний на временные соотношения событий. Глагольные формы времени и вида, особые временные слова и выражения (*сначала*, *потом*, *вслед за этим*, *ранее*, *позднее*, *по прошествии некоторого времени* и т. д.) призваны внести временну́ю перспективу в структуру речи. При наличии элементов рассуждения и логических выводов в речи функцию межфразовых сочленений выполняют слова и обороты типа *стало быть*, *таким образом*, *значит*, *итак*, *отсюда вытекает*, *ведь*, *однако*, *во-первых*,... *во-вторых*..., *например*, *другими словами*, *иначе говоря* и т. д.

Значение тематического единства и плана развертывания и понимания сложного текста хорошо иллюстрируется фактами нарушения динамики речевого мышления. Как отмечает А. Р. Лурия, больные с динамической афазией не обнаруживают дефектов в произношении, могут без труда называть предметы и составлять предложения, хорошо понимают слова и предложения, иногда даже сложные грамматические конструкции, но испытывают серьезные затруднения при попытке самостоятельно построить (или понять) развернутый контекст. Из уст таких больных часто можно слышать жалобы на то, что им трудно составить программу или схему речевого высказывания, удержать порядок изложения и связать отдельные отрывки между собой [16].

Основной структурной единицей речевого текста является, как известно, предложение, и проблема порождения текста фактически сводится к проблеме порождения цепи связанных между собой предложений. Теория Н. Хомского и его последователей, избравшая своим объектом процесс порождения речи, оставляет, к сожалению, открытым вопрос о порождении предложения. В исходном для всего процесса пункте она, в сущности, сохраняет старую установку дескриптивистики, которую в общем стремится преодолеть. Точка зрения синтеза уступает здесь место анализу, и предложение выводится из элементов, полученных путем расчленения готового предложения на непосредственно составляющие. В итоге получается порочный круг. Коренной вопрос, «каким образом говорящий выбирает содержание своих высказываний», так и не получает ответа [17].

Предложение формируется не путем соединения разрозненных слов или морфем, а на основе пропозиции. Отбор языковых элементов в главнейшем предопределен содержанием пропозиции, местом ее в сообщении и общей ситуацией речи. Структурно предложение резко отличается от пропозиции. Переход от пропозиции к предложению предполагает замену многочленных отношений бинарными. Необходимость такого шага диктуется формальной природой процесса построения речи (линейным характером расположения дискретных единиц языка в речевой цепи и древовидной структурой предложения). Развертывание предложения начинается с разбиения содержания пропозиции на подлежащее и группу сказуемого. Возведение одного из членов многоместного отношения в ранг подлежащего и, соответственно, низведение всех остальных до уровня «дополнений» к сказуемому,— таково непременное условие преобразования пропозиции в предложение.

Что в структуре предложения подлежащее играет особую роль и противостоит всей группе сказуемого, доказывается грамматическим строем любого языка. Морфологически это противопоставление может быть выражено различными способами (порядком слов, противоположением согла-

сования и управления, различными типами согласования в комбинации с порядком слов и т. д.), но повсюду оно лежит в основе фразового построения. Как глубоко эта структурная особенность пронизывает весь строй речи, показывают факты афазии, вызванной нарушением основной схемы высказывания. У больных поврежден механизм, сопрягающий подлежащее с предикативной группой, вследствие этого один из главных компонентов предложения исчезает. Нарушения предикативной функции речи вызывает у больного явления аграмматизма и так называемого «телеграфного стиля». Речь его состоит из изолированных слов, выражающих отдельные объекты или действия и обычно употребляемых в исходной форме (существительные — в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве) [18, с. 86, 91, 217]. В случаях нарушения функции подлежащего высказывание больного сводится исключительно к характеристике предмета. Когда больному показывают изображение предмета и просят назвать его, например, пилу, то он обычно заменяет название парафразой («ну ... это ... железо ... нет ... лопата... нет ... железная ... ну вот ... эти дрова пилят ... ну ... железная пила») [19]. Что дело здесь не просто в утере названия, видно из того, что в составе предикативной группы или заученной фразы больной в состоянии произнести нужное слово [18, с. 213]. Особенно показательны в этом отношении случаи временной афазии, вызванные электрическим раздражением. Больному показывают рисунок, и он легко узнает изображенный предмет: «это то, на что надевают ботинок». Но только после удаления электрода он говорит: «нога» [8, с. 208; 20].

Как же совершается отбор подлежащего и связанной с ним формы сказуемого? Эта молниеносно протекающая в уме говорящего операция отнюдь не проста и зависит от действия таких факторов, как требования коммуникативного динамизма и структурные особенности данного языка. Динамика речемыслительного процесса определяется ориентацией на слушателя. Если собственно «внутренняя речь» является речью для себя, то при подготовке внешней речи говорящий должен стать на точку зрения собеседника, исходить из степени осведомленности слушателя. Нормальный ход коммуникации состоит в постепенном продвижении от известного к неизвестному. Говорящий может передать слушателю новую информацию, только отталкиваясь от заранее известных последнему данных и сведений, ставших известными в ходе самой коммуникации. Это обстоятельство накладывает свою печать на каждое отдельное звено коммуникации, каждое предложение. Роль различных членов предложения в процессе коммуникации неодинакова, и лингвист обязан учитывать «степень коммуникативного динамизма» [21] или, иначе, «коммуникативную ценность» различных компонентов предложения. Наименьшим «коэффициентом динамизма» (КД) обладает член предложения, представляющий «данное», нечто уже известное слушателю, а наибольшим тот, который представляется «новым» и наиболее актуальным.

Из членов представленного в пропозиции отношения подлежащим часто становится тот, который отличается наименьшим КД. Но количество отклонений весьма велико, что побуждает нас пристальнее присмотреться к понятию подлежащего. В понятии подлежащего заключены два момента, которые не всегда «уживаются». Подлежащее — это 1) согласно классическому определению, «то, о чем говорится в предложении», т. е. тема данного высказывания, и 2) соответствующим образом оформленный член предложения, слово в соответствующей форме (причем под формой понимается падеж). Совпадение этих моментов в одном понятии не случайно, т. к. форма подлежащего вырастает на основе тематической функции. Но в качестве формы подлежащее выполняет и другие функции, которые могут вступить в противоречие с исходной.

Переход от пропозиции к словесному высказыванию предполагает, как мы видели, что любой из членов пропозиционного отношения может при надобности стать подлежащим высказывания. Но лексическая структура языка этому нередко препятствует. Если в одних случаях лексика языка допускает свободное изменение интенции (ср.: *Он получил от друга письмо*; *Друг прислал ему письмо* и *Письмо пришло ему от друга*), то в других слу-

чаях эта свобода ограничена (ср.: *Он спросил у соседа совета* или *У меня есть время*). Морфологически свободе интенции способствует наличие пассива. Но, как показал в свое время В. Матезиус, амплитуда употребления пассива в разных языках неодинакова: так, в русском языке она значительно у́же, нежели в английском. (В русском, например, невозможен пассив к косвенным объектам в роли подлежащего, как в англ. *He was given an advice.*) В случаях, когда отсутствуют другие возможности выражения, язык предписывает употребление единственно возможной формы сказуемого, независимо от того, является ли подлежащее темой высказывания или нет.

Другим источником противоречий между подлежащим-темой и подлежащим-формой являются безличные, или, точнее говоря, бесподлежащные сказуемые. В предложениях типа *Мне жаль тебя* или *Лодку прибило течением к берегу* ни один из членов отношения в силу особенностей конструкции не может стать подлежащим. Это касается не только многоместных, но и одноместных предикатов (ср.: *Мне больно* или *Рану затянуло*).

Поскольку тема является обязательной предпосылкой высказывания, а в ряде случаев употребление подлежащего в функции темы невозможно, то в языке, естественно, должны наличествовать другие способы тематизации членов пропозиционного отношения. Таким средством в языке со свободным порядком слов является постановка темы на первое место в предложении. Ср. отрывок из «Анны Карениной»: «Она и не задавала себе вопроса о том, как устроить это свидание. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет с ним в одном с ним городе; но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно теперешнее ее положение в обществе, и она поняла, что устроить свидание было трудно». Тематическое единство сообщения поддерживается здесь единством анафорического местоимения, повторяющегося в каждом предложении. Это местоимение стоит везде на первом месте в составе каркасного предложения. Если же анафорическое местоимение не во всех случаях выступает в форме подлежащего, то причиной этого являются интенционные особенности некоторых глагольных предикатов.

Под темой высказывания здесь, таким образом, имеется в виду — в отличие от общепринятого, несколько расплывчатого словоупотребления — не любое слово с наименьшим КД, открывающее собой предложение, а только член предложения, соответствующий члену пропозиционного отношения с наименьшим КД. Таким членом предложения обычно становится подлежащее, но необязательно подлежащее. Как мы видели, в этой позиции может оказаться и другой именной член предложения.

Может случиться, что темой предложения окажется подлежащее и все же не оно окажется тем членом предложения с наименьшим КД (т. е. тем «данным»), из которого исходит высказывание. Так, например, бывает в случаях, когда впервые вводится в сообщение обозначенный подлежащим некий предмет; будучи новым для слушателя, он получает высокий КД. Если предикат каркасного предложения при этом одноместный, то новым для слушателя оказывается все высказывание, и подлежащее в бо́льшей степени, чем предикат. Поскольку прямой (т. е. естественный) порядок слов заключается в расположении членов каркасного предложения в порядке возрастания КД, то подлежащее стоит теперь за сказуемым [22]. Ср.: *Жил-был старик*; *Наступила весна*; *Прилетели грачи*. Формой выражения такого смещения «предикативной силы» (т. е. возрастания КД) может быть и «логическое ударение». Ср.: *Почтальон приходил* (с эмфатически выделенным *почтальон*) как ответ на вопрос: *Кто звонил в дверь*?

До сих пор при рассмотрении процесса подготовки будущего высказывания мы оставались в рамках каркасного предложения, т. е. минимума предложения, состоящего из подлежащего, сказуемого и дополнений. В контексте целостной коммуникации этот каркас должен обрасти дополнительной информацией и, прежде всего, по линии актуализации его членов. Возникшее в результате преобразования пропозиции каркасное предложение в свою очередь становится основой для ряда дальнейших преобразований.

Пропозиция не нуждается в формах внешней актуализации, т. к. составляющие ее понятия «оживлены» конкретными представлениями. Но каркасное предложение, предназначенное для передачи вовне, подлежит конкретизации с помощью особых «актуализаторов». Грамматические средства актуализации навязываются говорящему системой языка. К ним относятся формы числа, артикль в некоторых его функциях, отчасти грамматический род или класс — у имен существительных, время и вид — у глагола. В функции актуализаторов выступают и некоторые строевые слова, например, кванторы *один*, *несколько*, *некоторые*, *много*, *все* и дейктические слова. Грамматические актуализаторы могут быть поддержаны лексическими, которые реализуются в виде определений к разным членам каркасного предложения, в том числе и к сказуемому, а также в виде обстоятельственных слов и словосочетаний (пространственных, временных, причинных и т. д.).

Распространенное с помощью лексических актуализаторов предложение может претерпеть дальнейшие изменения в связи с перераспределением степеней коммуникативного динамизма между его компонентами. В предложениях, где подлежащее или, шире, тема впервые вводится в сообщение и вследствие этого перетягивается в группу слов, выражающих нечто новое и еще неизвестное слушателю, «данным», или, иначе, компонентом с наименьшим КД может оказаться обстоятельство или обстоятельственная группа. Ср.: *На улице собралось много народу*; *Скоро заблестела река и открылся вид на широкий плес*; *Через два дня пришла телеграмма.* Повышение КД подлежащего (темы) немедленно, как мы видим, отражается на словопорядке. Выдвижение обстоятельства на первое место может произойти и независимо от изменения КД подлежащего (темы). Дело в том, что обстоятельства места, времени и др. очень часто перекликаются с содержанием предшествующего текста. Ср.: *Справа подымалось белое здание больницы*; *Через полтора часа они приехали в Петербург.*

Повышение КД и смещение предикативного центра может произойти в связи с появлением момента скрытого противопоставления в предложении. Ср.: *Зачем ты говоришь это мне*? (т. е. именно мне, а не кому-либо другому); *Я сегодня пойду домой* (пойду пешком, а не поеду); *Надень зимнее пальто* (именно зимнее, а не демисезонное). Средством выражения появляющегося в таких предложениях нового предикативного центра, наряду со старым, в русском и ряде других языков является эмфатическое выделение слова с повышенным КД («логическое ударение»). Порядок слов при этом обычно не меняется.

Из других факторов, оказывающих влияние на конкретный состав предложения и его конфигурацию, важно отметить еще и компрессию. Формы компрессии способствуют слиянию двух или нескольких каркасных предложений в одно сложное либо превращению каркасного предложения в «неполное», т. е. опущению одного или нескольких его членов, оказавшихся избыточными по контекстным или ситуативным условиям. Значительную роль играют и стилистические факторы, во многом обуславливающие отбор слов, характер распространения основных элементов предложения и другие стороны фразовой структуры. Но рассмотрение этих дополнительных сторон не входит в задачи настоящей статьи.

Окончательное определение состава и синтаксической структуры высказывания содержит в себе информацию, достаточную для понимания морфологической структуры отдельных компонентов, а также словопорядка и акцентуационного рисунка предложения. Накопление необходимой информации позволяет привести в действие механизм фонационного исполнения готового предложения. Таково естественное завершение того специфического этапа внутренней подготовки «внешней речи», который, непосредственно не совпадая с «внутренней речью», вместе с последней помогает лучше понять роль строевых элементов языка в процессе выражения мысли.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 1933.
2. *Щерба Л. В.* Преподавание иностранных языков в средней школе. М., 1974, с. 69.
3. *Зиндер Л. Р., Маслов Ю. С.* Л. В. Щерба — лингвист-теоретик и педагог. Л., 1982, с. 15.
4. *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
5. *Godel R.* Les sources manuscrites du cours de linguistique général de F. de Saussure. Genève—Paris, 1957, p. 154—155.
6. *Лурия А. Р.* Афазия и анализ речевых процессов.— ВЯ, 1959, № 2.
7. *Jakobson R.* Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen.— In: *Jakobson R., Halle M.* Grundlagen der Sprache. Berlin, 1960.
8. *Пенфильд В., Робертс Л.* Речь и мозговые механизмы. Л., 1964.
9. *Жинкин Н. И.* О кодовых переходах во внутренней речи.— ВЯ, 1964, № 6, с. 36—37.
10. *Klaus G.* Moderne Logik. Abriß der formalen Logik. Berlin, 1964, S. 266.
11. *Weyl H.* Philosophy of mathematics and natural science. Princeton, 1949, p. 4.
12. *Жинкин Н. И.* Механизмы речи. М., 1958, с. 360.
13. *Кацнельсон С. Д.* Содержание слова, значение и обозначение. М.— Л., 1965, с. 18—25.
14. *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1979, с. 272.
15. *Выготский Л. С.* Мышление и речь. М.— Л., 1934.
16. *Лурия А. Р.* Мозг человека и психические процессы. М., 1963, с. 296—339.
17. *Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К.* Планы и структура поведения. М., 1965, с. 167.
18. *Лурия А. Р.* Травматическая афазия. М., 1974.
19. *Лурия А. Р.* Высшие корковые функции человека. М., 1962, с. 337.
20. *Вулдридж Д.* Механизмы мозга. М., 1965, с. 221—224.
21. *Firbas J.* Non-thematic subjects in contemporary English.— In: Travaux linguistiques de Prague, 1966, 2, p. 240.
22. *Boost K.* Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes. Berlin, 1955.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

КУБРЯКОВА Е. С.

О НОМИНАТИВНОМ КОМПОНЕНТЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уже много лет продолжаются споры о статусе словообразования и о его месте среди других лингвистических дисциплин. В конечном счете это связано с поисками такой модели описания языка, которая позволила бы дать адекватное отражение и адекватное объяснение словообразовательным процессам — их структурным и семантическим характеристикам, их причинам и результатам, средствам и приемам их осуществления. В отечественном языкознании вопрос о месте словообразования в описании языка решался в соответствии с конструктивным тезисом В. В. Виноградова о двоякой зависимости явлений словообразования как от лексики, так и от грамматики изучаемого языка. В зарубежном языкознании полемика о природе и закономерностях протекания словообразовательных процессов способствовала четкому противопоставлению двух различных направлений в понимании словообразования — «лексикалистского» и трансформационного, или генеративного, «синтаксического».

Дискуссия между представителями двух этих направлений, нашедшая отражение в многочисленных публикациях [ср. 1—4], сводилась в общем к вопросу о том, следует ли представлять строение и функционирование системы словообразования «генеративно», т. е. в виде набора определенным образом организованных правил, или же в соответствии с позицией лексикалиста — либо списком, либо словарно, т. е. так, как подаются в словаре отдельные лексические единицы. Хотя по ходу этой дискуссии были освещены многие важные особенности словообразования, и в целом она, несомненно, способствовала развитию теории словообразования, нельзя не признать, что обсуждались здесь по существу те же проблемы, которые уже ставились в советском языкознании задолго до указанной дискуссии и, естественно, независимо от нее. Но вернуться к ней еще раз в свете новых данных представляется весьма целесообразным, особенно если принять во внимание, что именно словообразование не раз становилось в последние десятилетия тем пробным камнем, на котором проверялась адекватность той или иной модели описания языка [ср. 5].

При всей тщательности описания отдельных фрагментов словообразовательных систем и констатации общих черт в ее строении теория словообразования страдала в значительной мере от того, что она формировалась на недостаточно широком общем фоне. Нередко к тому же она разделяла ошибочные и теоретически уязвимые установки более общих концепций. Осмысление словообразования в рамках теории номинации и его освещение с ономасиологических позиций ведет к его определению как системы моделирования вторичных единиц номинации со статусом слова, обеспечивающей нормальное создание и функционирование этих единиц (см. подробнее [6, с. 224 и сл.]). Это позволяет, как нам кажется, проникнуть более глубоко в природу словообразовательных явлений и подойти по-новому к определению роли этих явлений в жизни языка. Такой подход предполагает рассмотрение словообразования с точки зрения его участия в номинативной деятельности человека, а значит — с учетом специфики процессов словообразования и результатов этих процессов в осуществлении актов номинации. В то же время при таком подходе требуется уточнение понятия номинативной деятельности и, в частности, уточнение роли этой деятельности в функционировании языка в целом.

Несмотря на существование значительной литературы, акты речи описываются в настоящее время безотносительно к используемым в них номи-

нативным средствам и приемам, т. е. так, как если бы акты номинации не составляли их непременного и обязательного компонента. Между тем акты наречения отдельных фрагментов действительности или выбора имен для описания этих фрагментов требуют отдельного описания: прежде чем рассказать о чем-либо, надо назвать это что-то и дать ему подходящее обозначение. И хотя акты словообразования или же использование словообразовательных средств языка представляют собою только частную разновидность номинативной деятельности, многое из того, что можно утверждать относительно объектов и структуры наименования вообще, проливает свет и на суть словообразовательных процессов. Во всяком случае представляется, что правильное их понимание возможно только на достаточно широком фоне — при условии их рассмотрения в рамках номинативной деятельности как таковой и при анализе этой последней по отношению к речевой деятельности в целом.

Подобный подход позволит, как кажется, охарактеризовать хотя бы некоторые особенности речеобразования и речевосприятия и поставить вопросы, главные для сформулированной в заглавии работы темы,— вопросы о том, к какому этапу или этапам речепроизводства относятся акты номинации, как они соотносятся с другими моментами в порождении речи, когда, как и в каком конкретном виде вступают в действие механизмы номинации и в чем именно они заключаются. Замысел настоящей статьи и состоит в том, чтобы привлечь внимание исследователей к тем компонентам речевой деятельности, которые обеспечивают ее нормальное осуществление и которые не могут не включать поиска и выбора определенных номинативных средств, в частности, словообразовательных. В конечном итоге поэтому мы стремимся не только к уяснению некоторых важных принципов речевой деятельности, но и к уточнению конкретных функций словообразовательных систем, а в соответствии с этим — к определению места словообразования в строении и организации языка.

«...В подлинном и действительном смысле в качестве языка можно рассматривать только всю совокупность актов речевой деятельности». Эти слова В. фон Гумбольдта [7, с. 73] были надолго оставлены без внимания. Даже тогда, когда во весь рост встала необходимость заняться динамическими аспектами языковых систем и закономерностями их функционирования, теории речевой деятельности как таковой еще не существовало. Еще почти два десятилетия тому назад А. А. Леонтьев справедливо указывал: «...Рано или поздно... мы вынуждены будем поставить на повестку дня вопрос о создании общей теории речевой деятельности» [8, с. 4]. Немногим позднее теория речевой деятельности была провозглашена основным объектом специальной новой научной дисциплины — психолингвистики [ср. 9, с. 33]. В принципе теоретический фундамент этой отрасли знания уже был заложен как у нас в стране, так и отчасти за рубежом. Особо стоит упомянуть в этой связи труды советских психологов — Л. С. Выготского и его школу, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьева и ряда других ученых, внесших много ценного в понимание соотношения языка и мышления. Однако как самостоятельная и отдельная лингвистическая дисциплина психолингвистика формировалась в более позднее время. Нельзя не отметить поэтому, что годы становления психолингвистики совпали с тем периодом в развитии языкознания, когда одним из самых влиятельных направлений в зарубежном языкознании оказалась генеративная грамматика. В силу этого обстоятельства аппарат складывающейся науки тоже оказался под сильным влиянием указанного направления, да и разрабатываемые здесь проблемы также были обусловлены в немалой степени его интересами. В итоге при обсуждении целей и задач психолингвистики и процедур ее анализа значительное место уделялось критическому рассмотрению выдвигаемых гипотез и даже их опровержению. С другой стороны, широкое нигилистическое отношение к генеративной грамматике приводило нередко к тому, что мы не оценили до конца и некоторые несомненные положительные стороны нового подхода. Так, положительным моментом являются, на наш взгляд, сами попытки объяснить природу знания языка, природу языковой способности человека, установить психолингвистические

предпосылки владения речью и воссоздать механизм образования высказываний. Следует, таким образом, решительно разграничить вопросы, поставленные в недрах названного направления, и ответы на эти вопросы. Многие же вопросы были поставлены весьма своевременно.

Одной из таких актуальных проблем современного языкознания продолжает оставаться и проблема порождения речи. Несмотря на уверения самого Н. Хомского и ряда его последователей, что термин «порождение» не следует понимать буквально [см. подробнее 10, с. 48 и сл.], метафора, лежащая в основе этой кальки немецкого Erzeugung, оказала мощное влияние на умы лингвистов. Она стала стимулом к исследованию явлений, далеко выходящих за пределы первоначально очерченного круга. От рекурсивного анализа синтаксических процессов в узком смысле слова исследователи вскоре «перебросили мостик» к изучению речевой деятельности. Как подчеркивала О. И. Москальская, «описание в терминах синтаксических процессов должно служить цели моделирования реальных процессов продуцирования речи, хотя бы в первом приближении и в каком-то из их звеньев» [11, с. 20]. Логическим итогом всего этого периода истории лингвистики и, в частности, критического осмысления генеративного направления, явилось убеждение многих лингвистов в том, что «...само понятие языка включает динамику языка как д е я т е л ь н о с т и» [12, с. 27; разрядка наша.— *К. Е.*].

В то же время под влиянием идей порождающей грамматики основное внимание первоначально неоправданно отводилось синтаксису изолированного высказывания. Подобное отождествление речевой деятельности с порождением отдельного высказывания ошибочно по многим причинам. Нельзя забывать о том, что речевая деятельность, отражая широкий и разнообразный спектр интенций и замыслов говорящего, обычно является составной частью деятельности более высокого порядка. Непосредственной задачей речевой деятельности является не создание изолированного высказывания, а определенного речевого произведения — дискурса, текста и т. п. Уже это существенно повлияло на исходные установки советской психолингвистики, в рамках которой справедливо подчеркивалось, что предметом анализа должно являться не отдельное предложение и даже не текст как определенный продукт процессов речеобразования или материал для процессов речевосприятия, а сами эти процессы. Соответственно, основное внимание уделялось у нас динамической организации отдельных действий и операций в интегративное целое — в сложную деятельность, которая, сама «вписываясь» во всю систему человеческой деятельности вообще, обусловливается конкретными ситуациями и задачами этой последней.

Несмотря на принципиальную правильность подобных установок, такой анализ не исключает понимания речевой деятельности в ее вербальном воплощении как начинающейся с порождения отдельного высказывания. В связи с этим можно понять, почему такой крупный психолингвист, как Д. Слобин, утверждает, что «центральная проблема современной лингвистики состоит в следующем: каким образом мы можем понимать (или создавать) новое для нас предложение» [13, с. 29]. Интересно, что решения этой проблемы Д. Слобин ожидает от психологов, которые, по его мнению, «должны разработать сложную когнитивную теорию внутренних мыслительных структур, которые делают возможными порождение и понимание предложений» [13, с. 51]. Думается, однако, что создание теории речевой деятельности абсолютно невозможно без лингвистических наблюдений и лингвистических обобщений и в целом достижимо лишь при условии совместных исследований лингвистов и психологов. Хотя речевая деятельность фактически представляет собой деятельность речемыслительную, в задачу лингвистики входит тем не менее установление ее лингвистических основ. Для этого необходимо соотнести вербальные и довербальные процессы, найти точки их соприкосновения, определить способы и пути перехода от мыслительных структур к языковым, от мысли к слову, постараться дать этим явлениям не столько психологическое, сколько собственно лингвистическое истолкование.

В серии работ А. М. Шахнаровича и его коллег было правильно указано на то, что «модели порождения высказывания, разрабатываемые в отечественной лингвистике и психологии речи, не выделяют семантику в качестве самостоятельного элемента или составляющей наравне с другими в процессах речемыслительной деятельности» и что в принципе семантическое звено не может быть выделено в виде отдельной и самостоятельной фазы речевой деятельности, поскольку «на каждом этапе развития мысле-речи ее материал обладает содержательными характеристиками и, таким образом, является объектом семантического анализа»; семантика — это компонент, который «работает» на многих стадиях порождающего процесса [14, с. 240].

Нечто аналогичное можно сказать и о номинативном компоненте речевой деятельности, поскольку есть основания полагать, что акты номинации также осуществляются на протяжении всего процесса создания речевого высказывания (ср., например, типичные поиски подходящего слова где-то в середине начатого высказывания и связанные с этим паузы и задержки в плавном разворачивании речи). По нашему убеждению, акты речи начинаются с обозначения определенных элементов будущего высказывания, что предполагает постоянное обращение к запасу имеющихся номинативных средств или к инвентарю ресурсов, потребность в которых возникает по мере выстраивания синтаксической конструкции. Завершаются акты речи номинацией ситуации, события или других явлений, отражаемых в высказывании.

Нельзя не отметить также прямых и непосредственных связей семантического компонента с номинативным, ибо неясно как раз то, каким образом и на каких стадиях порождения речи содержательные характеристики превращаются в собственно семантические, т. е. вербализуются. Этот вопрос можно сформулировать и по-иному: как происходит перекодирование содержательного замысла в мозгу говорящего в речевое высказывание, как распределяются и группируются исходные смыслы в значения будущего высказывания, к каким операциям относятся акты номинации и к каким этапам порождения речи они приурочиваются и, наконец, все ли вообще поиски адекватных средств обозначения отдельных элементов высказывания (или их создания) можно связывать с актами номинации?

В существующих моделях порождения высказывания номинативный компонент тоже никем специально не выделялся. Между тем мы полагаем, что привычное отождествление механизмов синтаксической «сборки» предложения и «сборки» слова или же описание того и другого без должной дифференциации используемых при этом операций, а также рассмотрение проблем синтеза слова как полностью обусловленных синтаксисом и подчиненных предварительному выбору синтаксической конструкции никак не способствует уяснению сути дела и даже уводит в сторону от постановки целого ряда весьма сложных проблем. Одной из них является, например, вопрос о том, что определяет творческое начало в речевой деятельности. Ведь существует тенденция связывать его исключительно с синтаксисом.

Справедливо подчеркивая «принципиальное различие механизмов, обеспечивающих порождение синтаксических конструкций, с одной стороны, и их лексическое „наполнение“, с другой», А. А. Леонтьев усматривает его далее лишь в том, что только первому из названных механизмов присущ, якобы, творческий характер [15, с. 267]. Но конструктивный характер носят, по-видимому, все звенья описываемого процесса. С одной стороны, человек не создает сам и той синтаксической схемы, в соответствии с которой он строит высказывание: он только выбирает ее из числа знакомых ему и отработанных в предыдущем опыте моделей. Творческое начало наблюдается даже в этом выборе. К тому же и в синтаксисе существует немало «готовых» клишированных конструкций. В этом случае сама отправная номинация совпадает с воспроизводимой синтаксической конструкцией типа *Как дела*? *Что нового*? и т. п.

С другой стороны, собственно номинативный аспект высказывания не сводим к простому лексическому заполнению конструкции: он носит твор-

ческий характер отнюдь не потому, что чаще всего представляет собой действительно поиск слова. Более того, процедура, которую в психолингвистике недифференцированно называют поиском слова, являет собой не столько выбор единицы из числа существующих, сколько — в целях оптимального решения задачи — творческий акт создания новой единицы номинации. Если теперь отвлечься от творческого характера тех процессов, которые относятся к комбинаторике слов, и остановиться лишь на тех из них, которые связаны непосредственно с однословными номинациями, универбами, то и здесь новаторство гораздо более широко распространено, чем полагали ранее.

Другой важной проблемой, встающей в связи с вопросом о специфике операций по «заполнению» синтаксической схемы лексическими единицами, является вопрос о том, в каком виде хранятся знания языка в мозгу говорящих, и, в частности, какие именно единицы образуют запас или склад знаний — слова́, морфемы или значения [4, с. 13 и сл.]. Во многих работах по генеративной семантике проводится мысль о том, что слова не столько «записаны» в голове человека в виде готовых единиц, сколько конструируются по мере необходимости из определенных семантических признаков. Так, по мнению группы американских психологов, «когда слова используются, они не репродуцируются памятью, а скорее реконструируются из составляющих эти слова признаков» [16, с. 178]. Точно так же многие представители школы компонентного анализа изображают дело так, как если бы лингвистической процедуре возможного разложения семантики слова на составляющие его признаки соответствовала бы и совершаемая говорящим обратная операция синтеза слова. Является ли, однако, такая операция психологически реальной и объективно существующей? Единственно ли это возможный путь извлечения информации из памяти? Вряд ли.

Во-первых, слова неоднородны по своему семантическому строению. Как правильно указывал Д. Н. Шмелев, «одни лексические единицы действительно допускают исчерпывающее разложение на элементарные семантические признаки, другие явно противостоят такому разложению» [17, с. 149]. Но как можно «собрать» единицы, которые при анализе никакому расчленению не поддаются? Нам кажется поэтому более приемлемой точка зрения, согласно которой многие названия, особенно в сфере обозначений животного или растительного мира, в сфере обозначений обиходных предметов и вещей и т. п., мыслятся как холистические, целостные и по этой причине неразложимые сущности. Нам близки рассуждения А. Вежбицкой о возможности приравнивать такие слова, как *кошка*, *роза* и т. п., к именам собственным. Утверждая существование особого «языка мозга», lingua mentalis, с которого, собственно, и осуществляется далее «перевод» на естественный язык, А. Вежбицкая никогда не заходит так далеко, чтобы настаивать на обязательности такого перевода для любой категории слов [см. 18]. Так, имена собственные и аналогичные им названия надо знать, а не собирать.

Хотя вплоть до проведения серии экспериментов наши предположения остаются на уровне простых догадок, мы все же полагаем, что вообще любая лингвистически релевантная классификация единиц номинации так или иначе отражает и психологическую нетождественность разных классов соответствующих единиц, и возможное различие процессов их «извлечения из памяти» и доступа к зафиксированной ими информации.

Так, традиционное деление слов на полнозначные и служебные, к которому возвращаются и представители новейшей семантики (ср., например, [19 и 20]), позволяет усомниться в том, нужна ли «сборка» для служебных слов, или же корреляции формы и содержания носят здесь более устойчивый характер. Это же деление связано и с вопросом о том, не относятся ли вообще все акты номинации в специальном смысле слова лишь к полнозначным словам. Думается, что в схеме «предмет или явление действительности → группа значений, отражающих образ этого предмета или понятия о нем → словное обозначение» срединная часть в актах речи может легко опускаться. Если связь между обозначаемым и обозначающим

достаточно устойчива, закреплена практикой повседневного общения, название предмета всплывает из глубин сознания именно как отдельное слово, т. е. не посредством предварительной «сборки», а операцией извлечения из памяти. Есть, однако, и класс слов, для которых резонно предположить обратное: это производные слова. Доказательства того, что они могут «собираться» из отдельных частей и вообще создаваться заново, достаточно многочисленны. Это позволяет утверждать, что понятие порождения на уровне слова естественнее всего связывать как раз с единицами словообразовательной системы.

Важным следствием этих наблюдений является вывод об особой значимости актов номинации словообразовательного порядка для анализа номинативной деятельности в целом. Осуществив поиск необходимого слова и не обнаружив подходящего названия, говорящий легко создает его сам, используя для этого известные ему словообразовательные модели или отдельные лексические образцы, по аналогии с которыми он строит нечто новое. Мотивы номинативной деятельности здесь обычно достаточно ясны, да и техника номинации доступна более непосредственному наблюдению. Все это обусловливает необходимость уделить особое внимание самим актам словообразования и процессу реконструкции этих актов как у взрослых говорящих, так и у детей, т. е. на основе изучения словообразовательной системы в онтогенезе.

Рассмотрев вопрос о механизме поиска слова или его создания, мы можем перейти и к анализу того, к какому этапу или этапам речевой деятельности может быть отнесен подобный поиск. Хотя протекание речевой деятельности описывается разными исследователями по-разному, многие из них считают, что еще до того, как говорящий начал говорить, в его голове созревает план будущего высказывания и что этот план формируется прежде всего как определенная синтаксическая программа будущей единицы. «План предложения,— утверждают, например, американские психологи,— по-видимому, должен в общем определиться до того, как можно выделить слова, которые мы собираемся высказать» [21, с. 156]. Иначе говоря, предполагают, что этап синтаксирования — обдумывания синтаксической конструкции будущего высказывания и ее программирования — о п е р е ж а е т выбор лексических единиц, которые только после принятия плана начинают заполнять выбранную схему. Аналогичные идеи развивались и в советском языкознании. «Высокая скорость мыслительных операций,— подчеркивает Б. Ю. Норман,— создает видимость одновременного процесса мышления и речи, на деле же здесь две разных стадии — стадия так называемой внутренней, дословесной речи и стадия внешняя, представленная текстом; порождение высказывания как такового начинается с выбора структурной схемы предложения» [см. 22, с. 23 и сл.].

Подобное противопоставление восходит к трудам Л. С. Выготского (анализ его концепции см., например, в [15, с. 111 и сл.; 23, 24]. Однако фактически здесь все неясно. Если между мыслью и словом есть еще какой-то этап (например, «внутреннего слова»), предпосылкой такого тезиса следует признать положение об изначальной разделенности мысли и слова: мысль существует первоначально в невербальной форме и лишь потом облекается в вербальную форму. Но сама такая сепаратизация интеллектуальной, умственной, мыслительной деятельности и языка может вызвать сомнение. Более убедительной мне кажется точка зрения тех исследователей, которые видят недостатки прежних моделей порождения речи как раз в проведении жестких границ между неречевыми и собственно речевыми ее этапами: при анализе семантических аспектов речевой деятельности становится ясным, что такие границы отсутствуют [ср. 14, с. 240]. Иначе говоря, какие-то части мысли с самого момента ее зарождения могут быть словесными, т. е. уже облеченными в языковую форму.

В принципе мы не видим ничего одиозного в том, чтобы вместе с другими учеными, особенно Б. А. Серебренниковым [25], признавать невербальные формы мышления [26]. Но всякой ли вербальной структуре должна обязательно предшествовать или соответствовать невербальная или довербальная единица? Обязательно ли любая мысль «освобождена» перво-

начально от языковых форм? Одинаковы ли вообще в с е процессы речи, в частности, обдуманные заранее и спонтанные? Мы полагаем, что разные типы речи могут быть связаны с вовлечением в действие разных операций и приемов. Ничто не противоречит тому, чтобы, соглашаясь со знаменитой установкой Л. С. Выготского «мысль творится в слове», видеть сами процессы такого «творения» как неоднородные, разнообразные, принимающие не стандартные, а, напротив, достаточно гибкие формы. А это значит, что и соотношение этапов синтаксирования и номинации может быть в реальной речи самым разным: одновременным, с опережением синтаксиса и, наоборот, с опережением номинации. Такая установка позволяет описать по крайней мере часть речевых произведений как н а ч и н а ю щ и х с я с в ы б о р а с л о в а, которое и «тянет» далее за собой ту или иную синтаксическую последовательность. В таких актах речи мысль и высказывание порождаются одновременно, т. е., точнее, начинают рождаться в одно и то же время.

Далее мы и рассмотрим те типы речи, для которых характерно использование в качестве отправного этапа речевого высказывания акта номинации и в которых, соответственно, явно можно наблюдать появление номинации д о этапа синтаксирования.

Вслед за Выготским А. Р. Лурия отмечал, что говорящий якобы всегда знает предмет или основную тему будущей речи и потому предмет речи не нуждается при планировании высказывания в специальном обозначении. Основными элементами внутренней речи считались, соответственно, рематические части высказывания, т. е. предицируемое известной теме новое содержание. Тогда превращение внутренней мысли в развернутое высказывание достигается прежде всего за счет номинации самих предикатов [23]. Внутренняя речь характеризуется такими параметрами, как свернутость, грамматическая аморфность, а, главное, предикативность [26—28; 15, с. 111 и сл.].

Но при создании речевого произведения главное — его адресат [29]. Адресату же неизвестно, о чем будет рассказывать его собеседник, и для того, чтобы привлечь его внимание, говорящий должен обозначить «топик» своего повествования, свою тему. Более того, можно предположить, что часто человек знает в общих чертах, о чем именно он хочет сказать, но что он конкретно скажет,— не знает. Он додумывает это как раз в момент речи. Замысел речи нередко сопряжен поэтому, на наш взгляд, не столько с номинацией предиката, сколько либо с перечислением неких «топиков», отправных пунктов речи, либо с называнием темы и ремы с последующим установлением отношений между ними. Выбор одного из таких «топиков» помогает начать развертывать синтаксическую конструкцию. Нельзя не отметить также, что интроспекция позволяет установить следующее: при всей грамматической аморфности внутренней речи «всплывающие» в памяти слова́ чаще всего стоят в назывной форме или в составе тех номинативных блоков, которые уже без изменения войдут далее в высказывание. Трудно представить себе синтаксическое программирование без какого бы то ни было словесного оформления. Скорее напротив: во внутренней речи появляются какие-то обрывки речи, и по мере произнесения хотя бы одного из них начинает складываться синтаксическая конструкция. Не более ли прав поэтому В. Чейф, когда он замечает, что многие синтаксические конструкции появляются ближе к концу всего процесса вербализации мысли [30, с. 7]. Но в таком случае отводить главенствующую роль синтаксису и синтаксированию в порождении речевого высказывания приходится далеко не всегда. Чтобы начать говорить, человек должен неминуемо обозначить то, к чему хочет привлечь внимание своего собеседника. Но и во внутренней речи, или «речи для себя», можно наблюдать это же.

Не исключено, что «исходной структурой порождающего процесса» может явиться и «пропозиция, понимаемая в духе логики отношений» [31, с. 107]. Тогда, очевидно, происходит сознательное выделение и сознательное обозначение не одного, а двух центральных элементов высказывания, т. е. ядра пропозиции. При таком понимании процесса порождения

семантический его замысел тоже реализуется не за счет решения относительно того, как будет строиться полная синтаксическая структура, а за счет номинации ее ядра. Развитие же пропозиции происходит по мере ее «сказывания», т. е. детализируется она и обрастает подробностями в ходе речевого акта. Этап наречения главных членов пропозиции предопределяет и дальнейший выбор синтаксической схемы. Такой этап не столько предваряет синтаксирование, сколько согласуется с ним. Пропозиция как основа будущего высказывания формируется одновременно с осознанием синтаксических ролей поименованных единиц, она определяется их отношением друг к другу и согласуется с их конкретной семантикой. В самых общих случаях, как правильно подчеркивает Н. Д. Арутюнова, «выбор слова невозможен безотносительно к конструкции, задающей его синтаксические характеристики..., но и выбор конструкции неосуществим без предварительной фиксации лексических элементов, в частности, глагола, предопределяющего конфигурации актантов» [32, с. 290]. Все это свидетельствует о том, что многомерные и нелинейные структуры нашего мозга можно «перевести» в одномерную и линейно организованную речевую цепочку принципиально различающимися и далеко не тождественными способами и путями, т. е. применяя для этого разные умственные и речевые операции и комбинируя их в разные группировки. С точки зрения наших современных знаний можно с уверенностью сказать лишь одно: механизмы номинации и механизмы, обеспечивающие линейное развертывание речи,— это разные звенья одного процесса, разные компоненты речевой способности и умений. Они вызывают к жизни разные стратегии говорящего, и предполагать генетический или иной приоритет одного из них весьма трудно. Тем не менее интересно обратить внимание на известные доказательства их раздельного существования или функционирования. Так, определенным доводом в пользу выделения актов номинации как явлений, примарных для речевой деятельности в целом, и как феноменов, связанных с предикацией, является существование на ранних этапах развития языка такого феномена, как односоставное предложение. Тема и рема в нем еще не разведены, субъект и приписываемый ему признак не противопоставлены и по отдельности не обозначены, синтаксиса как отношения между знаками еще нет.

Важные данные о генетическом приоритете номинативного компонента получены и при исследовании развития речи у ребенка. Многочисленные наблюдения подтверждают, что ребенок начинает говорить «названиями» и говорит так еще до того, как он овладеет даже простейшим синтаксисом. По терминологии Н. Х. Швачкина, первыми и единственными суждениями ребенка являются «именные суждения». Да и на все вопросы он отвечает названиями предметов [33, с. 134]. Качественный скачок в речи ребенка наступает именно тогда, когда он овладевает словом как единицей номинации. Но это означает, что речевая деятельность в самой ее элементарной форме может протекать без развернутого синтаксиса, но не может осуществляться вне актов номинации и предикации [ср. 34].

Рамки статьи не позволяют остановиться специально и на интерпретации поэтической речи как отражающей импульсивное и спонтанное видение мира и как бы восстанавливающей «поток сознания» в его относительно свернутой форме. Истоки безглагольного или именного стиля, столь распространенного в поэзии, следовало бы подвергнуть анализу именно с этой точки зрения, т. е. рассмотрев его как стиль, отражающий некую ситуацию «топикально», широкими мазками, перечислением координат поэтического пространства и времени [ср. подробнее 35].

Интересный материал для доказательства нашей точки зрения можно извлечь и из последних работ, связанных с изучением асимметрии мозга и установлением нетождественности функций левого и правого полушарий. Их разъединение (например, при операциях на соединительных трактах) позволило открыть поразительные факты: полушария ведут себя как две независимых друг от друга системы, при этом называние предметов относится к функции левого полушария, а правое «хранит в себе такие сведения, которые позволяют толковать смысл слов» [36, с. 21—23]. Есть дан-

ные, которые можно истолковать и так, что механизмы установления синтаксических связей между единицами и механизмы выбора подходящего средства номинации относительно обособлены и независимы друг от друга [37].

Материал о раздельности номинативных и синтаксических функций обнаруживается и в исследованиях, посвященных анализу нарушений речи при различных поражениях или заболеваниях мозга. Так, в опытах Л. С. Цветковой были получены данные, свидетельствующие о том, что при поражениях отдельных участков мозга в разных полушариях «не все элементы высказывания страдают у этих больных в одинаковой степени», причем «номинативная функция речи остается в этих случаях относительно сохраненной, в то время как предикативная (синтаксическая) оказывается глубоко нарушенной» [38, с. 212]. А. Р. Лурия описывает случаи подавления синтаксической функции при динамической афазии; на все вопросы больные дают ответы одними наименованиями [38]. Таким образом, речевая деятельность может протекать, хотя, конечно, и в сильно урезанном виде, при способности человека приводить в действие одни механизмы номинации. Интересно, что в тех случаях, когда последние нарушены и человек строит синтаксически «правильное» высказывание, последнее совершенно невразумительно.

В новом свете можно увидеть и некоторые распространенные явления разговорной речи — «именительный темы»: ср. *Седьмая поликлиника. Выходите*? или *Апельсины. Дайте парочку* и т. п. [39, с. 119; 40]. Главный принцип актуализации в разговорной речи, который, по свидетельству Ю. А. Лаптевой, составляет «вынос в инициальную позицию главного информативного центра высказывания» [39, с. 185], явно связан с номинативным зачином речевого произведения, и он типичен отнюдь не только для русского языка. Ср. франц. *Papa, il travaille*; *cette lettre, je l'ai écrit*, англ. *John, he will be soon here*, а это, в свою очередь, согласуется с данными о том, что для каждого языка существует некий обычный порядок развертывания высказывания (scanning order). Первоначально обычно называется агент действия и лишь затем его объект и т. п.

Рассмотренные факты убеждают в том, что не столько выбор синтаксической структуры высказывания предшествует выбору слов, сколько, напротив, поиск адекватной синтаксической конструкции согласуется с выбранными обозначениями отдельных частей описываемой ситуации и их структурно-семантическими особенностями. Сами же акты номинации представляют собой сложное речемыслительное действие, и без осуществления этих актов невозможно ни одно высказывание. Мысль не только творится в слове, она начинается со слова, как только мы хотим сделать ее достоянием другого человека. Возможно, что мысль начинается со слова даже на том ее этапе, который предшествует развернутой речи и который соответствует превращению смутного замысла высказывания в нечто более оформленное и ясное,— переходу логической, когнитивной или эмоциональной структуры в структуру вербальную. По-видимому, подход к словообразованию с позиций речевой деятельности и при его рассмотрении в рамках деятельности номинативной позволяет уточнить место словообразования в системе языка по следующим причинам. Этот подход делает ясным, что функционирование системы словообразования тесно связано с речевыми стратегиями говорящих и тактикой их обращения с единицами номинации. Словообразование как система должно быть организовано так, чтобы облегчить доступ к информации для говорящего, упорядочить способы хранения и накопления информации, упростить «извлечение» слова из памяти и, наконец, обеспечить возможность простого создания новых единиц номинации и их незатрудненного восприятия. Ясно в то же время, что система, к организации которой предъявляются подобные требования, не может быть простым набором индивидуальных лексических единиц. Словообразование и являет собой систему, объединенную сложной сеткой формально-семантических и ассоциативных связей. Именно поэтому мы поддерживаем взгляд на словообразование как на особую часть грамматики со своей собственной системой

правил. Их действие определяется, в свою очередь, не только связями с синтаксисом, морфологией, лексикой и семантикой изучаемого языка, но и общей зависимостью от принципов той деятельности, для участия в которой они, собственно, и создаются. Дело будущих исследований поэтому — продолжить изучение словообразования в новом ракурсе.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Земская Е. А., Кубрякова Е. С.* Проблемы словообразования на современном этапе.— ВЯ, 1978, № 6.
2. *Motsch W.* Ein Plädoyer für die Beschreibung von Wortbildungen auf der Grundlage des Lexikons.— In: Perspektiven der Wortbildungsforschung. Bonn, 1977.
3. *Kastovsky D.* Word-formation, or: at the crossroads of morphology, syntax, semantics, and the lexicon.— Folia linguistica, 1977, v. X, № 1—2.
4. *Beard R.* The Indo-European lexicon. A full synchronic theory. Amsterdam, 1981.
5. *Kastovsky D.* Zum gegenwärtigen Stand der Wortbildungslehre des Englischen.— Linguistik und Didaktik, 1978, v. 36.
6. Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977.
7. *Гумбольдт В. фон.* О различии строения человеческих языков.— В кн.: *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М., 1960.
8. *Леонтьев А. А.* Слово в речевой деятельности. М., 1965.
9. Теория речевой деятельности. Под ред. Леонтьева А. А. М., 1968.
10. *Звегинцев В. А.* Язык и лингвистическая теория. М., 1973.
11. *Москальская О. И.* Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1974.
12. *Колшанский Г. В.* Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975.
13. *Слобин Д., Грин Дж.* Психолингвистика. М., 1976.
14. *Голод В. И., Шахнарович А. М.* Семантические аспекты порождения речи.— ИАН СЛЯ, 1981, № 3.
15. *Леонтьев А. А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.
16. *Anisfeld M., Knapp M.* Association synonymity and directionality in false recognition.— Journal of experimental Psychology, 1968, v. 77.
17. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
18. *Wierzbicka A.* Lingua mentalis. The semantics of natural language. Sydney—New York, 1980.
19. *Вейнрейх У.* Опыт семантической теории.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1980.
20. *Bierwisch M.* Semantische und konzeptuelle Reprasentationen lexicalischer Einheiten.— In: Untersuchungen zur Semantik. Studia grammatica. XXII. Berlin, 1983.
21. *Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К.* Планы и структура поведения. М., 1956.
22. *Норман Б. Ю.* Синтаксис речевой деятельности. Минск, 1978.
23. *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1979.
24. *Зимняя И. А.* Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. М., 1978.
25. *Серебренников Б. А.* К проблеме «язык и мышление» (всегда ли мышление вербально?).— ИАН СЛЯ, 1977, № 1.
26. *Горелов И. Н.* Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.
27. *Выготский Л. С.* Собр. соч. Т. 2. Проблемы общей психологии. М., 1982.
28. *Леонтьев А. А.* Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания.— В кн.: Вопросы порождения речи и обучения языку. М., 1967.
29. *Арутюнова Н. Д.* Фактор адресата.— ИАН СЛЯ, 1981, № 4.
30. *Parret H.* Discussing language. The Hague — Paris, 1974.
31. *Кацнельсон С. Д.* Порождающая грамматика и процесс синтаксической деривации.— В кн.: Progress in linguistics. Ed. by Bierwisch M. and Heidolph K. E. The Hague—Paris, 1970.
32. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
33. *Швачкин Н. Х.* Психологический анализ ранних суждений ребенка.— Изв. АПН РСФСР, 1954, вып. 54.
34. *Голод В. И., Шахнарович А. М.* Семантика в онтогенезе речевой деятельности.— ИАН СЛЯ, 1982, № 3.
35. *Кубрякова Е. С.* Номинативный аспект речевой деятельности и словообразование как его важнейший компонент.— Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, 1980, вып. 164.
36. *Иванов Вяч. Вс.* Чет и нечет. М., 1978.
37. *Долинина И. Б., Балонов Л. Я., Деглин В. Л.* Особенности установления семантико-синтаксических отношений между единицами языка в условиях преходящей инактивации доминантного и недоминантного полушарий.— В кн.: Тезисы VII Всесоюзного симпозиума по лингвистике и теории коммуникации. М., 1978.
38. *Лурия А. Р.* Проблемы и факты нейролингвистики.— В кн.: Теория речевой деятельности. М., 1968.
39. *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
40. *Земская Е. А.* Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1979.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

ДИСКУССИИ О ОБСУЖДЕНИЯ

ЗЫЦАРЬ Ю. В.

О ЕДИНСТВЕ СОЗНАНИЯ И РАЗЛИЧИЯХ ЯЗЫКОВ

Известна точка зрения, согласно которой каждый язык как бы «формует», «лепит» соответствующее сознание, и, следовательно, сколько на земле языков, столько же существует и сознаний [1—3]. Такую концепцию выдвигает, например, И. Вайсгербер, по мнению которого язык образует как бы «промежуточный мир» между человеком и его сознанием (или его сознанием и денотацией) [1—4]. Подобным же образом Г. Хольц утверждает, что, задавая человеку определенный способ познания, картину, или модель мира (и таким образом делая человека тем, кем он в действительности является), язык формирует и самого человека [1—3, ср. 5]. К аналогичному результату сводятся в конечном счете попытки решения данной проблемы, предпринимаемые в русле целого ряда направлений современной западноевропейской и американской лингвистики и философии, включая американское неогумбольдтианство (гипотеза Сэпира — Уорфа), которое пользуется наибольшей известностью. То же решение мыслилось и Ф. де Соссюру, поскольку он видел в сознании (resp. в денотации) некую «бесформенную массу», которую каждому языку дано сегментировать и одновременно группировать, категоризировать в каждом случае à la sienne. Уже у Ф. де Соссюра (что будет важно для нас в дальнейшем) такое решение является прямым следствием его понимания природы языкового знака, т. е. вытекает из его постулата о билатеральности языкового знака и полной произвольности значимой стороны последнего.

Прямо противоположная позиция по этому вопросу состоит в том, что хотя язык не пассивен, а активен по отношению к сознанию, но эта активность не столь велика (и не такого рода), чтобы язык мог «организовывать» сознание, определять его тип, структуру, «лепить» в нем свою модель мира. Как физически един самый человеческий род, так, согласно этой концепции, едино и сознание всех людей, а различные языки мира могут рассматриваться лишь как варианты единого языка человеческого рода [6]. На фоне отсутствия общей теории языка и мышления указанные направления западноевропейской лингвистики и философии и соответствующие американские течения абсолютизируют, согласно этому же подходу, самостоятельность языка, или, как это удачно определяет В. З. Панфилов, языковую апперцепцию, почему они и приходят к крайним выводам о языке как об особом «промежуточном мире» и т. п. В действительности нет оснований считать, как это делает Э. Леннеберг, что «слова тиранически господствуют над сознанием» [6, с. 34].

Для того, кто придерживается такой «унитарной», или объединительной, концепции языка (и его отношения к сознанию), вопрос об отношении языковой единицы к денотации, естественно, решается, как правило, в смысле, прямо противоположном соссюрианскому, т. е. в том смысле, что значение указанной единицы полностью и жестко детерминировано денотацией и ни в какой мере не является произвольным.

Сторонники указанной концепции в первую очередь опираются на факты сходства между языками, расценивая факты их различий, в частности, связанные с концептуальностью (ср. широко известный пример: русск. *нога* при англ. *foot* и *leg*, русск. *рука* при англ. *hand* и *arm* и т. п.), как несущественные или недостаточные для того, чтобы видеть за ними нечто большее, чем варианты одного человеческого языка, не говоря уже о со-

знании. Наоборот, сторонники множественных, «плюральных» теорий «языков-сознаний» подчеркивают в первую очередь факты различий между языками, в особенности связанные с концептуальностью, считая их весьма существенными. Какие-либо эмпирические критерии существенности или несущественности сходств и различий языков в этом смысле ни с той, ни с другой стороны, насколько нам известно, вплоть до настоящего времени не выдвигались, и на этом наиболее прямом (в эмпирическом смысле) пути к решению проблемы мы не имеем, следовательно, ничего, кроме двух взаимоисключающих гипотез (или концепций).

В. З. Панфилов в указанной книге не ограничивается, однако, обычным указанием на «несущественность» языковых различий. Возражая против того, что язык целиком «лепит», «формует» сознание и что, следовательно, сознаний столько же, сколько и языков, он отмечает а) что сознание, как и содержательная сторона речи, не сводится к сумме значений языковых единиц, репрезентирующих сознание и используемых в речи, что сознание гораздо богаче набора этих единиц, в частности — за счет знаний, почерпнутых из работы с предметами (я бы сказал, из опыта «рук и глаз»), а ведь если это так, то сознание со всем его богатством не может и формироваться, «лепиться» языком — во всяком случае, во всем его объеме; б) что о снятии или «предупреждении» давления языка (языковой апперцепции) говорят не только факты единства самих языков, но и особые возможности акта коммуникации с его речевым и ситуационным контекстами, с огромными возможностями комбинирования языковых единиц (ср. указание Э. Бенвениста на то, что в речи используется вообще лишь незначительная часть всех возможных комбинаций языковых единиц), а главное — с соединенным действием всех этих факторов; в) в плане преодоления давления языка имеет значение также вся практическая деятельность человека, поскольку в ней не только отбираются те элементы денотации, которые получают отражение в сознании и в языке, но она и вообще является окончательным, высшим контролером для сознания и языка.

Эти три пункта, как нам представляется, действительно имеют ключевое значение для решения проблемы. Вместе с тем это решение в них, очевидно, лишь намечается или только подготавливается: чисто предварительный характер обсуждения вопроса в данном случае очевиден и из замечания В. З. Панфилова об отсутствии соответствующей теоретической базы (общей теории) языка и мышления [1].

Не отрицая, например, роли практики для сознания людей, можно, вообще говоря, спросить, едина ли у разноязычных людей их практика или же у них существуют разные «практики» (что опять ставит нас перед лицом той же контроверзы). Едина ли, далее, у разноязычных людей та «часть» их сознания, которая не является набором или суммой значений языковых единиц, репрезентирующих сознание и используемых в речи [2]? Если этот второй компонент сознания разноязычных людей достаточно един, как мы попытаемся это показать, то достаточно ли он велик, чтобы, преодолевая различия языков, как-то существенно влиять, определяя единство их сознания? Если сознание разноязычных людей едино, то что является главным в обеспечении его единства: второй компонент, преодолевающий различия языков, или же единый общий стержень самих языков? Какова роль в сравнении с этим тех особых возможностей акта коммуникации, которые подчеркивает в этой связи В. З. Панфилов? Как эти факторы сочетаются друг с другом, в составе какого целого? Каким образом и на каком этапе претворения языка в речь реализуется единство, наступает, так сказать, полная гармония этих факторов и/или компонентов? Далее, если сознание разноязычных людей действительно едино, то означает ли это единство языков? В какой степени при единстве сознания могут

---

[1] Следует одновременно отметить, что в советской лингвистике эта база, бесспорно, наиболее разработана, и как раз трудам В. З. Панфилова мы особенно обязаны в этом смысле.

[2] Далее в рабочем порядке и, разумеется, чисто условно мы будем называть эту «часть» вторым компонентом сознания.

считаться едиными языки? Можем ли мы при наличии действительно единого сознания разноязычных людей говорить об их языках как о действительных разновидностях одного и того же языка человеческого рода?

Если в обеспечении единства сознания разноязычных людей главным является его второй компонент, достаточно мощный, чтобы на его фоне сознание людей, говорящих на одном языке, не было «заслонено» от сознания людей, говорящих на другом языке, то это означало бы, во всяком случае, гораздо бóльшее единство сознания, чем единство языков. И это означало бы одновременно, что люди (имея в виду людей как разно-, так и одноязычных) понимают друг друга прежде всего благодаря второму компоненту их сознания, а уж потом благодаря их языку, играющему здесь скорее роль, так сказать, «телеграфа намеков» или, пользуясь известным сравнением, «верхушки айсберга». Не противореча известному положению о вербальности мышления и важности языка в мышлении, это означало бы, наконец, и подчиненность языка по отношению ко второму компоненту мышления — подобно тому, как инструмент или форма подчинены содержанию. Единство формы и содержания, языка как части сознания и запаса наглядно-опытных знаний предстало бы в этом случае как единство двух комплексов сознания. Но это означало бы такую структуру последнего, раскрытие природы которой весьма затруднительно, притом не только спекулятивно, но и в терминах топологии мозга.

В предварительном порядке обратим внимание на то, что в поисках (или в порядке доказательства, утверждения) единства языков нам, как мы видели, приходится апеллировать, с одной стороны, ко второму компоненту сознания, с другой — к сфере коммуникации, речи, с третьей — ко всей практической деятельности человека, т. е., так сказать, «к чему угодно», кроме самих языков, а это уже само по себе больше указывает как раз на единство сознания, чем на единство языков. Апелляция ко второму компоненту сознания вместе с актом коммуникации говорит также о том, что каким-то образом единство сознания (и снятие языковых различий) должно практически достигаться именно в коммуникации, через коммуникацию, но вместе с тем на основе второго компонента, и что здесь-то и заключается самая суть этого единства. Каким же именно образом достигается, однако, это единство?

В настоящей работы мы попытаемся в очень общей и краткой форме ответить на некоторые из этих вопросов. При этом мы при необходимости будем также касаться проблемы контекста, которая, несмотря на большие усилия и успехи таких исследователей, как К. Бюлер, А. Гардинер, Э. Косериу, до сих пор окончательно не решена.

Значимую сторону языковой единицы, включая как ее значимость («работающую» на фактор системности), так и значение (результат отражения денотации), В. З. Панфилов предлагает называть десигнатом. Разделяя это предложение, мы, однако, в дальнейшем будем здесь пользоваться термином десигнат, понимая под ним то в семантике языковых единиц, что непосредственно обращено к денотации.

Как уже говорилось, по вопросу об отношении десигната к денотации — коренному философскому вопросу лингвистики — Ф. де Соссюр и ряд его последователей исходят из постулата о полной немотивированности, произвольности десигната, почему они и приходят к теории языка — «скульптора» сознания, теории, наиболее известной в варианте «гипотезы Сэпира — Уорфа». В чисто философских терминах десигнат, с этой точки зрения, представляет собой чистый знак, а не отражающий (и одновременно выделительно-обобщающий) образ денотации.

Не говоря уже, однако, о той известной аргументации, согласно которой отражение денотации по самой своей гносеологической природе не может не состоять из о б р а з о в денотации, ошибочность указанного постулата может быть, как нам кажется, доказана или показана и лингвистически. При этом мы менее всего имеем в виду такие доводы, как обязательное наличие в самых различных языках таких семантических

единиц типа «вода», «огонь», «солнце», «рука», «женщина» и т. п. [3], или, допустим, считающуюся обязательной универсальность выражения субъектно-объектных отношений. Главный лингвистический довод, который можно выдвинуть против постулата о совершенной произвольности десигната, состоит в том, что если бы десигнат был полностью (или хотя бы даже преимущественно) произволен по отношению к денотации, то в любых десигнатах любого языка было бы возможно объединение друг с другом любых значений, например, «корова» — волк, шкаф — солнце» или «лес — море — пашня — спички» и т. д. Более того, такое «блокирование» значений при указанном условии (полной произвольности десигната) было бы не только возможным, но и обычным, регулярным, и вот тогда-то мы бы, действительно, столкнулись в наборах десигнатов с большими различиями и даже не обнаружили бы в них ничего (почти ничего), кроме различий [4].

Приведенным только что доводом опровергается, на мой взгляд, и тот вариант анализируемой (восходящей к Ф. де Соссюру) концепции языков, согласно которому различия последних (рассматриваемые как принципиальные и определяющие для сознания) не выводятся — по крайней мере прямо и явно — из постулата о полной произвольности языкового значения, а признаются следствием денотативных различий в условиях обитания и практики соответствующих человеческих коллективов. Для этого варианта указанный аргумент сохраняет, как кажется, свою силу потому, что если бы денотативно определяемые различия языков действительно влияли на сознание (т. е. были бы релевантны или достаточно велики, чтобы формировать различные «сознания»), то в этом случае соответствующие наборы десигнатов были бы, очевидно, столь же несовместимо различными, как и в случае полной произвольности десигната.

При всей естественной разнице лингвогеографических ареалов можно считать, как кажется, что в действительности на Земле существует один и тот же з е м н о й м и р, в котором вещи предстают для одних и тех же «людей Земли» с достаточно одинаковой объективной дискретностью и одинаковыми сходством — различием: дерево везде похоже на другое дерево, а не на одну из коров и не на солнце и т. д., что не может не отражаться и в сознании разноязычных людей и (хотя бы и в иной степени) в их языках. Не менее существенно здесь то, что при всех различиях в жизненной практике разноязычных коллективов «людей Земли» в этой практике имеется и важнейший общий «стержень» и, кроме того, дети (составляющие значительную часть всех человеческих коллективов Земли) как раз в период формирования в человеке всего наиболее существенного для сознания обязательно проходят примерно через одну и ту же практику — практику овладения многими одинаковыми в самых разных широтах свойствами основных окружающих предметов. На один из поставленных нами выше вопросов (едина ли у разноязычных людей их практика или же у них имеются разные «практики») намечается, таким образом, следующий ответ: при всех различиях их практики в ней имеется достаточно мощная единая или общая часть, способная в условиях единого земного мира обеспечить принципиальное единство их сознания. Все это, разумеется, не значит, что должны быть сброшены со счета различия в условиях жизни и в практике человеческих коллективов со всем вытекающим отсюда, в частности, для различия языков.

Итак, десигнат по отношению к денотации далеко не произволен, он детерминирован, как детерминированы и наборы десигнатов. Однако, спра-

---

[3] На этот эмпирический довод обычно приводится следующее возражение: при сопоставлении набора десигнатов таких языков, как абипон и французский, в целом обычно обнаруживается гораздо больше различий, нежели общностей.

[4] Если в каком-то одном языке значение «лес», например, ассоциируется со значением «гора, горы», а в другом — также с этим значением плюс значение «безлюдье, необитаемые места дебри», в третьем же предстает без этих ассоциаций, просто как «лес» в отличие от «поле» и от «гора», то из этого может сложиться впечатление, что между тремя языками нет в данных их десигнатах ничего, кроме различий. Однако не менее важен тот факт, что в данных трех языках значение «лес» одинаково не ассоциируется с тысячами других значений, таких, как «солнце», «рука», «мужчина», и т. п., что не может не указывать на отсутствие полной произвольности десигната.

шивается, полная ли детерминация имеет здесь место? Если бы десигнат был полностью, жестко детерминирован денотацией и, следовательно, были бы детерминированы в целом и наборы десигнатов, то, на наш взгляд, между лексико-семантическими наборами разных языков не было бы никакой существенной разницы, т. е. языки различались бы между собой в наборах фонооболочек, отчасти — в морфологии, в синтаксисе, а их лексико-семантические различия сводились бы только к наличию/отсутствию десигнатов, отражающих так называемые реалии (типа *пельмени*, *самовар*).

В самом деле, жесткая и полная детерминация десигнатов со стороны денотации, очевидно, вообще исключает какое-либо самостоятельное участие стоящего за языком человеческого мышления или сознания (как индивидуального, так и коллективного) в образовании десигнатов. При такой детерминации какая-либо органическая часть целого определяется всем этим целым (т. е. свойство вещи — самой данной вещью); с другой стороны, речь могла бы идти о чем-то вроде научной таксономизации денотатов по их глубинным свойствам и связям, т. к. только определяемые самой органикой предмета (как часть целым) или же сгруппированные по единой научной классификации денотаты могут, очевидно, получать одинаковое, в принципе унифицированное отражение в любом наборе десигнатов.

Полная детерминированность десигната со стороны денотации исключала бы всякую эволюцию языковых значений, всякое «переабстрагирование» денотации, кроме продиктованного эволюцией самой денотации. Между тем не обусловленные сдвигами в самой денотации «переабстрагирование» и эволюция значений не только существуют в языках, но и являются отражением главных путей совершенствования человеческих знаний о денотации, путей все большего проникновения в денотацию.

Поскольку невозможно отрицать, что наборы десигнатов разных языков существенно различны, мы должны признать, что десигнат в какой-то степени является все же произвольным по отношению к денотации и что что-то произвольное, знаковое, семиотическое имеется в любом наборе десигнатов, во всем «мире значений» в его отношении к миру вещей.

Как мог заметить читатель, в нашем доказательстве неполной детерминированности десигната главным или одним из главных был тот довод, что десигнат не составляет органической части вещи или ингерентного свойства группы вещей. Органическая принадлежность десигната к денотации исключала бы всякую произвольность их связи. Но спрашивается, почему это так и так ли это? В чем здесь дело: в самой неорганичности десигната или в его отдельности по отношению к вещи (группе вещей)? Как нам представляется, главное состоит в том, что при своей отдельности по отношению к вещи десигнат является, обращаясь к известному определению, не мертвым слепком с вещи, не зеркальным, а абстрагирующим ее отражением[5]. Именно как абстрагирующее отражение денотации десигнат и достаточно детерминирован со стороны последней, так сказать, «вещно-объективен».

Частичная произвольность десигната, определяя лексико-семантические различия между языками (различия в наборах десигнатов), собственно и дает так называемую языковую апперцепцию, т. е. присущий данному языку подход к денотации с вытекающей отсюда определенной самостоятельностью языка по отношению к мышлению. Без допущения же частичной произвольности десигната было бы невозможно объяснить никакую апперцепцию языка, т. е. невозможно было бы понять, чем она в конечном счете обусловлена,— еще один аргумент в пользу частичной произвольности десигната.

Само собой разумеется, что, определяя разрешающую способность «переабстрагирования», элемент произвольности десигнатов в то же время должен быть минимален, т. к. при всей своей неорганичности,

[5] Ср.: «...понятие более субъективно, поскольку ему всегда присущ „кусочек" фантазии, связанный с абстрагированием, обобщением» [7].

отдельности от вещи или от вещей десигнат как бы вбирает в себя их суть, глубоко детерминируется их свойствами, их качественной определенностью. В силу этого и хотя «удельный вес» элемента произвольности в десигнате определить даже в каком-либо приближении невозможно, область десигнатов в целом должна быть признана в ее основе несемиотической и может быть квалифицирована скорее как «псевдосемиотическая» или во всяком случае как нетипично семиотическая.

Преимущественная детерминированность десигната, как и «общий стержень» в практике человеческих коллективов (в большой мере определяемый онтогенезом), естественно, исключают возможность таких различий между языками, которые можно было бы рассматривать как принципиальные. Принципиальные или «непроходимые» различия между языками сделали бы невозможным овладение звуковыми языками других коллективов (т. е. иностранными языками) и вынудили бы разноязычных людей общаться между собою, минуя звуковой язык.

Здесь-то мы и имеем, по-видимому, дело с определенным (не выдвигавшимся до сих пор) критерием существенности языковых различий в плане единства/неединства языков мира. Если такой критерий верен, то языки мира в принципе должны быть признаны достаточно едиными, хотя и имеющими значительные различия. Иначе говоря, различия человеческих языков при всей их существенности — не такого рода, чтобы они могли привести общество к дезинтеграции, разъединить его на изолированные части, представители которых не могут понимать друг друга. Возможность взаимопонимания заложена уже в определенной степени близости человеческих языков.

С другой стороны, не менее важно, что неизбежность различий между языками мира, определяемая различиями в жизни и практике их носителей, вытекает уже из природы самого десигната, из его неполной детерминированности денотацией (какой бы минимальной ни была его произвольность), откуда следует, что различия между языками мира не могут не быть значительными (хотя и не принципиальными). Можно также полагать, что, хотя они и не способны привести общество к дезинтеграции, эти различия настолько значительны, что они в определенной степени, видимо, действительно «формуют», «лепят» существенно разные наборы десигнатов (но не разные «сознания», разумеется), особенно в области непредметных значений. Можно допустить, наконец, и то, что эти различия действительно влияли бы на сознание, сильно мешая взаимопониманию разноязычных людей, если бы не коррегирующая работа тех трех факторов, на которые указывает В. З. Панфилов: 1) неязыковой или второй компонент сознания, 2) особые возможности акта коммуникации, 3) вся практическая деятельность.

Если оставить в стороне третий из этих факторов, то это означает, что соответствующие различия между языками, как и обуславливающая их частичная произвольность десигната (системы десигнатов), просто снимаются, устраняются в акте коммуникации, причем такое снятие происходит на основе или с участием второго компонента сознания.

Обратимся теперь к так называемому второму компоненту сознания. Теперь мы знаем о нем, что он не только противопоставлен в сознании набору или сумме значений языковых единиц, репрезентирующих сознание и используемых в речи, т. е. собственно языковому компоненту, но и то, что он обеспечивает взаимопонимание и единство сознания людей, снимая в коммуникации языковые различия (элемент произвольности десигната). В. З. Панфилов об этом компоненте сознания говорит, что он гораздо богаче указанной суммы значений языковых единиц, в частности за счет знаний, почерпнутых из работы с предметами, из овладения их свойствами.

О какой же сущности, спрашивается, идет речь? Очевидно, что речь и идет о всем почерпнутом из опыта б о г а т с т в е з н а н и й о д е н о т а ц и и, что и составляет второй компонент сознания. По его существу этот компонент может быть назван з а п а с о м н а г л я д н о - о п ы т н ы х з н а н и й (ЗНОЗ).

Кроме самого десигната, к примеру, «вода», относящегося к языковому компоненту сознания, человек располагает, например, знанием того, что вода пластична, что она — жидкость и притом жидкость, первостепенно необходимая для питья и вообще для жизни, что в ней можно варить пищу, стирать, плавать, но, плавая, в ней же можно и захлебнуться и т. д. и т. п.— целая буквально неисчерпаемая энциклопедия знаний о воде, включая, между прочим, «резервные» или, так сказать, эвристические «знания» или способности применения воды в ситуациях, которые еще не возникли, но могут возникнуть. Подобным же образом мы знаем, например, что камень обычно тверд, тяжел, может расколоться при ударе о другой камень или металл, но не о дерево, может быть раскрошен, имеет определенного вида галечную разновидность, которая по определенным причинам встречается обычно у берега моря, что используется камень в строительстве для закладки фундамента и т. д. и т. п. Все эти знания о предметах, об их свойствах и отношениях, о пространстве и ориентации в нем и т. д. приходят к людям прежде всего, очевидно, из опыта обращения с предметами, из опыта «рук и глаз» и формируются они, в основном, в детстве, в онтогенезе. Весь действительно неохватный объем этих знаний не может быть таксономизирован (хотя бы даже с приблизительной полнотой) в каком-либо наборе десигнатов. В этом, однако, нет и необходимости, т. к. весьма ограниченный в сравнении с этим объемом любой существующий набор десигнатов в принципе вполне достаточен для описания любого фрагмента ЗНОЗ (т. е. данного объема знания) благодаря комбинированию десигнатов в речи.

Разумеется, в человеческом общении или, точнее, в феномене понимания есть и то простое опознавание последовательно предъявляемых десигнатов (прямая идентификация каждого из них с соответствующей единицей хранилища памяти), которое не отличается от такого же опознавания при обмене информацией двух ЭВМ. Есть в этом феномене и выбор или идентификация значения слова по соотношению с речевым или с ситуационным контекстом. Но все эти идентификации у человека возможны лишь благодаря указанному запасу наглядно-опытных знаний. Так, например, глагол *жарить* в предложении *Лихо жарили на баяне* будет идентифицирован в значении «играть» не только потому, что среди значений, покрываемых словом *жарить*, имеется значение «играть» и не только по соотношению с *баян* и *лихо*, но в конечном счете и главным образом потому, что мы из опыта знаем, что на баяне играют, а не жарят (допустим, картошку). Точно так же в примере *Хороший кондитер не будет жарить хворост на газовой плите* слово *хворост* идентифицируется в «пищевом», а не в «лесном» значении в конечном счете потому, что мы знаем, что валежник вообще не жарят и не варят (тем более кондитеры) [8, 9].

На этих примерах, конкретно показывающих, как «работает» ЗНОЗ, мы уже не только теоретически (спекулятивно) убеждаемся в реальности этого компонента сознания, противопоставленного вне коммуникации языку, а в коммуникации — речи и ситуации; но одновременно на конкретных примерах убеждаемся в действительной фундаментальности данного компонента, в частности — в обеспечении им коммуникации, взаимопонимания, единства сознания.

Излишне говорить о том, что ЗНОЗ является мощным фактором эвристического обеспечения понимания в общении. В сознании среди значений, например, глагола *безобразничать* нет значения «играть»; однако предложение *Он безобразничал на баяне* при всей его необычности не оказывается непонятным или, во всяком случае, полностью непонятным, и указанный глагол идентифицируется в значении именно «играть определенным образом», что обеспечивается тем же ЗНОЗ, к которому в данном случае уже более активно апеллирует и понимание. Только на основе ЗНОЗ возможно такое полностью эвристическое общение, которое обходится вообще без всяких элементов вербальности, т. е., например, жестовое, включая такой его вариант, при котором значение жестов заранее не обусловлено между участниками акта общения.

Возвращаясь к проблеме апперцепции и соотношения сознания и языков, но не затрагивая пока еще общения разноязычных людей, мы можем констатировать, что два одноязычных человека уже до начала общения в очень большой степени свободны от давления языка на их сознание, т. к. наряду с набором апперцептирующих десигнатов языка люди располагают мощным аппаратом ЗНОЗ. И когда начинается их общение, то этот аппарат позволяет им так соотносить с ситуацией, комбинировать и понимать комбинации десигнатов, что в речевом и ментальном (мыслительном, умственном) результатах общения апперцепция десигнатов снимается: имеет место различного рода коррекция десигнатов. Впрочем, на основе ЗНОЗ преодоление апперцепции и коррекция десигнатов возможны и вне общения.

Если теперь обратиться к разноязычным людям, то очевидно, что ЗНОЗ является тем главным, что делает примерно одинаковым, единым и сознание этих людей,— независимо от различий их языков, вопреки этим различиям; разумеется, что это возможно лишь потому, что ЗНОЗ наравне с языковым компонентом является главным содержанием сознания. Открывая возможность одноязычным людям понимать друг друга, так сказать, «с полуслова», ЗНОЗ, естественно, оказывается и той силой, которая позволяет и разноязычным людям не оказаться в плену своеобразного строения своих десигнатов. ЗНОЗ является тем главным, что обеспечивает взаимопонимание, взаимообщение разноязычных людей, имея в виду преодоление ими апперцепции не только своего, но и чужого (иностранного) языка (обеспечение перевода).

Если на основе ЗНОЗ в лингвистическом плане имеет место идентификация значения по контексту и ситуации, снятие языковых различий или преодоление апперцепции десигната, то в философском плане здесь как раз устраняется тот «кусочек фантазии», тот элемент произвольности, который свойствен десигнату как единице абстрагирования. При этом очень важно, что снятие произвольности, коррекция десигната имеет место именно в коммуникации — этой практике языка и на основе именно ЗНОЗ, порожденного практикой обращения с предметами (в чем так много общего у всех людей независимо от их языков). Это важно потому, что, как известно, именно практика является окончательным критерием истинности отражения для отражающего сознания. И поскольку, согласно нашей концепции, именно практикой снимается тот элемент произвольности, который мы допускали выше для десигната, то мы вправе думать, что как это сделанное выше допущение, так и вся данная концепция теперь находят свое логико-философское завершение или подтверждение.

Признавая глубокие различия в наборах десигнатов разных языков и значительную их апперцепцию, мы вовсе не обязаны вслед за Ф. де Соссюром и вместе с Сэпиром и Уорфом допускать такие же различия в человеческом сознании. Ф. де Соссюр и его последователи, кроме того, что они абсолютизировали момент некоторой произвольности десигната, а с ним и различия между языками, значительно обеднили одновременно содержание сознания, приравнивая его к набору десигнатов, а из этого вывели уже не только непреодолимые различия между языками, непреодолимую их апперцепцию, но и не менее непроходимые (а в действительности несущественные) различия между сознаниями народов, говорящих на различных языках. На самом деле сознание (единое в принципе для всех людей) гораздо богаче любого набора десигнатов, и богаче оно главным образом за счет ЗНОЗ, который коррегирует десигнаты в речи и одновременно снимает различия между ними при понимании речи на чужом языке.

Подведем некоторые итоги. 1) Во всех языках мира есть определенный общий «стержень», обеспечиваемый преимущественной непроизвольностью десигната, без чего разноязычным людям пришлось бы общаться, минуя звуковой язык. 2) Независимо от этого сознание разноязычных людей носит гораздо более единый характер, чем их языки. Основным в обеспечении единства сознания разноязычных людей является ЗНОЗ, или, точнее, то общее, что содержится в ЗНОЗ разноязычных людей. 3) ЗНОЗ не толь-

ко составляет главную общность в сознании разноязычных людей, но как основа для анализа контекста и ситуации общения является также тем механизмом (одним из механизмов), с помощью которого достигается взаимопонимание как одноязычных, так и разноязычных людей. В этом смысле ЗНОЗ составляет, так сказать, оперативное практическое единство сознания разноязычных людей, конкретное психологическое воплощение единства их сознания.

Вывод о примате ЗНОЗ в обеспечении единства сознания следует уже из необозримой энциклопедичности того, что представляет собой этот компонент сознания. Спрашивается, на чем основано единство ЗНОЗ у разноязычных людей?

Ответ состоит в том, что десигнаты и системы десигнатов — эти «сильные абстракторы» — имеют иную природу, иной характер, чем наглядно-опытные знания, идущие «от рук и глаз» и не заключающие в себе в силу своей неабстрактности или меньшей абстрактности того «кусочка фантазии», элемента произвольности, который характерен для десигнатов. Но меньшая степень абстрактности и произвольности, меньшая степень «отлета от действительности» влечет за собой большее единство в сознании. Баск. *baso* «лес, гора» и, допустим, русск. *лес/гора* различны, но стоящие за этими разными десигнатами наглядно-опытные знания леса и гор, в основном, едины, и эти-то знания и не дадут повода думать, что под ветром может шуметь и качаться *baso* «гора», а не *baso* «лес» (хотя бы и на горе). Англ. *foot*, *leg* — иные десигнаты, нежели русск. «нога», но наглядно-опытные знания о ноге, ее частях, их обычной работе в разных ситуациях и т. д. у носителей русского и английского языков одни и те же, и это, естественно, тоже имеет свои последствия для коммуникации.

Теория множественности языков-сознаний не имеет всеобщего признания в науке: на позиции единства языков (и сознания) стоял Ж. Вандриес; унитарное решение проблемы в наше время ищет, например, М. Матио [10, ср. 11, с. 310—311], с выводами которого перекликается мнение Ю. Н. Караулова о невозможности перехода от языковой модели мира на более высокий уровень обобщения — к концептуальной модели мира на основе чисто лингвистических приемов [12]. В свою очередь соссюровская концепция языкового знака в самой западноевропейской лингвистике вовсе не является общепринятой (ср. ее критику — независимо от позиций, с которых она делается, уже в 1939 г. Бенвенистом, затем Балли, Сеше, Фреем, Наэртом и др. [13, ср. 14]). С другой стороны, не только в данной нашей работе, но и вообще в советской литературе последних «лет все настойчивее опровергается мысль о полной произвольности языкового знака» [15, ср. 16]. И такое опровержение все настойчивее опирается, как полагаем, на краеугольное положение марксистско-ленинской философии о понятии (следовательно, и о десигнате) как образе (=обобщающем подобии, абстрагирующей копии) предмета, ибо в отличие от знака (= чистого знака) образ, как такое подобие, с одной стороны, должен быть глубоко детерминирован миром вещей, с другой же (в отличие от органической или зеркальной копии), не может быть полностью или жестко детерминирован тем же миром: «Изображение движения мыслью есть всегда огрубление, омертвление,— и не только мыслью, но и ощущением, и не только движения, но и всякого понятия» [17, ср. 11, с. 4, 30, 158, 264; ср. 18, 19, 20, 21]. Наконец, также и о том, что мы называем ЗНОЗ, уже давно (по крайней мере, с 50-х годов XX в. [22]) говорят в научной литературе — не только как о богатстве всей опытной стороны сознания, не сводимого к сумме языковых единиц (В. З. Панфилов), но и как о «всем нашем запасе сведений о предмете» [23], «универсальном предметно-изобразительном коде» [24], «опытном богатстве знаний» [25] и т. п. Таким образом, ни положение о неполной детерминированности десигната, ни постулат ЗНОЗ не являются (сами по себе, в отдельности) у нас оригинальными, а предпринимаемая нами попытка «преодолеть» теорию множественности языков-сознаний не является единичной. Другое дело — на какой основе делается эта попытка. В этой связи важно стремление связать в одно целое проблемы языковой апперцепции, природы десигната, ЗНОЗ, феномены переводи-

мости, речевой комбинаторики, контекста и коммуникации, рассмотрев все это заново уже во взаимосвязи, в составе какого-то целого.

В этом смысле, например, показательно, что при всей близости исходной позиции Матио к нашей решение проблемы языковой апперцепции не ставится им в зависимость от природы десигната, и т. д. Между тем, аксиологичность такой зависимости уже начинает осознаваться в специальной литературе: «Создание языка как средства общения всегда связано с известной необходимостью препарирования окружающей действительности. Это не значит, что наше мышление, сознание перестает быть результатом отражения окружающего мира. Самое замечательное здесь то, что свойство отражения окружающей действительности не устраняется и в то же время препарация действительности... постоянно осуществляется» [11, с. 157—158]. Выше, кстати, мы как раз и пытались выяснить, через какие механизмы осуществляется это «самое замечательное» (в своей противоречивости восходящее, очевидно, к противоречивой природе десигната). Начинает ли также осознаваться в современной лингвистике не только сам ЗНОЗ, его важность для языка, но и его важность и место в общей модели коммуникации? Показательно, во всяком случае, что без ЗНОЗ (выделяемого в корреляции с «языковым опытом» под термином «внеязыковой опыт») не оказывается возможным обойтись при исследовании языка в качестве универсального кода [26, ср. 27].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Чесноков П. В.* Неогумбольдтианство.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. Под ред. Панфилова В. З. М., 1977, с. 15—16.
2. *Васильев С. А.* Философский анализ гипотезы лингвистической относительности. Киев, 1974.
3. *Рамишвили Г. В.* Вопросы энергетической теории языка. Тбилиси, 1979 с. 70 и сл. (на груз яз.).
4. *Гухман М. М.* Лингвистическая теория Л. Вейсгербера.— В кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
5. *Брутян Г. А.* Язык и картина мира.— Научные доклады высшей школы. Философские науки, 1973, № 1.
6. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977.
7. *Чесноков П. В.* Слово и соответствующая ему единица мышления. М., 1967, с. 14.
8. *Зыцарь Ю. В.* Переводоведение и эвристика.— В кн.: Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин в высшей школе. Воронеж. 1979.
9. *Zytsar 'Yu. Vl.* Sobre el pasivo vasco.— In: Fontes Linguae Vasconum, 1978, № 28.
10. *Mathiot M.* An approach to the cognitive study of language.— IJAL, 1968, v. 34, № 1.
11. Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977, с. 310—311.
12. *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1975, с. 44.
13. *Naert P.* Arbitraire et nécessaire en linguistique.— Studia linguistica, 1947, № 1, p. 10.
14. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1947 (Гл. VI «Природа языкового знака»).
15. *Гальперин И. Р.* Информативность единиц языка. М., 1974, с. 7—8.
16. *Павлов В. П.* Языковая способность человека как объект лингвистической науки.— В кн.: Теория речевой деятельности. М., 1968, с. 63.
17. *Ленин В. И.* Конспект книги Гегеля «Лекции по истории философии».— Полн. собр. соч., т. 29, с. 233.
18. *Горский Д. П.* Вопросы абстракции и образования понятий. М., 1961, с. 76.
19. *Уваров Л. В.* Образ, символ, знак. Минск, 1967.
20. *Козлова М. С.* Философия и язык. М., 1972.
21. Проблемы сознания. М., 1966.
22. *Щедровицкий Г. П.* Языковое мышление и его анализ.— ВЯ, 1957, № 1.
23. *Кацнельсон С. Д.* Содержание слова, значение и обозначение. М.— Л., 1965, с. 223.
24. *Жинкин Н. И.* О кодовых переходах во внутренней речи.— ВЯ, 1964, № 6.
25. *Иванов Вяч. Вс.* Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.
26. *Пазухин Р. В.* К определению универсального кода.— ВЯ, 1969, № 5, с. 66.
27. *Пиотровский Р. Г.* Лингвистические аспекты искусственного разума.— ВЯ, 1981, № 3, с. 32.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

ВЕРЕЩАГИН Е. М.

К ПРОБЛЕМЕ КРАЕСОГЛАСИЯ СЛОВ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ

(в связи с анализом рифмы в древнеславянских переводах)

Открытое пионерскими разысканиями Алексея Ивановича Соболевского, старославянское стихосложение постоянно привлекает к себе внимание палеославистов. Б. Ангелов, А. Вайан, Й. Вашица, Э. Георгиев, К. Горалек, С. Кожухаров, К. Куев, Д. С. Лихачев, В. Ф. Марещ, М. Ф. Мурьянов, А. Наумов, Р. Нахтигаль, Р. Пиккио, Г. Сване, В. Н. Топоров, Н. С. Трубецкой, Й. Хамм, З. Хауптова, Д. Чижевский, И. Шевченко, И. Франко и внесший особо существенный вклад Р. О. Якобсон — таков далеко не полный список авторитетных имен. Две обстоятельных монографии последнего времени — С. Матхаузеровой и К. Станчева [1, 2] — подытоживают достигнутое и, как всегда бывает, открывают поле для дальнейшего анализа.

Так, в обширной области древнеславянской поэтики выделяется более узкая и конкретная задача — понять и оценить качество и степень влияния византийской каллилогии (украшенной речи) на славянские переводы. В общем виде вопрос зависимости «древнецерковнославянского стиха от его византийских образцов» обрисовала З. Хауптова [3]. Многие исследователи из числа названных занимались так называемой эквиритмичностью, т. е. сохранностью размера исходного византийского стиха в переведенном славянском, и можно сказать, что к поискам эквиритмичности (или, напротив, самостоятельного метра) на практике свелась вся проблематика внешней формы древнеславянского переводного стихотворчества.

Правда, Р. О. Якобсон, хотя и бегло, указал на принципиально важные попытки передать по-славянски намеренные единоокончания и единоначатия слов греческого источника [4, с. 361], но его наблюдения, насколько мы знаем, не были подхвачены. В некоторых работах,— и среди них на первом месте следует назвать значительную статью В. Н. Топорова [5],— учитываются созвучия начал или окончаний слов, соотнесенных между собой в параллельных стихах строфы, однако речь всегда идет об оригинальных произведениях старославянской поэзии. Между тем сохранность звукописи при переводах остается проблематичной, и если удалось бы ее подтвердить, это было бы очень важно. От решения поставленного вопроса в конечном итоге зависит выяснение истории рифмы как в древнеславянском литературном языке, так и в новых славянских литературных языках, сохраняющих преемство с древнеславянским.

Замечания Р. О. Якобсона отмечают отнюдь не редкие, разрозненные и, как можно бы подумать, спорадические явления. Опираясь на одну гомилию Епифания Кипрского, переведенную первоучителем славян Мефодием, мы в своем докладе на IX Международном съезде славистов [6] привели настолько большое количество воспроизведений единоокончаний греческих слов в славянском переводе, что эта возможная мысль о случайных совпадениях становится невероятной. Переводчик сознательно и по мере допустимого регулярно стремился воспроизвести греческую звукопись! Если единоокончания соотнесенных в стихах слов (следуя современной терминологии) называть рифмой, то перед нами межъязыковая эквирифмичность.

Чтобы исследователь мог говорить об эквирифмичности, он, естественно, предварительно должен заметить присутствие единоокончаний в грече-

ском тексте. Между тем хорошо известно, что человеку современности трудно не то чтобы по достоинству оценить изящество форм — именно простонапросто заметить присутствие в тексте древнего эстетического мышления. Применительно к византийской гимнографии данное суждение, к сожалению, справедливо в высшей мере.

Так, вплоть до середины прошлого века исследователи византийской литературы, воспитанные на квантитативной метрике античности, «не слышали» динамического по природе ритма византийского стиха и считали ритмические тропари, кондаки и каноны — прозой и только прозой. Соответствующие суждения западноевропейских ученых приведены у К. Крумбахера [7, с. 639 и сл.], мы же процитируем позицию одного из известных отечественных исследователей. Е. И. Ловягин признает «стихотворными» лишь три ямбических канона Иоанна Дамаскина (на Рождество, Богоявление и Пятидесятницу),— они были искусственно составлены по античной метрике,— а все прочие считает «прозаическими», написанными «красноречивою и искусно составленною прозою» [8]. Лишь Ж. Б. Питра, ломавший голову над встреченными в одной рукописи «стигмами» (στιγμαί), т. е. красными точками над строкой, постановка которых противоречила смыслу, догадался, что стигмы делят текст на такты-колоны и периоды-строки, и стал читать каноны как стихи (он первым и напечатал их графически как стихи, т. е. параллельные строки одну под другой) [9]. К аналогичным выводам почти одновременно пришли В. Крист и М. Параникас [10]. Как только «прозрение», по которому в византийской гимнографии обнаруживается силлабо-тоническая метрика, стало достоянием научных кругов, оно сразу же и безоговорочно было воспринято, и сейчас ритмическая организация литургического песнотворчества для всех очевидна.

Что же касается такого важного признака стиховой речи, как рифма, то в этой области, на наш взгляд, все еще нет обстоятельного и всеобъемлющего анализа роли, места и особенностей данного приема художественной выразительности. Собственно, присутствие рифмы в текстах отмечается. Так, уже К. Крумбахер писал: «К числу художественных средств ритмической поэзии принадлежит также рифма. В гимнах Романа, в акафисте Сергия и в акафисте Анонима, равно как во многих поздних гимнах, она, беспорно, играет свою роль» [7, с. 700]. Однако сам Крумбахер в своем разностороннем и зачастую исчерпывающем труде не дает анализа рифмы, ограничиваясь общим суждением. Обстоятельнейший О. Барденхевер также рифмы не исследует, и эта традиция словесного признания, но фактического игнорирования рифмы в византийской гимнографии (исключая только анализ Акафиста) распространяется на целый ряд ученых [11—30]. Правда, специальное исследование рифмы предпринял Э. Норден [31, 32], однако он прежде всего интересуется происхождением рифмы, а ее синхронный план (формы и виды, эстетические функции, употребительность) оставляет в стороне.

На фоне изложенного нами предпринимается попытка выяснить основные виды рифмы в византийском литургическом песнотворчестве, ее допустимость, желательность и необходимость, ее включенность в иные средства эстетического воздействия. Хотя, надеемся, наблюдения не излишни для специалистов в области византийской филологии, все же в первую очередь они предназначены для палеославистов, которым предстоит выявление межъязыковой (греческо-славянской) эквирифмичности.

По соображениям удобства изложения начинаем с рассмотрения показательного примера. Ниже помещается богородичная стихира «на Господи воззвах» 5-го гласа [1], надписанная именем Павла Аморрейского.

---

[1] Византийские наименования песнопений весьма многочисленны. В основу наименования кладется или содержание гимна (богородичен, крестобогородичен, догматик), или способ исполнения (эксапостиларий, седален, ипокои, катавасия), или время исполнения (причастен, светилен), или сопряженность с псалтырными стихами (стихиры), или место в каноне и акафисте (ирмос, икос, кондак), или иной внешний по отношению к форме песнопения мотив. Пожалуй, термином, прежде всего обозначающим форму, является термин «тропарь» (τροπάριον), который в греческом языке

Богородичен этот выбран потому, что он содержит в себе, сосредоточивая в одном месте, многие (хотя и не все) внешние, формальные черты византийских тропарей, которые иначе, как правило, встречаются по отдельности.

Несколько технических замечаний. Фактический материал здесь и далее черпаем из указанных ранее антологий Питра, Криста и Параникаса, Кантареллы, критического издания евхология Я. Гоара, а также и из обиходных изданий евхология и орология [35—37]. Обиходные книги считаются достаточно надежным источником, и учитывая их, мы опирались как на справедливый совет Э. Веллеша [15, с. 431], так и на практику работы Э. Фоллиери [38]. Тропари разделяются на стихи, которые ради удобства отсылок нумеруются. Если стихи-строки, по мнению автора, образуют строфу, то номер присваивается строфе, а стихи внутри строфы помечаются литерами. Сейчас мы не проводим сопоставления греческих тропарей со славянскими переводами, поэтому можно было бы удовлетвориться одним греческим текстом. Тем не менее, поскольку для нас важно, чтобы читатель хорошо улавливал смысл песнопения, каждая греческая строка сопровождается обиходным («синодальной редакции)» славянским переводом. Мы остановились именно на славянских, а не на русских переводах, потому что они сохраняют синтаксис византийского источника и являются более поэтичными,— при полной вразумительности для филолога. Эти славянские тексты не имеют иной роли, кроме технической, поэтому они передаются упрощенно, без ятя, юсов и конечного ера, и приближенно к современной орфографии и пунктуации (в частности, прописные буквы употребляются после фразовой точки и в именах собственных). Наконец, следует оговорить, что наименования тропарей мы даем в согласии со славянской литургической практикой России, так что поступаем иногда вопреки греческой.

(1) Ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ τῆς ἀπειρογάμου νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ.
В Чермнем мори неискусобрачныя невесты образ написася иногда:
(2а) Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ ὕδατος,
там Моисей разделитель воды,
(2б) ἔνθα δὲ Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος.
зде же Гавриил служитель чудесе;
(3а) τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν ἀβρόχως Ἰσραήλ,
тогда глубину шествова немокренно Израиль,
(3б) νῦν δὲ τόν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ παρθένος.
ныне же Христа роди бессеменно дева.
(4а) Ἡ θάλασσα μετὰ τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραὴλ ἔμεινεν ἄβατος·
Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно,
(4б) ἡ ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουὴλ ἔμεινεν ἄφθορος.
непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна.
(5) Ὁ ὤν, καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος, θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.
Сый, и прежде сый, явлейся яко человек, боже помилуй нас.

Прежде чем перейти к анализу внешней художественности стихиры, необходимо кратко остановиться на ее содержании, потому что именно оно задает ее форму. Песнопение построено на соотнесении ветхозаветных (ВЗ) событий с новозаветными (НЗ), в нем претворен в слово хорошо известный прообразовательный подход к ВЗ. Примыкая к развитой патристической традиции, составитель гимна видит в чудесном переходе через Чермное море (Исх 14, 1—30),— упоминание о нем см. в строке 3а,—символ, архетип, прообраз, по-древнеславянски *зракъ* чудесного же, бессеменного рождения Иисуса Христа девственницей (Мф I, 18—25, Лк I, 26—38; 2, 1—7, строка 3б). Отсюда ветхозаветный пророк Моисей (2а) толкуется как прообраз архангела Гавриила, «благовествовавшего» в НЗ (2б), а неизменившаяся после перехода непроходимость Чермного моря (4а) — как нетленность девственной природы Девы Марии по рождении Еммануила (4б). Этот содержательный параллелизм, прообразовательное тождество разновременных и, по-видимому, разномасштабных, но, с точки зрения поэта, единых по смыслу событий обусловило внешнее

сохраняет общее, родовое по отношению ко всем песнопениям значение, но в славянском словоупотреблении специализировался и используется в значении ἀπολυτίκιον (τροπάριον), т. е. «отпустительный (тропарь)», или, иначе, тропарь дня (праздника). В настоящей статье термин «тропарь» используется исключительно в родовом значении, хотя нам довольно часто приходится ссылаться на ἀπολυτίκια. Исчерпывающие справки и литературу вопроса применительно к видам-жанрам византийских песнопений можно найти у К. Онаша [33], а также в «Азбучнике» Дж. Трифуновича [34].

построение стихиры. Легко заметно настойчивое стремление гимнографа уподобить — до максимально возможной полноты и, естественно, без прямого ущерба для смысла — первый (ветхозаветный) стих строфы второму (новозаветному).

Это уподобление имеет множество внешних проявлений. Оно выражается, во-первых, в изоритмичности обоих стихов строф 2, 3 и 4. Сами строфы по отношению друг к другу гетероритмичны, но внутри каждой строфы стихи подчинены одному и тому же метру. Во-вторых, стихи строф — изосинтаксичны: синтаксическая конструкция первого стиха без отклонений повторяется во втором. Более того, даже морфологическое оформление сохраняется неизменным (варьируется лишь лексическое наполнение); ср. 4а, б:

θάλασσα πάροδον Ἰσραὴλ ἄβατος·
Ἡ μετὰ τὴν τοῦ ἔμεινεν
ἄμεμπτος κύησιν Ἐμμανουὴλ ἄφθορος.

Поскольку церковнославянский язык не имеет артикля, респонзия морфологических формантов в переводе частично потерялась, а слова *море* и *непорочная* морфологически не совпадают с греч. θάλασσα и ἄμεμπτος — в результате этого в переводе отличаются друг от друга по форме прилагательные именного сказуемого, так как они по-разному согласуются по роду. В-третьих, стихи изосиллабичны: количество слогов в 2а совпадает с количеством слогов в 2б; отступления от изосиллабичности вызываются смысловыми причинами (так, в 4а и 4б различны по слоговому составу Ἰσραήλ и Ἐμμανουήλ). Наконец, в-четвертых (и здесь мы вновь переходим к предмету непосредственного анализа в нашей статье) строфы изорифмичны, поскольку легко отмечаются многочисленные единоокончания слов в параллельных стихах строфы.

Что касается местоположения в стихе, то наблюдаются два вида рифм — конечная и внутренняя. Конечная рифма (единоокончания слов, стоящих в концах соответственно первого и второго стихов строфы) в рассматриваемой стихире представлена дважды: 2а ὕδατος рифмуется с 2б θαύματος, 4а ἄβατος — с 4б ἄφθορος. Внутренняя рифма (конечные созвучия слов, расположенных внутри строки-стиха) встретилась пять раз: 2а διαιρέτης — 2б ὑπηρέτης, 3а ἐπέζευσεν — 3б ἐγέννησεν, 3а βυθόν — 3б Χριστόν, 3а ἀβρόχως — 3б ἀσπόρως, 4а Ἰσραήλ — 4б Ἐμμανουήλ. Таким образом, в отличие от современных стихов, для которых типична лишь конечная рифмовка, так что если строфа состоит из двух стихов, то в ней ожидается только одна рифма,— в рассматриваемой стихире количество рифм в два с лишним раза превосходит количество строф. На три строфы пришлось целых семь рифм! А одна из строф (3а, б) украшена тремя рифмами. Пожалуй, имеются основания сказать, что мы видим стремление зарифмовать все слова стихов строфы, следовательно, перед нами панторифма [2].

Что касается качественной характеристики рифм, то, по нашему мнению, опять-таки можно выделить два вида. Во-первых, наблюдается грамматическая (или, точнее, морфологическая) рифма. Так, слова ὕδωρ «вода» и θαῦμα «чудо» сами по себе не рифмуются, но в 2а и в 2б они объединены совпавшей для них формой родительного падежа единственного числа: ὕδατος — θαύματος. Морфологическая рифма свойственна также парам ἐπέζευσεν — ἐγέννησεν (ср. исходные формы глаголов: πεζεύω «идти пешком» и γεννάω «рождать»), βυθόν — Χριστόν (при совпадении именительных падежей βυθός «глубина» и Χριστός «Христос» все же слова различаются в склонении), ἄβατος — ἄφθορος (если бы существительные θάλασσα «море» и ἄμεμπτος

---

[2] Панторифма — нередкое явление в византийской гимнографии. Так, она особенно часто встречается в Богородичном акафисте патр. Сергия (VII в.). Ср.:

Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλλητον Θαῦμα,
Χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα.

С. С. Аверинцев в своем переводе [39, с. 240—241] прилагает усилия для ее воспроизведения:

Радуйся, ангел о в многослов н о е изумл е н и е,
Радуйся, демо н о в многослез н о е уязвл е н и е.

«непорочная» не принадлежали к одному и тому же женскому роду то эти, зависящие от них, прилагательные разошлись бы по морфологической форме, как это, кстати сказать, и случилось в славянском переводе). Второй вид рифмы — деривационная рифма. Она возникает в результате того, что в соотнесенных словах употреблен один и тот же словопроизводящий суффикс. Например, διαιρέτης и ὑπηρέτης представляют собой отглагольные существительные, образованные от διαιρέω «разделять» и ὑπηρετέω «служить» с помощью продуктивного суффикса агента-της. Примечательно, что если существительное ὑπηρέτης «слуга» является устойчивым дериватом, широко употреблявшимся и по этой причине зафиксированным в словарях, то дериват διαιρέτης «разделитель», скорее всего, неологизм, сконструированный поэтом (этого слова нет среди производных διαιρέω даже в подробнейшем Патристическом лексиконе Лампе [40]). Не для рифмического ли эффекта создано новое слово? Деривационная рифма свойственна также наречиям ἀβρόχως (от βροχή «дождь», переносно «влага») и ἀσπόρως (от σπόρος «семя»): они произведены от существительных посредством продуктивного суффикса -ως. Опять-таки замечательно рифмическое сопряжение широко употребительного ἀσπόρως (на практике перед нами теологический христианский термин) с созданным поэтом неологизмом ἀβρόχως. По аналогии с предыдущим случаем правомерно предположить, что новообразованное слово оказалось необходимым для рифмы.

В стихире представлены как богатые, так и бедные рифмы. Богатой можно считать пару διαιπερέτης — ὑπηρέτης, в которой повторяются пять конечных звуков. Вообще говоря, в нашем материале имеется повтор из семи звуков, и нет уверенности, что это предел; см. начальную строфу из тропаря дня (ἀπολυτίκιον) «великим царям» Константину и Елене:

Τοῦ σταροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος,
Креста твоего образ на небеси видев,
καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος...
и якоже Павел звание не от человек прием...

Богатыми являются также рифмы из четырех и трех повторов: ὕδατος — θαύματος, ἐπέζευσεν — ἐγέννησεν. Рифмы со звуковой константой из 3—4 элементов встречаются наиболее часто. Бедная, но тем не менее ощутимая рифма состоит из двух звуков, причем гласный звук может и не быть под ударением: ἄβατος — ἄφθορος. Если же он находится под ударением, то ощущение рифмы становится особенно отчетливым: βυθόν —Χριτσόν Ἰσραήλ — Ἐμμανουήλ

С точки зрения современного поэтического сознания, грамматические и деривационные рифмы кажутся избитыми, банальными, внутренние — вычурными, а бедные — эстетически пустыми. Напомним, однако, об относительности вкуса в искусстве и его временной обусловленности, поэтому от переноса современных оценок в культуру прошлого лучше воздержаться.

Заканчивая систематическое рассмотрение внешней формы стихиры «В Чермнем мори», укажем, что не все ее стихи объединены в строфы. Так, стихи (1) и (5), в терминах старой русской поэтики, являются холостыми, или фразовиками; они отличаются метром от других стихов и не рифмуются с ними.

Таким образом, в рассмотренной стихире мы выявили параллелизм; пяти видов: 1) параллелизм идей (прообразовательное раскрытие ВЗ в НЗ); 2) параллелизм ритма, или изоритмичность; 3) параллелизм синтаксиса или изосинтаксичность; 4) параллелизм слогов, или изосиллабичность, и, наконец, 5) параллелизм единоокончаний, или изорифмичность. Представляется, что внешние формы параллелизма (2—5) целенаправленно соотносят между собой те семантически нагруженные слова, которые должны быть, по теологическому замыслу поэта, включены в единое целое. Например, ветхозаветный Моисей прообразовательно отождествляется с новозаветным Гавриилом, и оба имени в единой для двух стихов строфы синтаксической конструкции стоят в идентичных позициях. И без рифмы

эти слова внешними средствами поставлены в теснейшую связь друг с другом — ритмом и синтаксисом. Рифма выступает как дополнительное, усиливающее уже достигнутый эффект средство: поскольку двусловные атрибуты Моисея и Гавриила попарно зарифмованы (2а и 2б), возникает столь тесная связь идей первого и второго стихов, что ее по праву допустимо именовать неразрывной. В этом, как думается, и состоит главная функция рифмы. Мы далеки, конечно, от мысли полностью отказать византийской рифме в эстетической, гедонистической, музыкальной функции, но все же, вероятно, в первую очередь она исполняет семантическую роль — быть объединителем смыслов и (для адресата) источником философско-теологического познания. Вот почему, если вернуться на прежнее, чисто эстетические признаки рифмы («банальность», «вычурность») не приобретают решающего значения: в противопоставленности современной поэтической практике византийская гимнографическая рифма должна привлекать внимание не к себе самой, а к семантическому единству зарифмованных слов. (Под единством, однако, надо понимать не только тождественные или синонимические смысловые отношения, но и тематическую сопряженность, а также и антонимию, на более высоком уровне абстракции реализующую то же единство — противоположностей.) Иными словами, византийская рифма — это не самоцель, а лишь средство, причем даже и не обязательное, потому что регулярно наблюдаемые в строфах изоритмичность и изосинтаксичность уже исполняют объединяющую функцию.

Несколько замечаний о распространенности и видах рифмы. Иногда рифма употребляется весьма обильно. Ср. кондак недели сырной:

(1а) Τῆς σοφίας ὁδηγὲ,
Премудрости наставниче,
(1б) φρονήσεως χορηγὲ,
смысла подателю,
(2а) τῶν ἀφρόνων παιδευτὰ,
немудрых наказателю
(2б) καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστὰ,
и нищих защитителю,
(3) στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν μου, Δέσποτα...
утверди, вразуми сердце мое, владыко...

Чаще же (можно сказать, что это типичный случай) на всем протяжении песнопения рифма появляется один раз. Например, в знаменитом кондаке Романа Сладкопевца на Рождество [41] рифма использована лишь во второй строфе:

(1а) Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιαν τίκτει,
Дева днесь пресущественного раждает,
(1б) καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει:
и земля вертеп неприступному приносит:
(2а) ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι·
ангелы с пастырьми славословят,
(2б) μάγοι δὲ μετὰ ἀσπέρος ὁδοιποροῦσι·
волсви же со звездою путешествуют,
(3) δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων θεός.
нас бо ради родися отроча младо, превечный бог.

Немало и таких тропарей, где рифмы просто нет.

Что касается видов рифмы, не наблюденных нами в стихире-богородичне 5-го гласа, то следует привлечь внимание к возможности рифмы, не сопряженной со строфной организацией гимна. Так, в не менее знаменитой молитве Ефрема Сирина слова рифмуются (по принципу монорифмы) как раз в границах стиха, а не строфы:

(1а) Πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καὶ ἀργολογίας
Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия
μὴ μοι δῷς.
не даждь ми.
(1б) Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве

χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
даруй ми, рабу твоему.

В весьма архаичном гимне Великого словословия эта внутристишная рифма поддержана повтором местоимения, так что полнота созвучия значительно увеличилась:

(1) Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ,
Слава в вышних богу,
(2а) καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
и на земли мир,
(2б) ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
в человецех благоволение.
(3а) Ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμεν σε,
Хвалим тя, благословим тя,
(3б) προσκυνοῦμεν σε, δοξολογοῦμεν σε,
кланяем ти ся, славословим тя,
(3в) εὐχαριστοῦμεν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξα.
благодарим тя, великия ради славы твоея.

Впрочем, в данном случае разбиение на стихи и строфы может быть и иным.

Следует указать также на возможность использования в тропаре исключительно внутренних рифм при полном отсутствии конечных (что представляется странным для современного поэтического сознания). Ср. тропарь Григорию Солунскому:

(1а) Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ,
Православия светильниче,
(1б) ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε,
церкве утверждение и учителю,
(2а) τῶν μοναστῶν ἡ καλλογή,
монахов доброто,
(2б) τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος...
богословов поборниче непреоборимый...

Что касается количества повторов одного и того же созвучия в гимне, то (опять-таки вопреки современным эстетическим представлениям о монотонности и навязчивости) византийский поэт не избегал монорифмы, а явно стремился к ней. Выше мы наблюдали пять тождественных единоокончаний в Великом славословии (3а, б, в). Ср. кондак архистратигу Михаилу, в котором монорифма реализована также пять раз:

(1а) Ἀρχιστράτηγοι θεοῦ,
Архистратизи божии,
(1б) λειτουργοὶ θείας δόξης,
служителие божественныя славы,
(1в) τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί,
человеков наставницы
(1г) καὶ ἀρχηγοὶ ἀσωμάτων,
и начальницы бесплотных,
(2а) τὸ συμφέρον ἡμῖν αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος,
полезное нам просите и велию милость,
(2б) ὡς τῶν ἀσωμάτων ἀρχιστράτηγοι.
яко бесплотных архистратизи.

Заключая рассмотрение рифмы (ее видов, места и функции в византийской гимнографии), чтобы исключить возможность даже легкого подозрения, что рифма находится на периферии художественных средств, приведем кондак собора Иоанна Предтечи, в котором (как и в стихире «В Чермном мори») рифма несет на себе основную художественную нагрузку. Кондак демонстрирует едва ли не все виды рифмы, рассмотренные выше. Обратите внимание на филигранную точность синтаксического параллелизма.

(1а) Τὴν σωματικήν σου παρουσίαν δεδοικὼς ὁ Ἰορδάνης,
Плотского твоего пришествия убоявся Иордан,
(1б) φόβῳ ἀπεστέφετο·
страхом возвращашеся,

(1в) τὴν προφητικὴν δὲ λειτουργίαν ἐκπληρῶν ὁ Ἰωάννης,
пророческое же служение исполняя Иоанн,
(1г) τρόμῳ ὑποστέλλετο.
трепетом спряташеся:
(2а) Τῶν ἀγγέλων αἱ τάξεις ἐξεπλήττοντο,
ангельския чини ужасахуся,
(2б) ὁρῶσαί σε ἐν ῥείθροις σαρκὶ βαπτιζόμενον·
зряще тя во струях плотию крещаема,
(2в) καὶ πάντες οἱ ἐν τῷ σκότει κατηγάζοντο,
и вси сущии во тьме озаряхуся,
(2г) ἀνυμνοῦντες σε τὸν φανέντα, καὶ φωτίσαντα τὰ πάντα.
воспевающе тя явльшагося и просветившаго вся.

Приступаем к анализу того явления художественности, которое Р. О. Якобсон предпочел обозначить как единоначатие. Собственно, указанное наименование иногда понимается широко и включает в себя анафору, т. е. повторение какого-либо слова в начале стиха (стилистический прием, частый в византийской гимнографии). Ср. тропарь праздника Обрезания:

(1а) Δόξα τῇ παναγαθῷ σου βουλῇ,
Слава всеблагому твоему совету,
(1б) δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου,
слава смотрению твоему,
(1в) δόξα τῇ συγκαταβάσει σου...
слава снисхождению твоему...

Лучше, однако, единоначатие трактовать узко. Если единоокончание (в современной терминологии — рифма) — это одинаковые концы соотнесенных в стихах слов, то единоначатие — это одинаковые начала таких слов. Таким образом, анафора как повтор не части слова, а всего слова из объема понятия исключается.

В византийской гимнографии подобие, даже тождество единоокончания и единоначатия заходит гораздо дальше, чем можно было бы ожидать на опыте современной поэтической практики. Так, с качественной точки зрения, единоначатие бывает, вполне совпадая с рифмой, деривационным и грамматическим.

Что касается первого вида единоначатия, то здесь приставка играет ту же роль, которую в случае деривационной рифмы исполняет суффикс. Ср. строфу из общего тропаря мученице:

(1а) ... καὶ συσταυροῦμαι,
и распинаюся
(1б) καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου.
и спогребаюся крещению твоему.

Ср. также внутристишную начальную рифму в тропаре рождества Иоанна Предтечи:

Προφῆτα καὶ πρόδρομε τῆς παρουσίας Χριστοῦ...
Пророче и предтече пришествия Христова...

Ср., наконец, деривационное единоначатие тропаря праздника Введения:

(1а) Σήμερον τῆς εὐδοκίας θεοῦ τὸ προοίμιον,
Днесь благоволения божия предображение,
(1б) καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις...
и человеков спасения проповедание...

Деривационное единоначатие наблюдается, естественно, когда в соотнесенных сложных словах повторяется первое слово. Ср. кондак мученикам Маккавейским:

(1а) Σοφίας θεοῦ οἱ στύλοι οἱ ἑπτάριθμοι,
Премудрости божия столпи седмочисленнии
(1б) καὶ θείου φωτὸς οἱ λύχνοι οἱ ἑπτάφωτοι...
и божественнаго света светильницы седмосвещнии.

Что касается грамматического единоначатия, то здесь аналогом повтора флексии является повтор артикля или артикля в сочетании с предлогом. Артикль, по нашему мнению, принадлежит к грамматическому слову в той же мере, в какой частью слова является флексия, причем даже если

между артиклем и несущей лексическую номинацию основой вклиниваются другие слова. Ср. воскресный тропарь 3-го гласа:

(1а) Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια,
Да веселятся небесная,
(1б) ἀγαλιάσθω τὰ ἐπίγεια...
да радуются земная...

Когда в идентичной синтаксической позиции оказываются морфологически однородные слова, то возникает как единоначатие, так и единоокончание. Ср. фрагмент молитвы на освящение воды:

(1) Δός πᾶσι
Даждь всем
(2а) τοῖς τε ἁπτομένοις
прикасающимся ей,
(2б) τοῖς τε χριομένοις...
и причащающимся...

Ср. также тропарь Григорию Богослову:

(1а) Ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ πνεύματος ἐκζητήσαντι,
Якоже бо глубины духа изыскавшу,
(1б) καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι.
и доброты вещания приложишася тебе.

Таким образом, византийское слово может одновременно иметь как единоначатие, так и единоокончание: τοῖς τε ἁπτομένοις — τοῖς τε χριομένοις. Возможности звуковой инструментовки соответственно весьма велики. Ср. для примера изысканное использование единоначатий и единоокончаний в стихире на Рождество замечательной византийской поэтессы Кассии:

(1а) Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ τῆς γῆς,
Августу единоначальствующую на земли,
(1б) ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων ἐπαύσατο·
многоначалие человеков преста:
(1в) καί σοῦ ἐνανθρωπήσαντος ἐκ τῆς ἁγνῆς,
и тебе вочеловечшуся от чистыя,
(1г) ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται.
многобожие идолов упразднися.

Если нет возможности акцентировать единство соотнесенных слов строфы с помощью единоокончания, используется единоначатие, а когда единоначатие невозможно, применяется единоокончание.

Напрашивается предположение, что идеалом византийского параллелизма в строфе является (при повторении грамматической схемы и ее служебного наполнения) полное совпадение в стихах грамматических и деривационных элементов, так что варьируются только лексические (корневые) единицы. Иначе говоря, идеальная строфа целиком состоит из единоначатий и единоокончаний. Как любой идеал, и этот претворяется в жизнь нечасто. Можно представить себе, насколько трудно добиться столь точного совпадения формы и одновременной безупречности сложного содержания, но в Богородичном акафисте идеал все же реализован:

(1а) Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει·
Радуйся, еюже радость воссияет,
(1б) χαῖρε, δι᾽ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει...
радуйся, еюже клятва исчезнет...
(2а) Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας·
Радуйся, столпе девства,
(2б) χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας...
радуйся, дверь спасения...
(3а) Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύφωτον ἀνατέλλεις φωτισμόν·
Радуйся, яко многосветлое воссияваеши просвещение,
(3б) χαῖρε, ὅτι τὸν πολύῤῥητον ἀναβλύζεις ποταμόν.
радуйся, яко многотекущую источаеши реку...

Поистине: филигранность поэтического языка повергает в изумление! Трудно поверить, что в первой строфе вполне уместная и далекая разница смыслов обоих стихов достигается варьированием всего двух звуков!

Остается сказать, что поэтическая ценность единоначатия и единоокончания слова издавна осознавалась в античной риторике и обсуждалась под именами ὁμοιοαρκτέον и ὁμοιοτέλευτον. Первый теоретик греческой риторики Горгий Леонтийский, затем Исократ, Аристотель, Анаксимен и многие другие греческие и латинские ученые придавали им большое значение (см. [42]). Таким образом, новейшее понятие рифмы соответствует указанным двум греческим терминам. Конечно, в наше время единоначатие соотнесенных в строфе слов вытеснено на периферию поэтических средств выражения, почему и сам термин «рифма» нередко понимается (и толкуется в словарях) исключительно как конечная рифма. Между тем, как было показано, в византийской гимнографии гомеоарктеоны по своей активности не уступали гомеотелевтам (более подробно об этих последних см. [43, 44]), так что вместо термина «рифма» нас больше устроил бы термин, употреблявшийся в русской поэтике до реформы Тредиаковского — Ломоносова,— «краесогласие». Краесогласие имплицирует возможность созвучия с любого края. Указанными соображениями объясняется название статьи: нам хотелось подчеркнуть, что предметом анализа в ней были два явления, а не конечная рифма только.

Итак, в византийской гимнографии присутствует отчетливая тенденция к краесогласию соотнесенных слов строфы. Вместо с изоритмичностью, изосинтаксичностью и изосиллабичностью изорифмичность обеспечивает достижение основной цели гимнографической выразительности — показать семантическое единство этих соотнесенных слов.

Предложенная попытка систематического (хотя явно и не полного) описания краесогласия слов в византийской гимнографии, при всей ее возможной значимости для византийской филологии, все же прежде всего предназначается для палеославистов, исследующих традиции переводческой деятельности Кирилла и Мефодия и их прямых и отдаленных учеников. Что славянские первоучители переводили литургические песнопения, в этом нет сомнения [45]. Необходимо адекватно понять, что́ из поэтической выразительности исходного текста воспроизводилось, а что́ — терялось. А для этого в свою очередь требуется сформировать у себя ту «чувствительность к форме» (sensililité formelle Поля Валери), отсутствие которой по отношению к поэзии Византии крупнейший специалист Г.-Г. Бек отмечает даже у византинистов [46].

Издатель славянских миней И. В. Ягич писал в свое время: «Христианская поэзия греко-византийская представляет собою высокий литературно-исторический интерес, но она до сих пор недостаточно изучена... Славянские переводчики ... старались перевести минеи, как богослужебные книги, с буквальною передачею греческих слов славянскими, не заботясь при этом нисколько о смысле подлинного текста и не задаваясь восстановлением его в переводе. Не обращая внимания на данный текст как на произведение греческой поэзии, они, конечно, в своем переводе не соблюдали ни размера стихов, ни таких поэтических украшений, как акростихи. Поэтичность перевода отражалась разве только отчасти в полете мысли подлинника» [47]. Относительно акростихов, которые при переводе не могли сохраниться,— хотя в надписаниях канонов переводчики воспроизводили акростихи («краегранесия»),— великий славист, безусловно, прав. Что касается воспроизведения размера стихов, т. е. эквиритмичности, то здесь И. В. Ягич, может быть, и прав по отношению к минеям, но не прав в общем виде: многочисленными разысканиями эквиритмичность убедительно доказана (Й. Хамм [48] вскрыл метрическую природу Псалтыри, В. Ф. Марош [49] установил воспроизведение метра в одном из стихов Апостола, А. Филонов-Гов реконструировала кондак Акафиста, и он метрически совпал с греческим источником [50]; перечисление можно продолжить).

Может быть, через какое-то время столь же убедительно будет доказана и эквирифмичность? Как было раньше сказано, наш поиск на материале переведенной Мефодием гомилии [6] присутствие единоокончаний в славянском тексте подтверждает.

Следовательно, опираясь на «чувствительность к форме» византий-

ской гимнографии, действительно можно заметить и в славянских переводах то, на что «смотрели», но чего не «видели» [3].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Матхаузерова С.* Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1979.
2. *Станчев К.* Поетика на старобългарската литература. Основни принципи и проблеми. София, 1982.
3. *Hauptová Z.* Der altkirchenslawische Vers und seine byzantinischen Vorbilder.— In: Beiträge zur byzantinischen Geschichte im IX—XI. Jahrhundert. Hrsg. V. Vavřínek. Praha, 1978.
4. *Якобсон Р.* Похвала Константина Философа Григорию Богослову.— Slavia, 1970, № 3.
5. *Топоров В. Н.* «Проглас» Константина Философа как образец старославянской поэзии.— В кн.: Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М., 1979.
6. *Верещагин Е. М.* К дальнейшему изучению переводческого искусства Кирилла и Мефодия и их последователей: Доклад на IX Международном съезде славистов. М., 1982.
7. *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 1897.
8. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках, переведенные на русский язык... Евграфом Ловягиным. 3-е изд., СПб., 1875, с. II.
9. Hymnographie de l'Église grecque... par le Cardinal J. B. Pitra. Rome, 1867.
10. *Chirst W., Paranikas M.* Anthologia Graeca carminum christianum. Lipsiae, 1871.
11. *Bardenhewer O.* Geschichte der altkirchlichen Literatur. 4. Bd. Freiburg im Breisgau. 1924; 5. Bd., 1932.
12. *Dölger F.* Die byzantinische Dichtung in der Reinsprache. Berlin, 1948.
13. *Cantarella R.* Poeti bizantini. V. 2. Milano, 1948.
14. *Beck H.-G.* Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1959.
15. *Wellesz E.* A history of Byzantine music and hymnography. 2-nd ed. Oxford, 1961.
16. *Jacobi J. L.* Zur Geschichte des griechischen Kirchenliedes.— Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1882, Bd. V.
17. *Meyer W.* Anfang und Ursprung der lateinischen und griechischen rythmischen Dichtung.— In: Abhandlungen der philosoph.-philol. Classe der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1886, Bd. XVII.
18. *Maas P.* Griechische Metrik. Leipzig—Berlin, 1923.
19. *Soyter G.* Byzantinische Dichtung. Ausgewählte Texte mit Einleitung, kritischem Apparat und Kommentar. Heidelberg, 1930.
20. *Trypanis C. A.* Mediaeval and modern Greek poetry. An anthology. Oxford, 1951.
21. *Mitsakis K.* The Hymnography of the Greek church in the early christian centuries. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 1971 Bd, XX.
22. Τρεμπέλα Παν. Ν. Ἐκλογὴ ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου ὑμνογραφίας Ἀθῆναι, 1949.
23. Χρήστου Π. Κ. Ὁ Μέγας καυὼν Ἀνδρείου τοῦ Κρήτης. Θεσσαλονίκη, 1952.
24. Χρήστου Π. Κ. Ἡ ὑμνογραφία τῆς ἀρχαϊκῆς ἐκκλησίας. Θεσσαλονίκη, 1959.
25. Τωμαδάκη Ν. Β. Ἡ βυζαντινὴ ὑμνογραφία καὶ ποίησις, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν βυζαντινὴν φιλολογίαν. τ. Α'. Ἐκδ. Γ'. Ἀθῆναι, 1965.
26. Μητσάκη Κ. Βυζαντινὴ ὑμνογραφία (Α'). Θεσσαλονίκη, 1971.
27. Ξύδη Θ. Βυζαντινὴ ὑμνογραφία. Αθῆναι. 1979.
28. *Васильев А. (В).* О греческих церковных песнопениях.—Византийский временник, 1896, т. III, вып. 3, 4.
29. *Прохоров Г. М.* К истории литургической поэзии: гимны и молитвы патр. Филофея Коккина.— ТОДРЛ, 1972, т. 27.
30. *Аверинцев С. С.* Рождение рифмы из духа греческой «диалектики».— В кн.: *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
31. *Norden E.* Die antike Kunstprosa. Vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. 5. Aufl. 2. Bd. Stuttgart, 1958.
32. *Norden E.* Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede. Leipzig—Berlin, 1913.
33. *Onasch K.* Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten. Leipzig, 1981.
34. *Трифуновић Ђ.* Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. Београд. 1974.
35. EYXOLOGION sive rituale Graecorum... Opera R. P. Jacobi Goar... Ed. secunda. Venetiis, MDCCXXX.
36. Ὡρολόγιον τὸ μέγα /.../. Ἔκδοσις πέμπτη. Ἐν Βενετίᾳ, 1888.
37. Εὐχολόγιον τὸ μέγα /.../. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν Βενετίᾳ, 1862.
38. *Follieri H.* Initia hymnorum ecclesiae Graecae. V. I—V (v. V: pp. 1, 2). Città del Vaticano, 1960—1966. [Studi e testi, 211—215, 215 bis.]
39. Памятники византийской литературы IV—IX веков. М., 1968.
40. A patristic Greek lexicon. Ed. by Lampe G. W. Oxford, 1976, p. 348—350.

---

[3] При исполнении настоящей работы автор пользовался щедрой помощью венгерской исследовательницы Инессы Владимировны Вуйович. Ей и посвящается эта статья.

41. Sancti Romani melodi cantica. Cantica genuina. Ed. by Maas P. and Trypanis C. A. Oxford, 1963, p. 1.
42. Античные теории языка и стиля. Под общ. ред. Фрейденберг О. М. М.—Л., 1936.
43. Античные риторики. Собрание текстов, статьи, комментарии и общая редакция проф. Тахо-Годи А. А. М., 1978, с. 142, 242.
44. [Комментарий С. С. Аверинцева к переводу «Риторики» Аристотеля].— В кн.: Аристотель и античная литература. М., 1978, с. 192.
45. *Чифлянов Б.* Богослужебният чин, преведен от св. братя Кирил и Методий в началото на тяхната моравска мисия.— В кн.: Годишник на ДА «Климент Охридски», 1976, т. XXII, 4.
46. *Beck H.-G.* Antike Beredsamkeit und byzantische Kallilogia. Antike und Abendland, 1969, Bd. XV, Hf. 2. S. 100.
47. *Ягич И. В.* Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг.— Памятники древнерусского языка. Т. I. СПб., 1886, с. LXXVII—LXXVIII.
48. *Hamm J.* Zur Verskunst Konstantin-Kyrills.— In: Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slawen. Köln, 1964.
49. *Mareš F. V.* Nejstarší doklad slovanské prosodie časoměrné. В кн.: Славянская филология. Сборник статей. Т. II. М., 1958.
50. *Filinov Gove A.* The Evidence for metrical adaptation in early Slavic translated hymns.— In: fundamental problems of early Slavic music and poetry. Ed. by Hannick Ch. [Monumenta musicae Byzantinae. Subsidia, v. VI]. Copenhagen, 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

МАЛКОВА О. В.

К ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

(По данным Галицкого евангелия 1266—1301 гг.)

Проблема группировки древнерусских диалектов и формирования восточнославянских языков имеет длительную научную традицию, однако ее решение сопряжено с преодолением значительных трудностей и является делом будущего [1].

В предлагаемой статье, как, впрочем, и в более ранних наших публикациях, мы стремимся показать, что возможен прогресс в решении актуальных проблем восточнославянского языкознания, если шире использовать при их разработке материал церковных памятников письменности (об этом писал С. И. Котков [3]). В наших прежних публикациях исследовательское внимание концентрировалось на обсуждении отдельных проблем, в настоящей работе результаты суммируются с точки зрения общей проблемы происхождения восточнославянских языков.

Выбор Галицкого евангелия 1266—1301 гг. (ГПБ, F. п. I, 64) в качестве объекта исследования обусловлен рядом причин. Во-первых, от древнейшей поры до нас дошли почти исключительно церковные памятники письменности, поэтому историю восточнославянских языков придется изучать по ним [2]. Богослужебный характер памятника обязал нас, наряду с обсуждением проблемы, вынесенной в заглавие статьи, дать собственную оценку соотношения книжно-литературных и народно-разговорных элементов в церковнославянском языке древнерусской редакции (далее — церковнославянский язык) в той диалектной зоне, к которой относится рукопись, а именно: в Галицко-Волынском княжестве [3]. В конце XII—XIV вв. Галицко-Волынская Русь переживала период расцвета и была одним из центров древнерусской культуры и государственности на восточнославянском юго-западе. Во-вторых, рукопись засвидетельствовала один из древнерусских диалектов, на базе которых в недалеком будущем сформируется украинский язык [7, с. 30—35]. С начала века существует гипотеза (Смаль-Стоцкий) о независимом формировании праукраинских диалектов на базе праславянских, минуя стадию древнерусского (общевосточнославянского) единства (праязыка). В прошлом не-

[1] Об этом писали Ф. П. Филин, К. В. Горшкова и другие исследователи. Ср., в частности: «...Иначе обстоит дело с изучением древнерусских диалектов. Несмотря на усилия историков языка восточных славян, результаты, достигнутые в этой области, можно назвать более чем скромными... Между тем без основательного знания местных говоров невозможно объяснить, как практически реализовалась система древнерусского языка в живой речи носителей, из каких древних диалектов сложилось восточнославянское единство, как долго это единство существовало и как из него возникли русский, украинский и белорусский языки с их многочисленными говорами [1, с. 84]; «Обзор известных науке древнейших диалектных отличий не позволяет установить те пучки изоглосс, на основании интерпретации которых можно судить о диалектной дифференциации древнерусского языка» [2, с. 69]; «Складывался, прежде всего, тот раздел исторической диалектологии, который содержит историю фонетической и грамматической системы русского языка и их общую территориальную характеристику, но безотносительно к проблеме группировки диалектов в разные исторические эпохи» [2, с.6].

[2] Выход в свет в скором времени первого выпуска «Сводного каталога славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР», позволит научной общественности оценить древнейшее письменное наследие нашей страны с этой и других точек зрения (см. [4]).

[3] Неполнота современного знания о языковой ситуации в древней Руси и формировании литературных языков обсуждается в книгах А. И. Горшкова [5] и Ф. П. Филина [6].

однократно предпринимались попытки фактического обоснования этой гипотезы, она находит ревностных сторонников и сейчас, хотя в истории науки всегда доминировала конкурирующая гипотеза, предполагающая существование древнерусского праязыка. В-третьих, Галицко-Волынские земли были областью древнего обитания восточных славян, в отличие от русского севера и северо-востока. Начальный исторический период был близок к праславянской эпохе и проследить движение общеславянских изоглосс на восточнославянской языковой территории прежде всего важно в местах древнего заселения, ибо в результате миграционных волн картина нарушается.

В вопросах классификации, определения диалектного членения древних славянских языков и праславянского языка периода дезинтеграции основным критерием традиционно являются фонетические, отчасти морфологические диалектизмы [8], совокупность которых служит основанием для выводов. Такое положение сложилось стихийно, однако высказывалось мнение об особой ценности именно фонетического материала в сравнительно-исторических исследованиях, в том числе в случаях привлечения лингвистических данных для решения проблемы происхождения языков (см., например, [9, с. 70]). Данная работа также опирается преимущественно на фонетические, отчасти на морфологические критерии, как наиболее изученные, информативные и применимые к памятнику церковного содержания. Обнаружение лексических диалектизмов в такого рода памятниках затруднено в связи с устойчивостью способов и средств выражения традиционного содержания, которая требует специальной процедуры анализа. Перечень диалектизмов, которыми мы оперируем, учитывает опыт предшествующих исследований, некоторые диалектизмы вводятся впервые. В соответствии с традицией в число явлений, связанных с решением проблемы формирования восточнославянских языков, включены результаты древнейших процессов звуковой дифференциации славянских диалектов, происходивших в рамках праславянского языка и объединявших правосточнославянские говоры с другими праславянскими диалектными зонами. Результаты развития процессов в различных зонах указываются суммарно, без детализации, в соответствии с обобщающими трудами по славянскому сравнительно-историческому языкознанию и истории восточнославянских языков [1, 7—13 и др.]. Группировка диалектизмов производится по территориальному признаку (ареал бытования). Общевосточнославянские (общедревнерусские) диалектизмы обозначены термином общерусские, локальные — термином южнорусские. Применительно к начальному историческому периоду использование этих терминов является традиционным; они обладают также тем преимуществом, что менее громоздки. Диалектизмы, присутствие которых в рукописи не нуждается в обосновании, не обсуждаются; они включены нами в таблицу и схему. В том случае, когда связанный с данным диалектизмом материал был описан в наших прежних публикациях, даются лишь общие сведения о нем и вывод.

I. Общерусские диалектизмы

1. Твердость и мягкость согласных. Засвидетельствованное Галицким евангелием 1266—1301 гг. состояние твердости и мягкости согласных носит общевосточнославянский характер, такие отношения могли существовать в любом древнерусском диалекте как промежуточная стадия развития на пути к современному состоянию. Данный диалект пережил процесс палатализации согласных перед гласными переднего ряда и сохранил его результаты, в том числе перед *е*, *и* [14]. Твердость согласных перед гласными заднего ряда и мягкость перед всеми гласными переднего ряда наблюдаема по результатам ассимилятивного смягчения и отвердения в группах согласных, нашедшего отражение в четком распределении букв ъ и ь. В тех случаях, когда внутри древних групп согласных употребляются буквы ъ и ь, выбор буквы — ъ или ь — зависит от места образования гласного, сле-

дующего за группой согласных. Если за группой согласных находится гласный переднего ряда, употребляется *ь*: *вѣть/ви* 58в, *дьвигноути* 60а, *седьми* 49в, *спь/летъше* 147 г. Если за группой согласных следует гласный заднего ряда, внутри группы согласных употребляется *ъ*: *объ/лацѣхъ*, 134 г, *ꙗзъ/вы* 85в-г. Другими словами, твердость или мягкость согласного перед гласным отражена в твердости или мягкости предшествующего ему согласного, о которой позволяют судить случаи употребления после них букв *ъ* или *ь*. Имеется 157 примеров употребления *ъ* и *ь* в древних группах согласных, в том числе мягкость группы согласных перед *е*, *и* отражена постановкой *ь* 39 раз. Внутри новых групп согласных, полученных в ходе падения редуцированных, буквы *ъ* и *ь*, естественно, употребляются часто. Здесь, наряду с этимологически правильными написаниями, имеется 76 случаев смешения букв *ъ* и *ь*. Условия смешения букв *ъ* и *ь* описываются тем же правилом — буква *ь* вместо *ъ* употребляется в группах согласных, за которыми следуют гласные переднего ряда, буква *ъ* вместо *ь*,— когда следуют гласные заднего ряда: *кь/нижникъ* 28в, *кь нимъ* 62в, *прѣдь нимь*, *ними* 21б, 21г, 62б... 11 раз, *пьтиць* 82б, *сь/вершенъ* 55б, *сь/берѣте* 17а, *дь/вѣ* 33б, *пось/лю* 160в-г, но — *пъсомъ* 65а, *дивъна* 101в, *лозънаго* 108а, *темъны* 81б, *стадъныꙗ* 133б и т. д. Если на конце предлогов и приставок на *-з-* употребляется буква *ь*, она стоит там, где за предлогом или приставкой находится слог с гласным переднего ряда: *изь/него* 61а *исьцѣлѣ* 155 г, *и/зьверьжетьсѧ* 136г, *възь/веде* 67г. ... не менее 11 раз. В рефлексах сочетания **tьrt* в позиции перед переднеязычными распределение написаний *ерь* и *еръ* зависит также от места образования следующего гласного — перед гласным заднего ряда употребляется *еръ*, перед гласным переднего ряда — *ерь*: *ѿверъзыи* 121а, *ѿверъ/ста* 3г, но *ѿверьзи* 66г, *ѿверьзе* 19а, *ѿверь/сти* 17 г ... 106 раз. Во всех перечисленных выше видах групп согласных палатальные и палатализованные согласные оказывают одинаковое палатализующее воздействие на предшествующие им согласные, ср.: *прѣдь ними* 21б, 21г — *пьтиць* 82б (*н* — палатальный, *т* — палатализованный). В общей сложности смягчающее воздействие *и* на предшествующую группу согласных отражено 79 раз, *е* — 36 раз. В том числе приблизительно 30 раз перед *е*, *и* употреблены рефлексы палатальных согласных и приблизительно 80 раз — палатализованных. Смягчающее воздействие палатализованного согласного охватывает всю группу согласных, в том числе состоящую из трех членов: *сь/трѣжахоуть* 144в, *ось/кверьнѧтьсѧ* 140г. Поскольку перед *е*, *и* отражено ассимилятивное смягчение в новых группах согласных, значит, мягкое произношение согласных перед *е*, *и* существовало в данном говоре и после падения редуцированных гласных. На конце слов в диалекте Галицкого евангелия 1266—1301 гг. употреблялись мягкие губные и переднеязычные согласные. Это отражено, во-первых, в правильном употреблении букв *ъ* и *ь* на конце слов, во-вторых, в наличии нового *ѣ* перед мягким слогом при отсутствии его перед твердым слогом: *ремѣнь*, 2б, *дъщѣрь* 29г, *сѣмь* 102г, но *осоуженъ* 24б. В новых группах согласных, возникших в результате падения редуцированных гласных, последовательно отражена мягкость согласных перед твердыми губными и заднеязычными, а перед твердыми переднеязычными засвидетельствована тенденция к отвердению: *татьбы* 42г, *десѧтьма* 86в, *горько* 141в, но *моурънаꙗ* 154а, *лицемѣръство* 102б.

Таким образом, в зафиксированном рукописью состоянии отчетливо просматривается перспектива развития к современному общевосточнославянскому типу отношений по твердости и мягкости согласных. Следов украинской диспалатализации согласных не обнаружено.

2. Первое и глухое полногласие. Галицким евангелием 1266—1301 гг. отражено параллельное развитие сочетаний **tort*, **tert*, **tolt*, **tьrt*, **tьrt*, **tьlt* соответственно в *torot*, *teret*, *tolot* (первое полногласие) и *tъrъm*, *tьrьm*, *tьrъt*, *tъlъt*, (глухое полногласие). Примеры, фиксирующие первое полногласие, немногочисленны: *жеребець* 107б, *перенесѣнью* 162г, 162г, 167г, *съ/доровью* 175в. Обычно употребля-

ются неполногласные формы (см. иллюстрации в итоговой части). Глухое полногласие нашло отражение в двух группах явлений: с одной стороны, в частой передаче сочетаний через *еръ*, *ерь*, *еръ*, *олъ* — *верьзи* 28г, *горъличища* 162г, *горъстью* 63в, с другой стороны,— в особенностях состояния твердости и мягкости в группах согласных [15].

3. Рефлексы редуцированных гласных ъ и ь. Факты Галицкого евангелия 1266—1301 гг. изучались в единстве с показаниями группы южнорусских рукописей: Галицкого евангелия 1144 г. (ГИМ, Син. 404), Типографского евангелия № 6 XII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 6) [16], Добрилова евангелия 1164 г. (ГБЛ, ф. 256, № 103) [17]. Был учтен материал многочисленных описаний рукописей, в том числе монографических. Совокупность сконцентрированных данных обнаружила значительное сходство в отражении редуцированных между древнерусскими рукописями разного территориального происхождения и типично восточнославянский характер рефлексов. Это относится к качеству рефлексов сильных редуцированных: ъ представлен лабиализованным гласным; ъ и ь конвергировали с двумя различными гласными (ъ > *о*, ь > *е*). Это касается и условий «задержки» редуцированных гласных в эпоху так называемого общего падения редуцированных — восточнославянский тип отклонений от правила Потебни — Гавлика (на конце приставок, в определенных группах согласных и т. д. [18]).

4. Рефлексы **je*, **ju* в начале слова. Рукопись последовательно отразила утрату протезы в сочетании **ju* и единичными примерами — утрату протезы и изменение **je* в *о*: *овьцю одиноу* 36г, *одинои* 113г, *оунъ* 25г, *оунци* 60в, *оуности* 55в, *оугъ вѣющь* 84б и др.

5. Морфологические диалектизмы праславянской эпохи отражены в Галицком евангелии 1266—1301 гг. многочисленными примерами: в именных основах рефлекс **ĕз* — *стомь мѣръ пшеницѣ* 87б, *наютъ дѣлателѣ* 46в, *не послоушаша ихъ овьцѣ* 17в; наличие окончания *-ъмь*, *-ьмь* в эпоху до падения редуцированных, о чем можно судить по отсутствию рефлексов заместительного удлинения— *оумомь* 63б, *лицемь* 35а, *ложемь* 71а, *оучителемь* 72а, *олтаремь* 126г; последовательное употребление окончания *-ть* в формах настоящего времени глаголов — *поустить* 59в, *речеть* 45а, *имоуть* 6а, 10г, *оумреть* 9б, *сожъжеть* 161в; внедрение в систему склонения полных имен прилагательных местоименных окончаний *-ого* (отражено немногими написаниями, обычно употребляется *-аго*), *-омоу*, *-омь* (отражены последовательно) и их соответствий в мягкой разновидности — *неправедномоу* 99в, *стого* 153а (много примеров на этом листе).

II. Южнорусские диалектизмы

1. Рефлекс **g*. Следы происшедшей в говоре писца Галицкого евангелия 1266—1301 гг. спирантизации **g* мы склонны видеть в следующем ряде явлений. Сочетание **tьrt* передается в Галицком евангелии 1266—1301 гг. через *ерь*, *ерь* и *ер*. Распределение написаний с редуцированным и без него может быть описано в терминах фонетических. Буква редуцированного после *р* чаще присутствует, если *р* находится в позиции перед спирантами *з*, *с*, *х*, в других условиях буква редуцированного употребляется редко. Позиция перед *г* примыкает в этом отношении к позиции перед спирантами, т. е. чаще здесь пишется *ерь* (*изверьгоша*, *верьхоу*). Аналогичное явление имеет место в передаче предлога и приставки *съ*. Если они находятся перед спирантами *з*, *с*, шипящими *ж*, *ш*, то отражаются через *съ*, в других условиях — чаще через *с*. Позиция перед *г* опять-таки трактуется как позиция перед фрикативным — здесь чаще употребляется *съ* (*съгради*, *съгаражть*, *съжещи*) [15]. В развитии процессов исторического времени, связанных с формированием мягкости согласных, рефлекс **k* противопоставился рефлексам **g* и **x*. В Галицком евангелии 1266—1301 гг. имеются примеры употребления *ки* вместо *кы* при отсутствии *ги*, *хи*: *рѣки* 26б, *въ вѣки* 164а, *паки* 20в, *ѥврѣиски* 11а, 172б, *никии* 34а, *въ-*

кисѣ 94г, *моужьски* 1г, *плотьски* 1г [4]. Нет оснований расценивать это как явление случайное, поскольку то же характерно для Галицкого евангелия 1144 г., на что указывал Н. Н. Дурново. В новых группах согласных на морфемном шве корень слова + суффикс в Галицком евангелии 1266—1301 гг. не засвидетельствовано ассимилятивное смягчение согласного корня перед мягким согласным, исключением опять-таки является *к*. Мягкость последнего отражена 4 раза: *цр҃кьве* 27в, *цр҃кь/ви* 4в, 108г, *меркьшю* 145в, ср.: *легъчѣю* 167б, *легъ/чѣю* 35в, *отѧгъчалѣ* 134а, *въздьвигъши* 151б, *небрѣгъше* 60в, *оусохъшю* 100в и др. Далее, в лингвистической традиции пропуски буквы *г* на письме, нередко встречаемые в древнерусских памятниках письменности, принято считать косвенным свидетельством ослабления затвора у рефлекса **g* и приобретения им фрикативного характера. В Галицком евангелии 1266—1301 гг. такие примеры имеются: *изгнаныа* 156а (писец восполнил пропуск над строкой), ѥ⟨*г*⟩*юпта* 159а, *изъ⟨г⟩наша* 91в (пропуски не восполнены). Как известно, рефлексация **g* (взрывной или щелевой звук) представляет собой одно из заметных фонетических различий современных славянских языков. В зоне щелевого произношения наблюдается дифференциация. В верхнелужницком, чешском, словацком, украинском языках щелевой рефлекс представлен фарингальным (*h*), в белорусском, южновеликорусском, в говорах сербохорватского и словенского языков — заднеязычным звуком (γ) [9, с. 85]. Принято считать, что γ и *h* отражают разные этапы эволюции (**g* > γ > *h*). Этот тезис является основой для вывода, что прежде всего были охвачены спирантизацией те праславянские диалекты, которые вошли в украинский, чешский, словацкий, верхнелужицкий языки, в то время как белорусские и южновеликорусские говоры пережили это изменение позднее. Хронологический статус явления неясен. Одни помещают его истоки в праславянскую эпоху, другие считают результатом независимого развития в разных регионах в исторический период. Не свидетельствует ли в какой-то мере одинаковая трактовка рефлексов **g* и **x* в Галицком евангелии 1266—1301 гг., при иной трактовке рефлекса **к*, в перечисленных выше случаях о том, что в данном диалекте произносился γ — звонкий коррелят заднеязычного *x*?

2. Рефлексы ъ и ь в сочетаниях **trъt*, **trьt*, **tlъt*, **tlьt*. Рукописью засвидетельствована трактовка редуцированных гласных в сочетаниях на редуцированный в соответствии с правилом Потебни — Гавлика. Сильные редуцированные передаются через *о*, *е*: *трость*, *тростью* 110в, 143в, *плоть* 1г, 4б... свыше 50 раз. Слабые редуцированные обозначаются через *ъ*, *ь*: *кръве*, *кръви* 10в, 40г, 51в, *тръсти* 34г, *сльзами* 73 г... 83 раза.

3. Смешение рефлексов **wъ* и **u* в начале слова отражено в Галицком евангелии 1266—1301 гг. 260 раз: *оу корабль* 62б, *оу славоу* 170г, *въ гроба* 170г, *въ огнѧ* 109а, *въ море оуверьзи*, 50а *оулѣзе пакы въ корабль* 95в, *въдари* 140в, *въмыисѧ* 13а, *оузможьна* 97в, *оустокъ* 36в, *оудова*, *оудовицѧ* 58в, 73в, *въченици* 4г, *въчащю* 48г, *въбьють* 33а и т. д. Фонетической основой данного явления принято считать билабиальное произношение *w*, существовавшее в части древнерусского языкового массива, в том числе там, где позже возникли украинские и белорусские говоры; географическая дифференциация по этому признаку будущей русской языковой территории остается неясной [1, с. 290 и сл.; 2, с. 64]. Датируют это явление эпохой после падения редуцированных гласных [7, с. 225]. Сходное, но не идентичное развитие наблюдалось в других славянских зонах, в частности в сербохорватской.

4. Рефлексы сильных **y*, **i* редуцированных. Как и в других древнерусских памятниках письменности, редуцированные гласные *y*, *i* < **ъj*, **ьj* отражаются в Галицком евангелии 1266—

---

[4] Мы имеем предшественников в попытках определить способ образования рефлекса **g* через особенности позиционной реализации мягкости сравнительно с рефлексами **k*, **x*. Так, наблюдаемое в части юго-западных украинских говоров смягчение в рефлексах **ку*, **ху* при отсутствии такового в рефлексе **gy* связывали с заднеязычным образованием рефлексов **k*, **x* и фарингальным образованием рефлекса **g*.

1301 гг. через *ы*, *и*: *оумыисѧ* 18г, *великыи* 130г, *пиите* 133б, *двьрии* 9а, *людии* 20б, *велии* 68в, *чии* 57б, *сии* 45а. Однако в форме порядкового числительного *третии* имеются написания, которые позволяют думать, что в этом диалекте был известен *е*-рефлекс у **i*. Ср. при обычной форме *третии* (*дн҃ь*) 2г, 22а, 44б (не менее 16 раз) такие формы: *третеи дн҃ь* 50в, *тако же и вторыи и трѣтьеи до седьмаго* 49в, *тако же вторыи и трѣтьеи и до седьмаго* 125а. Ср. еще: *приложи трѣтьи послати рабъ* 91в, *гласи трѣтьеи* (им. пад. мн. числа) 175а. Рефлекс сильного **i* < **jь* отражается через *и* и через *ѥ*, преобладает *и*: *възаимъ* 71в, *имъ*, *имъше* 41г, 54в, 57в, *наимникъ* 106в, *ѥмъ*, *ѥмъше* 9б, 53в, 75г, *наѥмникы* 84б, *поѥмъ*, *поѥмъше* 44б, 74г, *достоинъ* 32в, *достоѥнъ* 2б, 29г, *гноѥнъ* 78а, *таинъ* 146б, *июдѣискъ* 143г, *июдѣѥскъ* 4а... примеров много. Ср. в Добриловом евангелии 1164 г. обратное соотношение: написаний типа *ѥмъ* 14в, *гноѥнъ* 125а—83, а написаний типа *наимьникы* 84в, *достоинъ* 49б — 34. Современные восточнославянские языки знают два рефлекса «напряженных» редуцированных: **y* > *ы*, *о*, **i* > *и*, *е*. В различных зонах рефлексы *о*, *е* закреплены за различными лексическими и грамматическими категориями. Полагают, что современное состояние получено в результате морфонологического выравнивания рефлексов. Поэтому остановимся на самом общем выводе: Галицким евангелием 1266—1301 гг. отражены два результата развития, как это было характерно для восточнославянских языков.

Отсутствует уверенность, как следует интерпретировать наблюдаемую в Галицком евангелии 1266—1301 гг. тенденцию употреблять в соответствии с конечными *ъ* и *ь* буквы *ы*, *и* в положении перед начальным *j* следующего слова, особенно же перед местоименной формой *и*, по-видимому, тесно примыкавшей к глаголу. Эта черта, наблюдаемая в памятниках различного территориального происхождения, особенно характерна для южнорусских. Традиционно это явление интерпретируется как фиксация *у*, *і* редуцированных. Вместе с тем существует мнение, что в некоторых случаях звуки, обозначаемые через *ы*, *и*, не представляли собой непосредственных рефлексов *ъ*, *ь*, а могли появиться после падения конечных слабых редуцированных вследствие слияния артикуляции конечного согласного с артикуляцией следующего гласного. В Галицком евангелии 1266—1301 гг. таких примеров очень много, особенно в месяцеслове, где письмо является менее тщательным: *молѧхоути и оучнци ѥго* 15в, *взѧша... камѣньѥ.. да побьюти и* 18б, *прѣданъ*, *имать быти снъ чл҃вчь... и въбьюти и* 50в, *азъ видѣхы и* 162а, *тогда поѥты и дьяволъ* 162б, *иродъ пославъ ѩтъ*, *иоана и свѧзавы и въсади и въ темницю* 168в, *аще ты ѥси възѧлъ повѣжи и мнѣ кде ѥси положилы и и азъ възмоу и* 172б, *облъкы и въ ризоу* 114г и др. Добрилово евангелие 1164 г., Галицкое евангелие 1266—1301 гг., Поликарпово евангелие 1307 г. позволяют наблюдать общую тенденцию развития явления. «Расцвет» написаний приходится на Добрилово евангелие 1164 г., в Галицком евангелии 1266—1301 гг. наблюдается варьирование, а на первых 60-ти листах Поликарпова евангелия 1307 г. представлены лишь единичные примеры. В Добриловом евангелии 1164 г. буквы *ъ* и *ь* на конце слов перед местоимением *и* сохранены только 3 раза — *ѩтъ и* 88а, *въсхытѧть и* 12г, *молѧхоуть и* 191в, а буквы *ы*, *и* написаны 90 раз — *сътворѧти и* 12а, *оубьюти и* 78а, *молѧшети и* 93в, *повергы и* 109в, *оболкы и* 185б, *призъвавы и* 139г, *приведохы и* 68в, 77г, *слышахомы и* 176г, *азы и вѣмь* 20б. На первых 60-ти листах Поликарпова евангелия 1307 г. встречено 7 примеров типа *исповѣми и* 24г, *оставимы и* 15г, *приведохи и* 34б, 39а. На этих же листах имеется около 200 примеров с пропуском конечных *ъ*, *ь* в разных позициях и приблизительно 80 примеров употребления буквы *ъ* на конце вместо *ь*: *ацѣм же образомъ* 40б, *им же бо соудомъ* 23а, *ѥдиномъ* 19г, *съ братомъ своимъ* 20г.

5. Рефлексы **ō*, **ē*, **ĕ*, **ę*. Качественное преобразование рефлексов заместительного удлинения гласных **ō* и **ē* засвидетельствовано в Галицком евангелии 1266—1301 гг. многочисленными примерами [19]. Появление нового *ѣ* не обусловлено ударением. Новый *ѣ* почти последователь-

но употребляется внутри слов перед слогом с прежними слабыми *ь* или *і* (но не *ъ*), в общей сложности около 500 раз — в словах на *-ѣниѥ*, *-ѣньн(ыи)*, *-тѣль*, в корнях и основах ряда других слов, где для этого были условия: *исполнѣныꙗ* 2а, *камѣньѥ* 16г, *врѣмѣньно* 39б, *иноплемѣньникъ* 95б, *оучитѣль* 4а, *свѣдитѣльство* 2а, *камѣнь* 8г, *ремѣнь* 2б, *дъщѣрь* 29г, *матѣрь* 59г, *матѣрью* 41г, *пѣщь* 34в, *шѣсть* 6а, *сѣмь* 102г и т. д. Традиционно считается, что качественное преобразование рефлекса **ō* отражено в Галицком евангелии 1266—1301 гг. немногочисленными, но надежными примерами. Этот факт не вызывает сомнения, поскольку здесь отражено также и развитие новых протез перед рефлексом **ō*: *вовьцѧ* 32г, *вовьцѣ* 108а, 111а, 111а, *вогньно* 97г и др. (ср. 7, с. 197, 304—305]). Рефлексы заместительного удлинения изучались по той же группе южнорусских рукописей, что и падение редуцированных гласных. Было установлено, что распределение вариантов *ō* : *ŏ*, *ē* : *ĕ*, *ъ* : *ъ̆*, *ь* : *ь̆* (продленные — «сильные»: сокращенные — «слабые»), наблюдаемое по результатам конвергентно-дивергентных процессов, по-видимому, соответствовало в общем правилу Потебни — Гавлика, что конвергенция *ъ* с *о*, *ь* с *е*, *е* с *ѣ* протекала поэтапно и приблизительно одновременно, со сходством в деталях. В Галицком евангелии 1144 г. не мимеется достоверных примеров, отражающих вокализацию сильных редуцированных, отсутствует и новый *ѣ*. В Типографском евангелии № 6 XII в., как и в Выголексинском сборнике XII в., конвергенция сильных *ъ*, *ь*, *е*, соответственно с *о*, *е*, *ѣ* засвидетельствована преимущественно в тех категориях морфем, где *ъ*, *ь*, *е* находились в большинстве форм перед слогом со слабым редуцированным (основы *шьдъш-*, *тьмьн-*, *довъльн-* и др.) или в суффиксах и окончаниях, особенно если имелись сходные суффиксы и окончания, содержавшие праславянские *о*, *е*, *ѣ* (*ъв-*, *-ък-*, ср. суффиксы *-ов-*, *-ок-*, окончания *-ъмь*, *-ьмь* в *u-*, *i*-основах, ср. *-омь*, *-емь* в *о-*, *jo*-основах, суффикс *-ениѥ*, ср. суффикс *-ѣниѥ*). В Добриловом евангелии 1164 г. отражена последовательно конвергенция сильных *ъ*, *ь* с *о*, *е* внутри неодносложных слов, в этих условиях новый *ѣ* употребляется часто, хотя не столь последовательно. В односложных предлогах, союзе *нъ* и в отрицании *не* конвергенция *ъ* с *о*, *е* с *ѣ* наблюдается крайне редко.

Острые разногласия существуют по поводу качественной характеристики рефлексов **ō*, **ē*, **ĕ* в древних северо-восточном (современное северное) и юго-западном праукраинских наречиях. Одни исследователи считают дифтонгическую стадию (неоднородные гласные) общеукраинской, другие предполагают для юго-западного наречия развитие через монофтонги — суженные гласные типа **ô*, **ê*.

Для Галицкого евангелия 1266—1301 гг. характерно в целом правильное отражение рефлекса **ĕ*; следов его различного развития в ударной и безударной позициях не обнаружено. В древнерусских памятниках различного территориального происхождения наблюдается отражение **jĕ* через ѥ и ꙗ. Галицкое евангелие 1266—1301 гг. в этом отношении от них не отличается. Передача рефлексов **jĕ* через ꙗ, ѥ наблюдается в тех же категориях — в окончаниях имен (рефлекс **ĕ*$_3$), в корнях слов *ѣхати*, *ѣсти*: *сто*ѥ *федоры* 151в, *сто*ѥ *моученицѣ настась*ѥ 155б, ѥ*сти* 34б, 42г, ѥ*дѧть* 42б, ѥ*дъшихъ* 45в, ѥ*ди* 69а, ѥ*здѧхоу* 13б и т. д., примеров много. Исследователи объясняют это орфографическое явление либо совпадением рефлексов **jĕ* и **je*, либо их фонетической близостью. В последнем случае ссылаются на то, что отождествление **jĕ* и **je* дало бы на русской почве *ѣхати* > *ёхать*. В Галицком евангелии 1266—1301 гг. в нескольких примерах буква *ѣ* использована в соответствии с **jĕ* (в позиции после приставок): *хлѣбы прѣдложѣныꙗ изѣ ихъ же не достоино бѣ* ѥ*моу* ѥ*сти* 36а, *обѣданьѥмь и пьꙗньствомь* 111а, *не изѣжь* 100б. Не свидетельствуют ли примеры с *ѣ* о дифтонгическом характере гласного, если писец находил возможным обозначать через *ѣ* даже рефлексы **jĕ*?

Рефлекс **ę* независимо от ударения передается в Галицком евангелии 1266—1301 гг. через ѧ, ꙗ. Важно обратить внимание, что писец реализует модифицированное сравнительно с древнейшими памятниками письменности распределение букв ѧ, ꙗ: буква ѧ почти регулярно представляет

рефлексы *'*a*, *'*ę* после согласных, буква ꙗ — после *j*: ꙗзыкъ 118в, ꙗтъ 113г, *кнѧзь*, *кнѧзи* 2г, 4а, 13а, *не моꙗ волѧ*, *но твоꙗ боудеть* 113б. Не следует ли предположить, что присутствие иного, чем *'a*, рефлекса у **ę* в безударной позиции не способствовало бы столь последовательному проведению указанного орфографического правила и полному отсутствию случаев обозначения рефлекса **ę* через *е*?

Полагаем, что в целом полученные данные позволяют с достаточной определенностью поддержать тезис о единых (праславянских) истоках заместительного удлинения гласных *о*, *е* и распределения редуцированных гласных на сильные и слабые и говорить о приблизительно параллельном и синхронном развитии конвергентных процессов у *ъ* : *о*, *ь* : *е*, *е* : *ѣ*, а также о необусловленности их позицией под ударением в данной диалектной зоне. С меньшей степенью вероятности можно говорить о дифтонгическом качестве рефлексов **ō*, **ē* и **ĕ*.

6. Сочетание *ž'd'ž'*. Приметой южно- и западнорусских памятников письменности считают употребление *жьч*, *жч* в случаях типа: *ижьченеть*, *ижьченоуть* («изгонит», «изгонят») 64г, 81г, 93в, 118г, 137б, 137в, *ижь/ченоуть* 85б, *ижченоу* и другие формы 10а, 10г, 11а, 17в, 28б, 36в, *свѣтильника въжьчегъ* 81а, 151в, *не въжьчизаѥть ли свѣтилника* 87а, *свѣтилника оужьчегъ* 80а, *въжчагають* 27а, *въжь/челаѥте* 88б, *дожчь* 33г, *бездожьчьѥ* 174а, *одъ/жчи* 88в. Отсутствует уверенность, следует ли интерпретировать эти написания как орфографическое явление — специфически южнорусское отражение общерусского результата развития *ž'd'ž'* (за Р. О. Якобсоном) или как южнорусский диалектизм, которому в севернорусской зоне соответствовали иные фонетические результаты (за Г. И. Геровским).

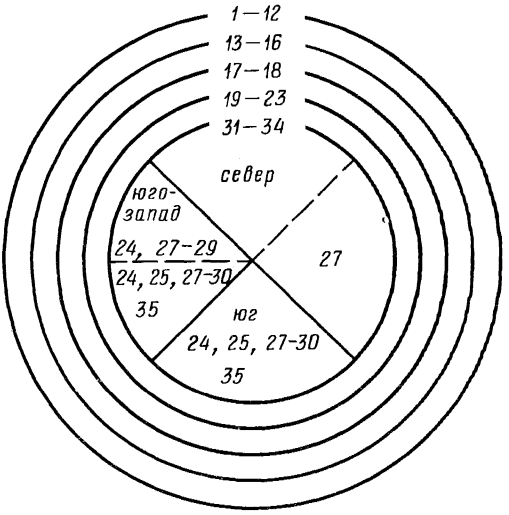
7. Формы повелительного наклонения. Галицким евангелием 1266—1301 гг. засвидетельствована в форме множественного числа повелительного наклонения тенденция развития, которая была характерна для будущих украинских и юго-западных белорусских говоров: в значительном количестве примеров наблюдается перенос форм первого и второго глагольного классов, содержавших *ѣ*, на глаголы третьего и четвертого классов [20]: *осѧжѣте и видите* 21г, *покажѣте* 57б, *свѧжѣте* 39г, 92а, 95б, 124г, *не плачѣтесѧ* 83а, 115б, 115б, *ищѣте* 31г, 34в, 79а, 83г, *не ропщѣте* 10б, *рьцѣте*, *рцѣте* 9а, 33б, *толъцѣте* 31г, 79а, *прѣдъложѣте* 65б и др. В рукописи имеются написания, которые, вероятно, отражают редукцию гласных в окончаниях: *не оукрадь*, *лъжи послоухъ не боуди* 97б, *ісъ ре* (ч) *възовѣть и и звахоу слѣпьцѧ* 100а, *возьмѣте и въверьзьте* 60г, *нѣ обидьте*, *ни оклеветаите* 161в, *не прѣобидьте* 27б, 46а, *оставьте* 39г, 42в, ср. правку *идьте* на *идѣте* 155б.

III. Итоги

Для удобства результаты наблюдений представим в виде таблицы и схемы, пренебрегая деталями и позднейшими изменениями. В таблице порядок следования диалектизмов опирается не на хронологию явлений, а на их содержание и предполагаемый в древности ареал бытования. Среди фонетических диалектизмов прежде всего приводятся явления, связанные с двумя основными праславянскими тенденциями развития,— с тенденцией к палатализации и законом открытых слогов. Далее следуют два общерусских диалектизма — утрата протез: **je* > *о*, **ju* > *u*. За ними находится группа диалектизмов, связанных с действием третьей, последней праславянской тенденции — к утрате редуцированных гласных (сформулирована В. К. Журавлевым [21]), поскольку в эту группу входят и общерусские, и региональные диалектизмы. В конце списка расположены морфологические диалектизмы. В рамках данной работы такая группировка обладает рядом достоинств. Она позволяет наблюдать направление развития отдельных звеньев фонетико-фонологической системы будущих восточнославянских языков (например, мягкости согласных). При такой группировке диалектизмы, которыми мы располагаем, естественным

и отчетливым образом распадаются на два географических слоя: общерусские и южнорусские. Содержательная группировка диалектизмов предпочтительнее хронологической также и потому, что хронология входящих в расчет явлений не всегда представляется ясной, поэтому использование хронологического порядка могло бы сделать наши позиции уязвимыми. Явления, заимствованные из старославянских памятников письменности и не характерные для языка восточных славян, выделены в отдельную графу.

1. Единство и диалектная дифференциация древнерусского праязыка. Для отраженного рукописью диалектного региона, безусловно, следует признать справедливой гипотезу, предполагающую существование древнерусского праязыка, так как в количественном и качественном отношении в рукописи доминируют общерусские диалектизмы. Они составляют приблизительно 70% от общего числа диалектизмов и весьма важны в системном отношении. Их бóльшая часть относится к числу тех, которые имели специфически восточнославянские окончательные результаты развития. Таким образом, речь идет о диалектизмах, обособивших древние восточнославянские диалекты от праславянских диалектов других языковых зон. По совокупности процессов, давших общерусские результаты, может быть определена протяженность периода общего развития отраженного рукописью диалектного региона с остальным восточнославянским языковым массивом в недрах праславянского языка. Единство эволюции наблюдалось все время, пока действовали главные длительные закономерности праславянского языка: тенденция к палатализации согласных (получен восточнославянский тип отношений по твердости и мягкости согласных), закон открытых слогов (развилось первое и глухое полногласие, носовые конвергировали с *у*,'*а*), тенденция к утрате редуцированных гласных (имеются восточнославянские рефлексы редуцированных и восточнославянский тип отклонений от правила Потебни—Гавлика). Единство в развитии существовало также в период утраты протез в сочетаниях **je*, **ju*.



Условные обозначения: 1 — 12 диалектизмы, связанные с развитием мягкости согласных; 13—16 диалектизмы, связанные с действием закона открытых слогов; 17 — 18 утрата протез в начале слова; 19—23 диалектизмы, связанные с утратой редуцированных гласных; 31—34 морфологические диалектизмы. В схеме отсутствует диалектизм № 26.

Пунктирные линии, разделяющие северную и юго-западную зоны, указывают на диалектное членение внутри них.

Локальные диалектизмы, изоглосса которых не совпадала с восточнославянской языковой областью, малочисленнее, они составляют приблизительно 1/3 от общего числа и не столь важны для фонетико-фонологической системы, как общерусские. Это южные диалектизмы, общие для праукраинских и праюжнобелорусских говоров или для праукраинских и прабелорусских. Единственный диалектизм присоединяет к этой зоне праюжновеликорусские говоры. Таким образом, рукопись засвидетельствовала определенную обособленность южнорусских диалектов от других древнерусских [5]. Отраженные рукописью локальные диалектизмы,

[5] Этот результат соответствует в общих чертах предварительному выводу, сделанному О. Н. Трубачевым в процессе изучения лексики восточнославянских языков. Ср., например, следующее его высказывание: «Можно также предполагать, что основ-

№	Диалектизмы, отраженные Галицким евангелием 1266—1301 гг.	Предполагаемый ареал бытования в древней Руси			Ст.-сл.
		юг	юго-запад	север	
1.	$x + \check{e}_2$, $i_2 > s'$	+	+	+	
2.	kv, $gv + \check{e}_2$, $i_2 > c'v'$, $z'v'$	+	+	+	
3.	tl, $dl > l$	+	+	+	
4.	$dj = ж$, $жд$	+	+	+	+
5.	tj, $kt' = ч$, $щ$	+	+	+	+
6.	p, b, m, $v + j > p'l'$, $b'l'$, $m'l'$, $v'l'$	+	+	+	
7.	$t + e$, $\check{e}$, $ę$, $ъ$, $i > t'$	+	+	+	
8.	$tьlt > tъlt$	+	+	+	
9.	$tьrt > tъrt$, $tьr't$	+	+	+	
10.	$ky > k'i$	+	+	+	
11.	Восточносл. тип отношений по твердости и мягкости в группах согласных	+	+	+	
12.	Сохранение мягкости согласных на конце слов	+	+	+	
13.	olt, $ort > lot$, lat, rat	+	+	+	+
14.	$tort$ и др. $> torot$ и др., $trat$ и др.	+	+	+	+
15.	$tъrt$ и др., $tъrъt$ и др.	+	+	+	
16.	$ę > 'a$; $ǫ > u$	+	+	+	
17.	$je = o$, $ѥ$	+	+	+	+
18.	$ju > u$	+	+	+	
19.	$ъ > o$; $ь > e$	+	+	+	
20.	$tъrt$ и др. $> tort$ и др.	+	+	+	
21.	Восточносл. тип отклонений от правила Потебни—Гавлика в рефлексах ъ и ь	+	+	+	
22.	i редуцированный $= u$, e	+	+	+	
23.	ъ, ь на конце слов $+ u$ ($< jь$) $=$ ы, u	+	+	o	
24.	$trъt$ и др. $> trot$, $trъt$ и др.	+	+	—	
25.	Новый ѣ	+	±	—	
26.	Рефлексы заместительного удлинения в ударной и безударной позиции	+	o	—	
27.	$g > γ$ (h)	+	+	±	
28.	Смешение $въ$ и $оу$ в начале слова	+	+	±	
29.	$ž'd'z' = жч$, $жьч$	+	+	—	
30.	Новые протезы перед рефлексом $*\bar{o}$	+	±	—	
31.	Ѣз и А в именных основах	+	+	+	+
32.	Рефлексы -ъмь, -ьмь в твор. падеже ед. числа	+	+	+	
33.	-$mь$ в 3-м лице глаголов	+	+	+	
34.	-$ого$ (-$аго$), -$омоу$ и др. в окончаниях имен прилагательных	+	+	+	+
35.	Обобщение форм с ѣ во 2-м лице мн. числа повелит наклонения	+	±	—	

Условные обозначения: + наличие рефлекса; — отсутствие рефлекса; ± разные рефлексы в одной диалектной зоне; o отказ от интерпретации; = явление отражено буквами, которые следуют за знаком равенства; юг — диалектная зона, отраженная Галицким евангелием 1266—1301 гг.; юго-запад — прабелорусская диалектная зона; север — правеликорусская диалектная зона.

как правило, являются общеславянскими: сходное, хотя не идентичное, развитие наблюдалось в других славянских языковых группах. Согласно с традицией, черты параллелизма в языковом развитии изученного южнорусского региона и инославянских регионов можно считать следствием исходного единства диалектных процессов праславянской эпохи. Среди этих черт есть весьма древние и поздние. К числу первых отнесем двойственную трактовку редуцированных гласных как сильных и слабых в сочетаниях $*trъt$ и др. (*кровь — кръве*), поскольку она соответствует правилу Потебни—Гавлика, которое было актуальным в праславянский период. Незакономерное великорусское развитие с этой точки зрения

ные группы изолекс в этих (восточнославянских.— *М. О.*) языках и диалектах распадутся главным образом на **две** совокупности, которые условно охарактеризуем как **южную** и **северную**, отнеся к последней собственно великорусский материал, а к первой — материал украинского и белорусского языков [22].

представляется инновацией, возникновение которой не обязательно датировать праславянским периодом. К числу вторых следует отнести смешение рефлексов *ѡъ и *и в начале слова, о хронологии которого уже говорилось.

Попытки использовать полученные данные для выявления диалектной дифференциации внутри южнорусской зоны в XIII в. встречаются с серьезными трудностями. Существует длительная научная традиция разделения древнерусского населения на территории современной Украины в этническом и языковом отношениях на две группы: северо-восточную — княжества Киевское, Переяславльское, Черниговское — и юго-западную — Галиция и южная Волынь. Древнее северо-восточное наречие ныне представляют северноукраинские (полесские) говоры, древнее юго-западное наречие — юго-западные говоры [23]. Вместе с тем нельзя признать успешными попытки детализации этой идеи через установление списка диалектизмов и определение их хронологической иерархии. Поэтому мы не можем решить с должной полнотой и обоснованностью вопрос о принадлежности диалекта рукописи к прасеверноукраинской или праюжноукраинской области. В классификации современных украинских говоров на северноукраинские и южноукраинские существенное значение придается трактовке рефлексов *ō, *ē, *ě, *ę: северное наречие включает в себя диалекты, имеющие разные результаты развития в ударной и безударной позиции (южнобелорусские говоры по этому признаку объединяются с северноукраинскими), южное наречие включает в себя диалекты с единым рефлексом в обеих позициях. Однако хронологическая глубина диалектной дифференциации по этому признаку не установлена. Одни исследователи считают данное различие древним, восходящим к эпохе племенных диалектов [24, 25], другие датируют эпохой после падения редуцированных гласных [1, с. 79]. В Галицком евангелии 1266—1301 гг. имеется массовый материал для нового ѣ, употребление которого не обусловлено ударением. По этому признаку диалект можно было бы отнести к юго-западному наречию, если бы было установлено, что в северо-восточном наречии не существовало заместительного удлинения в безударной позиции либо его рефлексы в безударной позиции в XIII в. уже были утрачены. Попытки опереться на другие отличительные черты также не кажутся обнадеживающими. Обширный и достоверный материал есть относительно состояния твердости и мягкости согласных, однако неясно, когда и как протекало в праукраинской зоне отвердение согласных перед гласными *е*, *и*, отвердение губных на конце слов, отвердение *р*, *ц* в разных позициях. В Галицком евангелии 1266—1301 гг. рефлексы *kv, *gv + + *e_2, i_2 отражены через *цв*, *зв*: *цвѣтноѥ* 121г, *звѣздоу* 158в, 158г, *звѣзда* 158 г. Рефлексы *sk + *$ě_2$, *i_2 отражены через *ст* (предположительно *sk > s'c' > s't'): *змли содомьстѣи и гоморьстѣ* 32г, *въ жидовьстѣи* 104г, *старьци людьстии* 48г, *цре змьстии* 49г, *о сноу члвчьстѣ* 96б. По этому признаку диалект писца можно было бы отнести к юго-западному наречию, если справедливо мнение тех ученых, которые считают, что северо-восточное наречие, в отличие от юго-западного, сохранило группы *kv, *dv + *$ě_2$, *i_2 и *sk + *$ě_2$, *i_2 без изменения. Отрицать такую возможность нельзя, однако такое предположение пока не подтверждено конкретными исследованиями.

2. Соотношение книжно-литературных и народно-разговорных элементов в церковнославянском языке. Специфически южнославянские результаты развития, отраженные Галицким евангелием 1266—1301 гг., немногочисленны [26]. Это неполногласные формы — *възвращю* 102а, *съгражю* 88в, *злато* 50г, *жрѣбець* 107б, ѥ в начале слова — *ѥзеро* 29а, *ѥдинъ* 5б, употребление *щ* в соответствии с *tj, *kt' — *оноуща* 32в, *нощью* 120б, *хощю* 47а, ꙗ, ѧ в окончаниях имен в соответствии с *$ě_3$ — *близь поустынѧ* 20б, *на птицѧ* 34б. Даже с генетической точки зрения слова — носители перечисленных южнославянских признаков часто нельзя признать южнославянизмами, так как в их внешнем облике южнославянские особенности объединяются с восточнославянскими и южнорусскими. На-

пример, неполногласные формы соединяются с *ж* < **dj* — *съгражю* 109а *гражане* 89а, *прѣже* 23а, 62а, 65в, с суффиксом-*ан-* (соответствует старославянскому -*ѣн-*) — *масла дрѣвнаго* 66в, с окончанием *ѣ* (соответствует старославянскому *ѧ*) — *отемлющемоу твою ризоу и срачицѣ не възъбрани* 71г, с новым *ѣ* — *врѣмѣньно* 39б. Новые протезы сочетаются с окончанием *ѧ* — *поущаю вы акы вовьцѧ* 32г. Не приходится сомневаться, что такой лексики не существовало в старославянском языке: перед нами сформировавшаяся в недрах церковнославянского языка на восточнославянской языковой почве специфически книжно-литературная лексика [6].

Оценивая в целом полученные нами из Галицкого евангелия 1266—1301 гг. данные с точки зрения проблемы становления восточнославянских языков и формирования церковнославянского языка, следует подчеркнуть их содержательность и достаточное богатство. Они позволяют с уверенностью поддержать гипотезу, предполагающую существование древнерусского праязыка, и дают основание для предварительного вывода, что галицко-волынская разновидность церковнославянского языка во второй половине XIII в. имела общерусскую фонетику с южнорусскими диалектными чертами. При использовании этих данных, безусловно, приходится считаться с весьма вероятным фактом неполной фиксации памятником письменности диалектных фонетических черт, существовавших в XIII в. в народно-разговорном и церковнославянском (книжно-литературном) языке в отраженной рукописью диалектной зоне. Возможно, южнорусская разновидность церковнославянского языка в XIII в. в произносительном и орфографическом плане ориентировалась на общевосточнославянские и общеюжнорусские фонетические особенности. Полнее осветить этот вопрос можно будет после необходимой предварительной работы по изучению других южнорусских памятников письменности. Мы ограничимся пока реальным учетом имеющихся у нас фактов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.
2. *Горшкова К. В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
3. *Котков С. И.* Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980, с. 57.
4. *Жуковская Л. П., Шеламанова Н. Б., Шмидт С. О.* О составлении «Сводного каталога славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР».— В кн.: История, культура, этнография и фольклор славянских народов. IX Международный съезд славистов (Киев, сент., 1983): Доклады советской делегации. М., 1983.
5. *Горшков А. И.* Теоретические основы истории русского литературного языка. М., 1983.
6. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.
7. *Жовтобрюх М. А., Русанівський В. М., Скляренко В. Г.* Історія української мови. Фонетика. Киев, 1979.
8. *Birnbaum H.* The Dialects of Common Slavic.— In: Ancient Indo-European Dialects. Berkeley — Los Angeles, 1966, p. 161.
9. *Коломиец В. Т.* Значение данных сравнительно-исторической фонетики для исследования славянского этногенеза.— В кн.: Слов'янське мовознавство. IX Міжнародний з'їзд славістів: Доповіді. Киев, 1983.
10. *Birnbaum H.* Common Slavic. Progress and problems in its reconstruction. Ann Arbor, 1975.
11. *Furdal A.* Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego.— In: Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego, 1961, ser. A, № 70, S. 114.
12. *Иванов В. В.* Историческая грамматика русского языка. 2-е испр. и доп. изд. М., 1983.
13. *Колесов В. В.* Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
14. *Малкова О. В.* Имело ли место вторичное смягчение согласных перед [е], [и] в диалектах южной зоны древнерусского языка? — ВЯ, 1980, № 6.
15. *Малкова О. В.* К проблеме второго полногласия.— ВЯ, 1981, № 6.

---

[6] Более двадцати лет автор занимался составительской практикой для Словаря русского языка XI—XVII вв. Эта работа сформировала у нас убеждение, что для сферы лексической семантики церковнославянского языка был характерен такой же процесс сплава книжно-литературных (в том числе заимствованных из старославянского языка) семантических элементов и древнерусских.

16. *Малкова О. В.* К уточнению времени написания Типографского евангелия № 6 (7).— В кн.: Восточнославянские языки. Источники для их изучения. М., 1973.
17. *Малкова О. В.* К истории редуцированных гласных ъ и ь в южных говорах древнерусского языка.— ИАН СЛЯ, 1966, № 3.
18. *Малкова О. В.* О принципе деления редуцированных гласных на сильные и слабые в позднем праславянском и в древних славянских языках.— ВЯ, 1981, № 1.
19. *Малкова О. В.* К проблеме падения редуцированных гласных в славянских языках и развития украинского икавизма.— ВЯ, 1982, № 5.
20. *Белоусов В. Н.* История форм повелительного наклонения.— В кн.: Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982, с. 142.
21. *Журавлев В. К.* Генезис группового сингармонизма в праславянском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1965, с. 3.
22. *Трубачев О. Н.* О составе праславянского словаря. Проблемы и задачи.— В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов (София, сент., 1963): Доклады советской делегации. М., 1963, с. 185.
23. *Матвіяс І. Г.* Формування південно-східного наріччя української мови.— Мовознавство, 1983, № 1, с. 52—53.
24. *Ганцов В.* Діялектологічна класифікація українських говорів (з картою). Київ, 1923.
25. *Жилко Ф. Т.* Особенности диалектных групп украинского языка.— В кн.: Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М., 1964.
26. *Малкова О. В.* О связи церковнославянского языка древнерусской редакции со старославянским языком.— ВЯ, 1981, № 4.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

ФРАНЧУК В. Ю.

О ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Дипломатический язык как разновидность языка древнерусской деловой письменности изучен недостаточно[1]. Объясняется это тем, что подлинные документы этого жанра от древнейшего периода не сохранились, а в летописных описаниях соответствующих явлений филологи, преимущественно литературоведы, склонны видеть литературную обработку устной традиции. Принято считать, что в XI—XII вв. и даже позже восточные славяне вели дипломатические переговоры лишь устно, через словесные передачи послов [6—9]. Такое понимание легло в основу не только упомянутых трудов Ф. П. Сергеева, но нашло признание и у других исследователей древнерусского языка [10, 11]. Лишь в статье Г. А. Селиванова [12] ставился вопрос о возможности письменной передачи чужих высказываний в XI—XII вв., однако разработан автором он не был.

В связи с этим княжеские послания и другие материалы дипломатического характера, включенные в древнерусские летописи, как лингвистический источник не рассматриваются. Исключение составляют лишь договоры Руси с греками X в. Отсутствие оригиналов не помешало длительному и тщательному изучению их языка по текстам, сохранившимся в составе летописных списков более позднего времени.

С другой стороны, некоторые советские историки свободно обращаются с указанными материалами, принимая их без всяких оговорок за письменные документы, например, В. Л. Комарович [13], В. Т. Пашуто [14], с чем, конечно, нельзя согласиться.

Более приемлемой представляется позиция Б. А. Рыбакова. Еще в 1949 г. он осторожно указал на возможность использования в летописях дипломатических документов, хранившихся в архивах: «Целый ряд княжеских речений послам, союзникам и врагам носит характер не устной речи, записанной летописцем, а пересказа подлинных грамот. В ряде случаев близость текста летописи к формулам грамот очень велика» [15]. После открытия берестяных грамот, показавшего высокий уровень письменных сношений в Древней Руси, это предположение было разработано и в других трудах Б. А. Рыбакова [16, с. 316—336; 17, с. 146]. Приведя убедительные аргументы подлинности текстов, включенных в летопись в качестве княжеских посланий, ученый подчеркивает, что в системе доказательств их письменного происхождения решающее значение должны иметь наблюдения над языком [16, с. 318]. В последнее время попытку выделить письменные документы из состава древнерусских летописей предпринял историк А. В. Юрасовский [18], но данные языка исследователем не учитываются.

Анализ языка и стиля летописных текстов дипломатического характера целесообразно начать с крестных грамот, само название которых убедительно свидетельствует об их письменном происхождении. Впервые термин «крестная грамота» упоминается под 1144 г. Как можно заключить

[1] Монография Ф. П. Сергеева [1], как и две другие книги того же автора [2, 3], посвящена дипломатической терминологии. В ней исследуется лексика XI—XVII вв., относящаяся к сфере международных обязательств, дипломатического этикета, посольского права, дипломатических привилегий и иммунитета; анализируются наименования дипломатических документов. В книгах Ф. П. Сергеева дан обзор немногочисленной лингвистической литературы по данному вопросу (в частности, упомянуты кандидатские диссертации Г. А. Селиванова [4] и Л. Я. Костючук [5], где ранее освещались некоторые вопросы дипломатической терминологии древнерусского периода).

из контекста, в данном отрывке речь идет о расторжении ранее принятых обязательств: В то же лѣто. роскоторостасѧ. Всеволодъ с Володимѣркомъ. про сна ѡже сѣде сн҃ъ его Володимири. и почаста на сѧ искати вины. и Володимерко възверже емоу *грамоту хр(с)тьноую*. Всеволодъ же с бра(т)ею иде на нь. (II, 314—315) [2]. Из дальнейшего описания событий второй половины XII в. о крестных грамотах как виде дипломатических документов можно получить следующие сведения. В случае невыполнения обязательств одним из договаривающихся правителей к нему отправляется специальный представитель (посол, муж) «съ хр(с)тьными грамотами» (II, 346)», «съ кр(с)тьными грамотами» (II, 461); «со кр(с)тьными грамотами» (II, 693). Изложив претензии, как правило, от имени одного князя к другому, посол кончает их словами: а се твоѣ грамоты кр(с)тьныꙗ (II, 461); а се ти кр(с)тныꙗ грамоты (II, 670); а се ти кр(с)тьныꙗ грамоты (II, 693). После этого посол «поверже имъ грамоты. хр(с)тьныꙗ» (II, 347) или «положа ему грамоты. кр(с)тьныꙗ. лѣзе вонъ» (II, 462). Если субъектом действия в таком описании является князь, то создается даже впечатление, что грамоты возвращает не посол, а он сам. Например, в 1195 г. Рюрик Ростиславич «к Романови посла ко зѧтю своемоу моужи своꙗ ѡбличи и и *повѣрже* емоу. *кр(с)тныꙗ* грамоты» (II, 686). И далее: Романъ же оублюдъсѧ тѣстѧ своего. ажь емоу *извѣрглъ кр(с)тныꙗ граты* (Хлебн., Погод. грамоты) (II, 686).

Сочетание *крестьная* (= *хрестьная*) *грамота* И. И. Срезневский толкует как «всякая грамота, при утверждении которой целовался крест» [20, I, с. 581]. Уточняя это толкование, В. Панов в комментариях к переводу Киевской летописи пишет: «Крестная грамота — грамота, содержавшая условия мирного договора, на которой князья целовали крест, давая тем самым гарантию соблюдения договора» [21]. Подлинные договорные документы сохранились только с конца XII в.— это договоры Новгорода с Западом, со второй половины XIII в. известны договоры Новгорода с князьями. Оригиналы междукняжеских договорных грамот относятся к середине XIV в. Специально занимавшийся этим вопросом историк М. Б. Свердлов пришел к выводу, что упоминаемые в летописи XII в. как крестные «это договорные грамоты» [22, с. 64]. По наблюдениям Ф. П. Сергеева, письменные клятвенные акты о соблюдении взятых главою государства (княжества) обязательств, вытекающих из заключенных международных договоров, в разное время носили разные названия: крестная грамота (XII—XIV вв.), целовальная (крестоцеловальная) грамота (конец XIV—XV в.), шертная грамота (конец XV—XVII вв.), присяжный лист (XV в.). «Эти разновидности клятвенных грамот,— считает Ф. П. Сергеев,— можно квалифицировать как своего рода ратификационные грамоты» [1, с. 47—48].

Установление близости крестных грамот, упомянутых в летописании XII в., и подлинных договорных документов более позднего времени важно в связи с тем, что в летописи при упоминании этих грамот иногда перечисляются и условия договора. И мы, очевидно, вправе видеть в таких местах цитирование оригинальных текстов, недоступных в настоящее время исследователям. К сожалению, сами случаи упоминания крестных грамот в XII в. малочисленны, и есть основания считать, что в указанный период данный термин употреблял только один летописец [3]. К тому же цитируемые фразы отрывочны и дают представление скорее о содержании, чем о структуре документа. Например: 1) вы есте кр(с)тъ цѣловали до живота своего. а волости Ст҃ославли и Игоревѣ далъ ва (Хлебн., Погод. вам) есмь. ꙗзъ же с вама и Ст҃ослава прогналъ. а волость ва (Хлебн., Погод. вам) есмь изискалъ. и далъ Новъгородъ и Поутивль. а жизнь есмы его взѧли. а имѣнье его раздѣлилѣ. на части. а Игорево ꙗ взѧлъ. се же (брат) (Хлебн., Погод. братя) хр(с)тъ еста перестоупила (II, 346—347);

---

[2] Примеры из Ипатьевской летописи цитируем по изданию [19]. Нумерация тома и столбцов в тексте дана в круглых скобках.

[3] О Киевской летописи и ее авторах см. книгу Б. А. Рыбакова [17] и нашу статью [23].

2) ты брате к намъ кр(с)тъ целовалъ. на Романовѣ рѧдоу. тако же нашь братъ Романъ. сѣдѣлъ в Кыевѣ. дажь стоиши в томъ рѧдоу то ты намъ братъ. пакы ли помина(е)шь давныѩ тѧжа. которыи былѣ при Ростиславѣ. то стоупилъ еси рѧдоу мы сѧ в то не дамы. (II, 670).

Все же эти примеры дают возможность заключить, что крестная грамота в XII в., как и в более позднее время, состояла из двух частей: а) крестоцеловальной формулы и б) условий договора [см. также 22, с. 64].

Строение крестоцеловальной формулы стандартно. В ее состав обязательно входит существительное *крестъ* в форме вин. падежа ед. числа и различные формы глагола *цѣловати* в конкретном значении «касаться губами какого-либо предмета». Словосочетание *цѣловати крестъ* с течением времени стало устойчивым и приобрело переносный смысл «присягать». Новая семантика, как считают Л. Я. Костючук и Ф. П. Сергеев, повлекла появление новых синтаксических связей, не свойственных отдельным его компонентам вне данного сочетания: *цѣловати крестъ к кому* (на чем) [5, с. 16; 1, с. 12]. Однако ни Л. Я. Костючук, ни Ф. П. Сергеев не определяют времени появления новой семантики и новых синтаксических связей, хотя и то, и другое наблюдается уже в первых случаях употребления данной конструкции. Ср., например: Посемъ же, мѣсяца июля въ 10 день, Изяславъ, Святославъ, Всеволод цѣловаша крестъ честныи ко Всеславу (НIЛ, с. 186) [4]; и на то(м) цѣловаша крь(с). (I, 257) [5].

Труднее судить о второй части крестной грамоты, так как ее иллюстрируют лишь отдельные предложения. Более или менее выразителен следующий пример: кр(с)тъ еси к нама с королемъ цѣловалъ. на то(м) ꙗко *что Рускои волости. то ти все воротити* и того еси всего не оуправилъ. ны(н) же азъ того не поминаю всего. но же хощеши хр(с)тьному цѣлованию оуправити. и с нама быти. то оузвороти моꙗ городы. на ни(х) же еси к нама с королемъ кр(с)тъ цѣловалъ. не хощеши ли дати то съступилъ еси кр(с)тьного цѣлованиꙗ. а се твоѣ грамоты кр(с)тьныꙗ. а нама с королемъ с тобою како бъ дасть. (II, 461—462).

Можно считать большой удачей, что варианты к этому тексту приводятся в летописи раньше: 1) на томъ ти цѣловати хр(с)тъ. ꙗко что. *руски(х) городовъ. то ти все възворотити* и *съ Изѧславомъ быти. и его сѧ не ѡ(т)лучити не брѣ* (Хлебн., Погод. ни в добрѣ) *ни въ лисѣ но всегда с ни(м) быти* (II, 452); 2) се прислалъсѧ еси к нама. а се нама далъ тѧ былъ бъ и волость твою по твоеи винѣ. ны(н) же ти вѣ гнѣва ѡ(т)даевѣ. и волости подъ тобою не ѡ(т)имаевѣ но на то(м) цѣловати хр(с)тъ *што Рускои земли волости. то ти възворотити все. и Изѧслава ти(с) не ѡ(т)лучити. но на вси(х) мѣстѣ(х). с ни(м) быти.* (II, 452—453); 3) прислалъсѧ еси к нама и своеꙗ вины каеши(с) тобѣ ти того всего ѡ(т)даваевѣ. и волости подъ тобою не взимаевѣ. но на томъ цѣлуи хр(с)тъ ч(с)тъныи. *что за тобою городовъ рускихъ, то ти все възворотити и Изѧслава ти сѧ не ѡ(т)лучати до живота свое(г). доколѣ же еси живъ. но с ни(м) бити на вси(х) мѣстѣхъ.* (II, 453—454).

Видимо, на основе этих текстов и был составлен не дошедший до нашего времени документ, на котором («на всемъ на томъ») Владимиръ Галицкий «цѣлова хр(с)тъ» (II, 454). Кроме перечисленных пунктов, в нем, должно быть, были указаны также города, которые обязывался вернуть галицкий князь, так как ниже сообщается, что Изяслав Мстиславич послал своих посадников в города «на ни(х) же бѧше хр(с)тъ цѣловалъ. Володимиръ въ Бужескъ. въ Шюмескъ въ Тихомль. оу Выгошевъ. оу Гноиницю» (II, 454).

Существование трех сходных вариантов позволяет предположить, что в середине XII в. условия договора структурно оформлялись в виде ряда инфинитивных предложений, следующих одно за другим. Такое предположение подтверждается изучением строения позднейших договорных гра-

---

[4] Примеры из Новгородской первой летописи цитируем по изданию [24]. Сокращенное название и нумерация страниц в тексте даны в круглых скобках.

[5] Примеры из Лаврентьевской летописи цитируем по изданию [25]. Нумерация тома и столбцов в тексте дана в круглых скобках.

мот. Ср., например, договорную грамоту Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем 1264 или 1265 г.: на семъ кнже цѣлоуп х(с)ъ. къ всѣмоу новоугородоу. на цѣмь то цѣловали дѣди. и ѡци. и ѡцъ твои Ꙗрославъ. новъгородъ ти дѣржати. въ старинѣ. по пошлинѣ. что волостии всѣхъ новгородьскыхъ. того ти кнже не держати. своими моужи. нъ дьржати. моужи новгородьскыми. а даръ имати тобе ѡ(т) тех волостии. а бес посадника тебе волостии не раздавати. [26]. Это означает, что ко времени первой фиксации термина «крестная грамота» тип документа, им обозначаемый, уже имел четкую структурную организацию и языковую форму воплощения, которая не претерпела существенных изменений и в последующие века. Следует также учесть, что если по данным дошедших до нас летописей сам термин употреблял, по-видимому, только один летописец [6], то факт присяги на кресте с последующим цитированием условий договора описывается различными летописцами. И — что существенно — по той же модели. Например: и чѣлова к немоу кр(с)тъ Гюрди ꙗко искати емоу Игорѧ (II, 332); и на томъ целова хр(с)тъ. Володимиричь. къ Стославу ꙗко имѣти ему его. въ ѡ(т)ца мѣсто. и въ всеи воли его. ему ходити. (II, 509); и цѣловаша новгородци хр(с)тъ к Ростиславу на то(м). ꙗко же имъ имѣти сна его собѣ кнземъ а иного кнзѧ не искати. ѡли сѧ с ни(м) смртью розлучити. (II, 529).

Чтобы включить текст документа в летопись, автор прибегает к его переработке: инфинитивные предложения (условия договора) он присоединяет к крестоцеловательной формуле при помощи союза *ꙗко* и вводит в их состав косвенный субъект в форме дательного падежа. Таким образом, вся конструкция приобретает характер сложноподчиненного предложения с придаточными цели. К. А. Тимофеев отмечает в таких придаточных предложениях оттенок долженствования в форме обязательства [27]. В отдельных случаях сохраняется более архаичная форма документа: Въ се же лѣто ходи Всѣволодъ въ Русь Переяславлю, повелениемъ Яропълцемъ, а целовавъ кресть къ новгородцемъ, *яко хоцю у васъ умерети* (НIЛ, 22); и цѣлова к ни(м) хр(с)тъ [Юрий Долгорукий] *ꙗако иду оуже Суждалю* (II, 445); на то(м) бо цѣловали бѧше хр(с)тъ к нему [полочане]. *ꙗако ты на(м) кнзь еси.* и даи ны бъ с тобою пожити. извѣта никакого же до тебе доложити. и до хр(с)тного цѣлованиꙗ (II, 494); цѣловали бо бѧху к нему хр(с)тъ преже [Мстислав, Володимир и Ярослав] *ꙗко тобѣ его ищемъ.* (II, 503).

И в том, и в другом случае ничто не мешает, по нашему мнению, видеть в данных текстах отрывки из подлинных документов с учетом изменений, внесенных летописцем, и, таким образом, есть основания полагать, что во второй половине XII в. в летописной работе был широко использован по крайней мере один вид дипломатических документов — крестные грамоты.

Убеждение в длительности существования на Руси устной формы дипломатических переговоров сложилось до открытия берестяных грамот. В ту пору никто не мог предвидеть, какую огромную роль играло письмо даже в обыденной жизни наших предков. Тем не менее и в давно известных источниках имеются любопытные сведения, позволяющие взглянуть на этот вопрос с другой стороны. Таким источником является в данном случае письмо Владимира Мономаха к Олегу Святославичу, которое до сих пор привлекало внимание лишь как памятник художественной литературы домонгольской поры. Между тем это письмо можно отнести к дипломатическим документам. Ведь главная цель письма — установление мира между двумя княжествами. Созданное в чрезвычайных обстоятельствах, послание Мономаха, естественно, не укладывается в рамки одного жанра. Сам автор называет его грамотой: да се ти *написа(х)* зане принуди мѧ снъ твои ... послуша(х) сна своюго. *написа(х)* ти *грамоту* (I, 252—253).

Особый интерес для нашей цели представляют те строки письма Моно-

[6] Сомнение вызывает лишь самый первый случай — под 1144 г. Здесь единственный раз употребляется сочетание *крестная грамота* в ед. числе.

маха, в которых он говорит об ожидаемом им ответе Олега. Они убедительно свидетельствуют, что князь рассчитывал получить послание отнюдь не в устной, а только в письменной форме. И даже в первый раз Мономах называет будущий ответ *писанье*: «аще ю [грамоту Мономаха] приимеши с добромъ. ли с поруганьемъ. своє же оузрю на твоє(м) *писаньи* (I, 253). Далее синонимом древнерусского слова *писанье* снова выступает грецизм *грамота*, причем указан ее вид — *грамота оутѣшеная*: а к бу бѧше покаѧтисѧ. а ко мнѣ бѧше *гр(а)моту оутѣшеную*. а сноху мою послати ко мнѣ (I, 253). Нужно отметить, что разнообразные названия письменных документов по цели их создания (вкладная, вольная, данная, дерновая, известительная, обидная и т. д.) известны в основном по памятникам с XIII в. Письмо Мономаха показывает, что модель «прилагательное + слово грамота» была известна значительно раньше. Наконец, из письма Мономаха выясняется и способ доставки послания. Его может привезти либо специальное лицо (посол), либо особа высокого духовного звания (епископ): да же начнеши каѧтисѧ бу. и мнѣ добро ср (д)це створиши. пославъ *солъ* свои или *п(с)па* и *грамоту напиши. с правдою*. то и волость възмешь с добромъ» (I, 254). «Грамота с правдою», очевидно, еще один вид дипломатического документа. Скорее всего слово *правда* употреблено здесь в значении «присяга» [20, II, с. 1357] и является синонимом сочетания *крестное целование*. Таким образом, можно предположить, что в XI в. «грамота с правдою» равна позднейшей «крестной грамоте».

Наличие в одном письме Мономаха нескольких, не отмеченных исследователями названий письменных документов свидетельствует о том, что дипломатическая терминология раннего периода изучена недостаточно. И в самом деле, древние летописи пестрят такими словами, как *воля*, *жалоба*, *любовь*, *мольба*, *правда*, *твердь* и т. д. Можно предположить, что некоторые из этих слов в XI—XII вв. употреблялись и как названия дипломатических документов.

Так, по данным Ф. П. Сергеева, письменные акты, подтверждающие мирные отношения, дружбу и приязнь между правителями отдельных государств, с конца XV в. носили названия «дружебная грамота», «грамота о любви (о дружбе)», «любительная грамота», «приятельная грамота» [3, с. 85]. Возможно, однако, что ранее в таком значении употреблялось существительное *любовь*, одним из значений которого, по Срезневскому, было «мир, согласие, мирный договор» [20, II, с. 89]. О таком понимании существительного *любовь* как будто свидетельствует следующий пример: и прислашасѧ полотьчане къ Стославу Ѡлговичю. *с любовью* ꙗко имѣти ѡ(т)цмъ собѣ. и ходити в послушаньи его. и на то(м) целоваша хр(с)тъ (II, 445—446). Ср. еще: и се постигоша [Ѡлега] посли Изѧславли *с любовью. с любною рѣчью* Ѡлегъ же ꙗви мужемъ своимъ. Изѧславлю рѣчь. бѧшета оуже. бо и Всеволодича *любовью сложилась*. съ Изѧславомъ... и въступи Ѡлегъ *оу любовъ*. къ Изѧславу. безъ ѡтнѧ свѣта. бы(с) же вѣсть Стославу. ѡже Всеволодича. и Ѡлегъ снъ его сложилисѧ *любовью*. съ Изѧславомъ (II, 513).

Синонимом существительного *любовь* в этом примере является словосочетание *любная рѣчь*. Значение и того, и другого термина, судя по контексту: «предложения о дружбе». Ср. выше: «грамота о любви (о дружбе)» равняется «любительной грамоте». Правда, в отличие от сочетаний со словом *грамота*, письменный характер которых не требует доказательств, сложный термин «любная рѣчь» скорее может свидетельствовать о форме передачи мирных предложений устным путем. Однако такое решение вопроса не является единственным.

Как показывает изучение древнерусских летописей, в XI—XII вв. существительное *рѣчь* нередко применялось как дипломатический термин в смысле «послание». Например: в то же времѧ посла. Игорь. къ Изѧславоу ре(ч). се брата нашего бъ понѧлъ. а стоишь ли въ хр(с)тьномъ целованьи. ѡнъ же ни ѡтвѣта емоу не дасть. противоу твои *рѣчи*. ни посла к немоу поусти (II, 322); Изѧславль же посолъ приѣха оу Киевъ. повѣда ему. Стославлю *рѣчь* и что ему Володимиръ сказалъ (II, 376); слышавъ же

Глѣбъ *рѣчь* половѣчьких кнѧзии. и вьсхотѣ к нимь на снемь (II, 555); Рюрикъ же рче емоу ажь хочешь со мною во правдоу любви. а даи им поуть слати ко Всеволодоу и ко Двдви а како сѧ нагадавше вси тако же с тобою оуладимсѧ. Рюрикъ бо того дѣлѧ хотѧше(т) послати посолъ свои во правдоу хотѧ свести в любовъ. но Ꙗрославъ Рюриковѣ *рѣчи* не имѧшеть вѣры. творѧ ꙗко же свѣчатисѧ хотѧть на нъ. (II, 695—696).

Особенно выразительно терминологическое значение существительного *рѣчь*, когда оно употребляется в форме множественного числа. Можно привести ряд примеров, где слово *рѣчи* входит в состав таких дипломатических выражений, как *слати* (*послати*) *с рѣчьми*, *снашиватися* (*сослатися*) *рѣчьми*, и т. п.: и ста Стополкъ в градѣ. а лѧхове на Бугу. и *сосласа рѣчьми* Стополкъ с лѧхы (I, 269); вѣ же пакы тобѣ брате молвивѣ. ѡто слевѣ. к тобѣ сна своего. Мьстислава *с рѣчьми*. (II, 420); и *посла* Вѧчьславъ. и Изѧславъ Мьстиславичь. послы свои къ Всеволодоу. *съ рѣчими рѧдитсѧ* (II, 306); бы(с) же лесть въ берендичихъ. творѧхуть бо сѧ бить приѣздѧ — че к городу. а *снашивахуться рѣчьми* межи собою. сему же началници быша Тудоръ Сатмазовичь. Каракозь Мнюзовичь. и Карасъ. Кокѣи (II, 501); и болши вражда. бы(с) на Мьстислава ѡ(т) братьѣ. и начаша сѧ *снашивати рѣчьми* братьꙗ вси на Мьстислава. и тако оутвердившесѧ кр(с)тмъ братьꙗ (II, 543).

Несколько раз в летописях встречается оборот *являти рѣчи*: и начаша. приꙗтьли. Мъстиславли повъдати. Василкови и Володиславу ѡже Володимиръ Мъстиславличь. и Андрѣевичь. и Ꙗрославъ Мьстиславль братъ. и Рюрикъ и Двдъ цѣловали кр(с)тъ ꙗко же взѧти имъ волость оу Мьстислава. по своеи воли. Володимиру къ своеи волости Торцьскыи. съ всимъ Поросьемъ Андрѣевичю. Берестии. Ꙗрославу Володимиръ. Василко. же възма. мысль ихъ. посла ко Мьстиславу. Володимирю. ꙗвлѧꙗ ему вси *рѣчи* ихъ Мьстиславъ же посла къ свои(м) ротникомъ. къ Ꙗрославу оу Галичь. и къ лѧхомъ и къ Всеволодковичама ꙗвлѧꙗ имъ твердъ братьѣ. (II, 533). На наш взгляд, значение приведенных выше примеров достаточно прозрачно. Целуя крест, князья скрепили письменное соглашение (крестоцеловальную грамоту) о разделе волостей. Сняв с нее копию (възма, мысль ихъ), Василько отослал ее Мстиславу. В свою очередь из этой копии Мстислав приказал сделать три для своих союзников, чтобы они могли убедиться в подлинности договора (тверди) братьи.

Понимание оборота *являти речи* как «показать письменный текст» вытекает также из следующего отрывка послания Рюрика Ростиславича Роману Мстиславичу: ꙗзъ переже всихъ далъ есмь тобѣ волость сю. но же Всеволодъ наслал на мѧ жалоуꙗсѧ про тебе. ажь есми на немъ. ч(с)ти не положили преже ꙗ же есми тобѣ ꙗвлѧлъ вси *рѣчи* его. (II, 685). Не противоречат такому пониманию и «Материалы» И. И. Срезневского, в которых одно из значений глагола *явити* истолковано как «предъявить». Приведены следующие примеры: А сю *грамоту* писалъ есмь собѣ *душевную* и *явилъ есмь* отцю своему Олексѣю митрополиту. Дух. гр. Дм. Ив., д. 1378 г.; А кто будетъ мои волостель, или доводщиця, или таможници, инѣ имъ *грамоту явятъ*. Жал. гр. Тол. мон. ок. 1400 г. [20, III, с. 1633].

Важным доказательством в пользу возможности понимать слово *речи* не только как устное, но и как письменное сообщение считаем рассказ Киевской летописи об отъезде из Киева венгров, посланных к Изяславу Мстиславичу его союзником и родственником королем Гейзой II. Провожая венгерских рыцарей, Изяслав и Вячеслав просят передать сердечную благодарность королю и сообщить, что за ними прибудет их сын и племянник Мстислав «с рѣчьми». (II, 420). Далее приводится текст «речей», очень длинный, наполненный словами благодарности и надежды на новую помощь. О событиях, участниками которых стали посланные королем войска, в тексте послания не говорится совсем, но заканчивается оно так: а все ти *скажють* твои мужи. и братъ твои Мьстиславъ како ни бъ помоглъ. и пакы како сѧ по на(с) ꙗла Рускаꙗ землѧ всѧ и черниии клобуци. (II, 421). Очевидно, нужно понимать, то после вручения п и с ь-

менного послания о деталях похода должны были рассказать королю его рыцари и Мстислав устно.

Следует отметить, что существительное *рѣчи* употребляется далеко не всегда, когда говорится о дипломатических сношениях князей. Нередко встречается в таких случаях только глагол, который указывает на сам факт переговоров, но как они осуществляются, остается неизвестным. Например: и не въсхотѣша ко Всеволодоу того створити. но съсылахоутьсѧ сами межи собою хотѧче на нь поити Киевоу (II, 304); и тако сѧ начаша ладити. Вѧчеславъ же и Гюрги. Изѧславъ *слюче межи собою*. (II, 388); А Изѧславъ же *нача слати*. к Вѧчеславу. Вышегороду. А Вѧчеславъ къ Изѧславу начаста ладитисѧ. (II, 398); И приде Изѧславъ ис Киева с полки своими. и Мьстиславъ Изяслави(ч) с нимъ и Стославъ Володимиричь. и сташа противу собѣ ѡб рѣку. и *начаша слати* межю собою и тако оумиришесѧ. и хр(с)тъ целоваша. межи собою (II, 490). Гораздо чаще, однако, летописец отмечает, что один из князей отправил к другому своего посла, а текст послания вводится формами глаголов *рѣчи* и *глаголати*. Например: *посла* ѡпѧть [Изяслав Мстиславич] *посолъ* свои къ Стославу *река* ему ... (II, 376). Если опускается и упоминание о после, то оборот приобретает вид: *посла ... река* (*глаголя*), *посла и рече* и т. п. Например: и *посла* Стополкъ и Володимеръ къ Ѡлгови *глще* сице. се ты не шелъ ѥси с нама на поганыѩ. иже погубили сутъ землю Русьскую. (I, 228); кнѧзь же Всеволодъ блгосердъ сы. не хотѧ крове пролыти. *посла* къ Мстиславу *гл*ѧ. брате... (I, 380); и *посласѧ* Изѧславъ к Ростиславоу братоу своемоу и *ре(ч)* емоу (II, 362); Володимиръ же Двдвичь *посла* къ Изѧславоу *река* емоу се Гюрги стрьи твои идеть на тѧ. (II, 374).

При отсутствии же глагола *слати* создается впечатление, что князья просто разговаривают друг с другом: Изѧславъ же съ ѩростью ѡ(*т*)*вѣща* ему [т. е. Святославу Ольговичу через посла.— *Ф. В.*].вѣдомо ти буди брате всѧко не ворочюсѧ. оуже есмъ пошелъ (II, 499). Аналогично в «Слове о полку Игореве»: Игорь ждетъ мила брата Всеволода. И *рече* ему Буи Туръ Всеволодъ: «Один братъ, один свѣтъ свѣтлыи — ты, Игорю! оба есвѣ Святьславличя: сѣдлаи, брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, осѣдлани у Курьска на переди... [28].

Казалось бы, основания говорить об устной природе исследуемых текстов есть. Обратимся, однако, к другим древнерусским произведениям и посмотрим, каким образом вводились в них цитаты из источников и целые документы. Рассматривая лексико-семантическую группу глаголов dicendi, Н. Г. Михайловская пишет: «Основная функция большинства данных глаголов заключалась в том, что через их посредство вводилась в текст прямая речь и церковно-книжные отсылки-цитаты. Тесную смысловую близость обнаруживают самые частотные члены группы *речи* и *глаголати* в значении „говорить", „сказать". Такое использование *речи* отражено во всех памятниках, независимо от их жанрово-стилистических особенностей» [29].

Особенный интерес для наших целей представляет способ включения в летописи древнейших документов. Считается доказанным, например, что договоры Руси с греками попали в состав «Повести временных лет» лишь в начале XII в. Следует ожидать поэтому, что они введены в окружающий текст при помощи обычной для этого времени формулы *посла... река* (*глаголя*), что и оправдывается: В лѣто.≠ s.y.k. Посла Ѡлегъ мужи свои построити мира. и положити рады межи Грѣкы и Русью. и *посла гл*ѧ равно [7] другаго свѣщаниѩ. бывшаго пр(и) тѣхъ же ц(с)рихъ. Лва. и Александра. мы ѡ(т) рода Рускаго. Карлы Инегелдъ. Фарлофъ. Веремудъ... иже п(о)слани ѡ(т) Ѡлга великаго к(ъ)нзѧ Рускаго... (II, 23). Важно отметить автоматизм выработанных летописцем приемов. Он даже не обратил внимания на то, что приписывает Олегу бессмысленную фразу, которой начинался документ: *копия дружеского совещания, происходившего при ...*

---

[7] Здесь *равно* в значении «список, копия» [20, III, с. 10].

Представляет интерес и то, что в свое письмо Владимир Мономах еще в конце XI в. ввел цитату из послания сына Мстислава при помощи той же формулы, которой пользовались летописцы: *прислалъ* [Мстислав] ко мнѣ мужьство [8] и *грамоту. река* ладимъсѧ и смѣри(м)сѧ. а братцю моему судъ пришелъ. а вѣ ему не будевѣ местника. но възложивѣ на ба. а станутъ си пре(д) бмь. а Русьскы земли не погуби (I, 252). Из письма Мономаха, таким образом, определенно вырисовывается письменная форма переговоров, которые происходили во время усобицы Олега Святославича.

В изложении же летописца форма переговоров этого же времени представлена нечетко. Здесь и можно видеть особенность летописного стиля. Проявляется это в том, что слово *грамота* и глагол *писати* не упоминаются, в результате чего весь контекст приобретает характерную форму устного сообщения, например, об обращении Олега Святославича к сыну Мономаха Изяславу говорится так: *посла* Ѡлегъ *слы* своѣ къ Изѧславу глѧ. (I, 236). Приведенный же далее от первого лица текст несомненно является княжеским посланием: иди в волость ѡца своюго Ростову. а то є(с) волость ѡца моюго. да хочю ту сѣдѧ порѧдъ створити со ѡцмь твои(м). се бо мѧ выгналъ из города ѡца моюго. а ты ли ми здѣ хлѣба моюго же не хощеши дати (I, 236—237). В сходной манере сообщается в «Повести временных лет» о том, что Мстислав Владимирович трижды обращался к Олегу, приводятся отрывки его посланий. В первый раз отрывок включается при помощи формулы *посла ... солъ ... глѧ* (I, 237). Два других — формулой в сокращенном виде: *посылаше... глѧ* (I, 238); *посла... глѧ* (I, 240).

Сходство с манерой цитирования Мономахом письменных текстов можно обнаружить у одного из авторов Киевской летописи — Поликарпа. Например, под 1165 годом содержится следующая запись: и *списавъ* [єпископ] *грамоту*. и посла къ Всеволодичю *река тако*. стрыи ти оумерлъ а по Ѡлга ти. послали. а дружина ти по городомъ далече а кнѧгини сѣдить. въ изумѣньи с дѣтьми а товара множество оу нею. а поѣди вборзѣ. Ѡлегъ ти ѣще не въѣхалъ. а по своеи воли възмеши радъ с нимъ. Стославъ же *прочте грамоту* вборзь. и посла снъ свои... (IIв 523). Указано не только то, что г р а м о т у п и с а л сам епископ, но и подчеркивается, что князь п р о ч и т а л ее лично. Однако содержание грамоты раскрывается все же традиционно при помощи формулы *река тако*. Эту же манеру встречаем в летописях XIII в.: И *присла* митрополит *грамоту* в Новъгород, *рекъ тако*: «мнѣ поручилъ богъ архиепископью в Рускои земли, вамъ слушати бога и мене; крови не проливаите, а Ярославъ всеи злобѣ лишаеться, а язъ за то поручаюся; аще будет крестъ цѣловали, и язъ за то приму опитимъю и за то отвѣтъ дамъ пред богомъ» (НIЛ, 321).

Аналогичную конструкцию можно видеть, как нам кажется, в тех случаях, когда в качестве синонима слова *грамота* выступает существительное *жалоба* [9]: Изѧславъ же *посла* моужи своѩ къ Вѧчеславоу. и къ Гюргеви *с жалобою. река тако* се брате. на томъ есмы хр(с)тъ целовали. комоу свое познаваючи имати. ннѣ же брате. ѡже хощеши хр(с)тоу оуправити. то даи ны бъ пожити. не хочеши ли оуправити а то оузримъ (II, 394); Стослав же *поча слати* кь Ꙗрославу. *сь жалобою. река* ему на чемь еси. цѣловалъ кр(с)тъ. а помѧни первыи рѧдъ. реклъ бо еси ѡже ꙗ сѧду вь Киеву то ꙗ тебе надѣлю пакы ли ты сѧдеши вь Кыевѣ то ты ме надѣли. нынѣ же ты сѣлъ еси. право ли криво ли надѣли же мене (II, 578).

Следует также учесть, что во второй половине XII в. русичи не только писали и читали грамоты, но и умели их подделывать. Так, под 1172 г. Поликарп рассказывает, как, желая обмануть Мстислава Изяславича, галичане съписавъше *грамоту ложьную*. и послаша къ нему (II, 549).

Приведенные факты не дают окончательного ответа на поставленные вопросы, однако позволяют внимательно отнестись к словам Б. А. Рыбакова, который завершает исследование о возможности использования

---

[8] Описка вместо: мужь свои.

[9] Как название документа термин *жалоба* известен с XV в. [30].

летописцами княжеского архива следующими словами: «При последующем изучении языка русской летописи XII в. лингвисты должны учитывать ту пеструю мозаику, которую образуют вкрапленные в нее десятки грамот из разных концов Руси» (16, с. 318).

Рассмотрим некоторые особенности словарного состава посланий, включенных в Киевскую летопись, под определенным углом зрения, так как для целей нашей работы важнее всего установить, совпадают ли они с особенностями языка летописца, включившего их в свой текст. Облегчает задачу исследования то, что язык, преимущественно лексика и фразеология, авторов этой летописи исследован нами в ряде статей [31—33].

На лексическом уровне особый интерес представляет существительное *область* [10], употребленное в послании Всеволода Юрьевича Суздальского Рюрику Ростиславичу под 1195: Того же лѣта присла Всеволодъ. кнзь Соуждальскы. послы своꙗ ко сватоу своемоу Рюрикови река емоу тако. Вы есте нарекли мѧ во своемь племени. во Володимерѣ старѣишаго. а нынѣ сѣдѣлъ (Хлебн., Погод. сѣл) еси в Кыевѣ. а мнѣ еси части не оучинилъ в Роускои землѣ. но раздалѣ еси инѣмъ. моложьшимъ братьи своеи. даже мнѣ в неи части нѣтъ. да то ты а то Киевъ и *Роускаꙗ ѡбласть* а комоу еси в неи часть далъ. с тем же еи и блюди и стережи. да како ю с нимъ оудержишь. а то оузрю же. а мнъ не надобѣ. (II, 683). В Киевской летописи термин *область* встречается только два раза. Второй пример, без сомнения, принадлежит редактору всего труда игумену Моисею и является вставкой в текст Петра Бориславича: Тое же зимы по Федоровѣ недѣлѣ. во вторникъ въ ѳ҃. ча(с). потрѧсесѧ землѧ по всеи *ѡбласти Киевьскои* и по Кыевоу цр҃ькви каменыꙗ и деревѧныꙗ. колѣбахоусѧ. (II, 690). Это наблюдение согласуется и с данными Н. Я. Черных, который замечает, что в древнерусский период слово *область* употреблялось преимущественно со значением «церковно-административная зона, епископство» [35].

Во всех других случаях в Киевской летописи постоянно встречается термин *волость*. Показательно, что летописец, процитировавший послание Всеволода, продолжая эту тему, употребляет далее привычное для него слово *волость*: се же слышавъ Рюрикъ ѡ(т) пословъ ѡ(т) Всеволожихъ. ѡже жалоують. на ны про волость. аже далъ бѧшеть *волость* лѣпшюю зѧти своемоу Романови Мьстиславличю. Рюрикъ же поча доумати с моужи своими како бы емоу дати *волость*. Всеволодоу которыѥ же волости оу не(г) просилъ. Всеволодъ бо просѧше оу него. Торцького Трепола Корьсоунѧ. Богоуславлѧ. Канева (II, 683).

Слова и обороты, не свойственные киевским летописцам, встречаются и в посланиях других князей. Например, существительное *копие* в смысле «боевая единица» единственный раз употреблено в послании Ярослава Владимировича Галицкого. Словари древнерусского языка не выделяют такого значения этого слова, а между тем оно вырисовывается достаточно определенно: аче бъ ѡ(т)ца мое(г) понѧлъ а мене бъ на его мѣстѣ ѡставилъ. а полкъ е(г) и дружина е(г) оу мене суть. развѣ ѡдино *копие*. поставлено оу гроба его. а и то в руку моею есть (II, 464). Глагол *дозрѣти* в значении «дождаться», хотя и известен, но в Киевской летописи отмечен только в посланиях Изяслава Мстиславича: ны же брате сего ли *дозрѣвъ* то поминаеши. ѡже стрыи мои на мѧ ратью идеть (II, 376); ꙗ есмь позывалъ тебе Киевоу. сѣдѣть а ты еси не восхотѣлъ. а ныне ци сего еси *дозрѣлъ*. ѡже бра(т) твои выѣхалъ. а ты сѧ садиши в Киевѣ (II, 396—397).

Не употребляют летописцы XII в. и глагола *дѣети* в значении «говорить», ставшего, по-видимому, к этому времени архаизмом. Однако в посланиях старшего поколения князей — сыновей Владимира Мономаха и Олега Святославича — это значение еще наблюдается: аже *дѣеши* ты мои еси ѡц҃ъ а ты мои и сн҃ъ (II; 418); аже *дѣеши* хотѧть на мѧ поѣхати. а иже поѣдуть на тѧ с хвалою. а бъ будеть с тобою (II, 499). В послании Рюрика Ростиславича отмечен глагол *творити* в значении «сообщать»:

---

[10] Ф. П. Филин относил это слово к церковнославянизмам [34].

Всеволодъ сватъ мои всѣлъ на конѧ како ми сѧ былъ ѡбѣчалъ помочи на ѡлговичѧ. и стати оу Чернигова. а *творѧть* [11]. ми како же сѧ оуже совокоупилъ с братомъ моимъ Двдомъ. и волость ихъ жьжета (II, 697).

Значение оборота *мы ся в то не дамы* выясняется только из контекста приведенного выше послания Рюрика Ростиславича Святославу Всеволодовичу под 1190 г.: пакы ли помина(е)шь давныꙗ тѧжа. которыи былѣ при Ростиславѣ. то стоупилъ еси рѧдоу *мы сѧ в то не дамы* (II, 670). В «Материалах» И. И. Срезневского при глаголе *въдатися* со значением «отдаться; сдаться» этого примера нет, но приведен сходный с ним из Новгородской первой летописи: А в то сѧ не вдадимь [20, I, с. 331]. В «Словаре русского языка XI—XVII вв.» у глагола *вдатися* выделены пять значений, а пример из Новгородской первой летописи толкуется как «согласиться, пойти на что-либо». Кроме того, добавлен пример из Никоновской летописи под 1342 г.: Царь же проси у митрополита полѣтных даней: митрополитъ же *не вдадеся ему в таковая* [36].

Любопытна глагольная форма *сѧ потъкло* в послании Рюрика Ростиславича: нынѣ же брате и моемоу снови и твоемоу. Мьстиславоу *тако сѧ потъкло*. ажь вѧзить оу Волговичь (II, 695). И. И. Срезневский производит ее от глагола *потъкнутися* в значении «приключиться», а оборот *тако сѧ потъкло* толкует как «до того дошло» [20, II, с. 1302]. Следует отметить, что этот оборот казался недостаточно современным уже переписчику Хлебниковского списка, который заменил его на *тако сѧ слоучило*: ннѣ же брате моему снѡви и твоемоу Мьстиславоу *тако сѧ слоучило*, аже вѧзи(т) оу Олговича (л. 295) [12].

В приведенном выше фрагменте послания Рюрика Ростиславича привлекает внимание и единственное в своем роде написание существительного *Олговичи* как *Волговичи*. Сходное написание имени *Ольга* как *Вольга* и *Волга* наблюдается в «Повести временных лет» (I, 55, 56). Ср. также имя *Вольга́* в былинах об Олеге Святославиче. Не менее редкой является и форма *Мистислава* (род. п. ед. ч. от имени *Мьстиславъ*), которая встречается всего один раз в послании Изяслава Мстиславича: а чо ми бъ ѡ(т)ца моего *Мистислава* ѡ(т)ꙗлъ (II, 417). Возможно, здесь, отразились индивидуальные особенности произношения князя Изяслава Мстиславича или его писца. Сходное написание уменьшительной формы этого имени *Мъстиша* также встречается в «Повести временных лет» под 945 г.: воєвода бѣ Свѣнелдъ. тоже ѡцъ *Мистишинъ* (I, 55).

Только в посланиях отмечено существительное *ворожда*. Эта редкая полногласная форма встречается в Киевской летописи всего четыре раза, и все четыре случая ее употребления связаны между собой, так как речь идет об одном и том же событии: ны(н) же бра(т) хр(с)тьꙗнъ дѣлѧ и всеѥ Роускои земли оумирисѧ. но ѡба. ать *ворождоу*. про Игорѧ ѡ(*т*)*ложать*. (II, 365); ны(н) же цѣлоуите на томъ хр(с)тъ ѡже вы про Игорѧ *ворожды не имѣти* (II, 366); тако на томъ цѣловаша хр(с)тъ оу стомъ Спсѣ *ворождоу* про Игорѧ ѡ(*т*)*ложити* (II, 366); брате хр(с)тъ еси ч(с)тьныи цѣловалъ ко мнѣ. ако со мною быти. а *ворожду* если про Игорѧ ѡ(*т*)*ложилъ*. и товары его (II, 376). Из других древнерусских памятников известна лишь форма *вражда*, что дало А. М. Селищеву повод причислить это слово по его происхождению к южнославянским [37]. Любопытно значение термина *вражда*, который отмечен в Русской правде в составе словосочетания *увидить вражду*. По мнению Б. А. Ларина, это словосочетание как юридический термин обозначает штраф за какое-то преступление, а существительное *вражда* в его составе имеет значение «повинность, наказание за преступление» [38].

Доказательством того, что в летопись включались тексты письменных документов, могут служить и послания иноземных правителей, на что

---

[11] В «Материалах» И. И. Срезневского, кроме этого, зафиксированы семь случаев употребления глагола *творити* в близком значении «указывать, говорить что про кого-либо» [20, III, с. 936]. Все — в Новгородской первой летописи.

[12] Хранится в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, IV, 230.

обратил внимание Б. А. Рыбаков [16, с. 318]. Приведем текст одного из таких посланий, отличающийся оригинальным употреблением лексических и фразеологических средств, а также своеобразный по синтаксису: вы намъ есте въ ѡ(т)ца мѣсто, а се нн҃ѣ заратиласѧ есте свои(м) бра(т)мъ. и сн҃мъ Изѧславомъ. а мы есмы по бозѣ все кр(с)тыане ѡдна бра(т)ꙗ обѣ. а намъ подобаеть всимъ быти съ себе. а мы межи вами того хочемъ. а бы бѣ далъ. вы быста оуладиласѧ. съ своимъ бра(т)мъ и сн҃мъ Изѧславомъ а быста вы сѣдѣла в Киевѣ. сама сѧ вѣдаюча кому вама приходить. а Изѧславу ѡсе его Володимиръ готовъ. а се его Лоученскъ а што его городовъ ать сѣдить в томъ. ать ѡнамо к Новугороду Великому. ать взворотить Гюрги дани и(х). вси (II, 387—388).

Можно было бы привести еще ряд примеров, характеризующих как индивидуальную манеру авторов посланий, включенных в летописи, так и свидетельствующих о традиционных, сложившихся на протяжении веков способах их оформления. Однако представляется, что и проанализированный выше материал позволяет сделать следующие выводы.

1) В составе древнерусских летописей, в частности в Киевской, сохранились тексты особого рода, не совпадающие с известными науке письменными источниками ни по содержанию, ни по форме.

2) По содержанию, отражающему дипломатические отношения между отдельными княжествами, они могут быть выделены в особый тип документов — княжеские послания.

3) Структура посланий, включенных в летописи, отличается от структуры письменных документов, известных до сих пор. Однако в структурной организации каждой отдельной части этих посланий можно выявить особенности, сближающие их как с грамотами, написанными на пергамене, так и с новгородскими берестяными грамотами (формулы зачина, заключительные формулы и т. д.).

4) Черты индивидуального стиля отправителей посланий наиболее четко выражены при изложении содержания вопроса, ради которого они составлялись. Таким образом, есть основания говорить о письменном характере данных текстов. Но более точно определить их природу позволит только тщательное изучение формы — приемов построения и свойственного им набора устойчивых словосочетаний.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Сергеев Ф. П.* Формирование русского дипломатического языка. X—XVII вв. Львов, 1978.
2. *Сергеев Ф. П.* Русская дипломатическая терминология XI—XVII вв. Кишинев, 1971.
3. *Сергеев Ф. П.* Русская терминология международного права XI—XVII вв. Кишинев, 1972.
4. *Селиванов Г. А.* Фразеология новгородских договорных грамот XIII—XIV веков: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Саратов, 1953.
5. *Костючук Л. Я.* Устойчивые словосочетания в древнерусском деловом языке. По грамотам XI—XIV вв. (Структурно-грамматическая характеристика): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1964.
6. *Лихачев Д. С.* Русский посольский обычай XI—XIII вв.— Исторические записки, 1946, № 18.
7. *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.— Л., 1947, с. 100—144.
8. *Еремин И. П.* Киевская летопись как памятник литературы.— ТОДРЛ, 1949, т. VII, с. 75.
9. *Душечкина Е. В.* Художественная функция чужой речи в русском летописании.— Уч. зап. Тартуск. ун-та, 1973, вып. 306. Труды по русской и славянской филологии, т. 21, с. 68—69.
10. *Молотков А. И.* К истории синтаксических конструкций для передачи чужой речи в русском языке.— Уч. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова, 1958, № 235. Сер. филол. наук, вып. 38. Исследования по грамматике русского языка, I, с. 40.
11. *Кожин А. Н.* Литературный язык Киевской Руси. М., 1981, с. 48.
12. *Селиванов Г. А.* Из наблюдений над прямой и косвенной речью в древнерусском языке.— Уч. зап. Абаканского гос. пед. ин-та, 1960, вып. V, с. 68—77.
13. История русской литературы. Т. I. М.— Л., 1940, с. 295—296.
14. *Пашуто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, с. 40—41 и др.
15. *Рыбаков Б. А.* Древности Чернигова. Приложение № 1.— Материалы и исследования по археологии древнерусских городов, 1949, № 11, с. 95, примеч.

16. *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963.
17. *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М.,1972.
18. *Юрасовский А. В.* Грамоты XI — середины XIV века в составе русских летописей.— История СССР, 1982, № 4.
19. Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1962.
20. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I—III. СПб., 1893—1912.
21. Древнерусские летописи. Перевод и комментарии В. Панова. М.— Л., 1936, с. 351.
22. *Свердлов М. Б.* Древнерусский акт X—XIV вв.— Вспомогательные исторические дисциплины. Т. VIII. Л., 1976.
23. *Франчук В. Ю.* Киевская летопись как памятник языка.— ВЯ, 1982, № 4.
24. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.— Л., 1950.
25. Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 1962.
26. *Обнорский С. П., Бархударов С. Г.* Хрестоматия по истории русского языка. Ч. I. М., 1952, с. 52—53.
27. *Тимофеев К. А.* Инфинитивные конструкции с союзом *яко* в древнерусском языке.— Уч. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова, 1958, № 235. Сер. филол. наук, вып. 38. Исследования по грамматике русского языка, I, с. 4.
28. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Сост. Виноградова В. Л. Вып. I (А—Г). М.— Л., 1965, с. 16.
29. *Михайловская Н. Г.* Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI—XIV вв. Нормативный аспект. М., 1980, с. 181.
30. Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. Т. 1. Київ, 1977, с. 353.
31. *Франчук В. Ю.* Мог ли Петр Бориславич создать «Слово о полку Игореве?» (Наблюдения над языком «Слова» и Ипатьевской летописи).— ТОДРЛ, 1976, т. XXXI.
32. *Франчук В. Ю.* Книжна лексика в Київському літописі.— Мовознавство, 1980, № 6.
33. *Франчук В. Ю.* Образна мова Київського літопису.— Мовознавство, 1982, № 3.
34. *Филин Ф. П.* Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (По материалам летописей). Л., 1949, с. 80.
35. *Черных П. Я.* Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956, с. 102.
36. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 2 (В — волога). М., 1975, с. 36.
37. *Селищев А. М.* Избранные труды. М., 1968, с. 131.
38. *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975, с. 89.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

ШЕВЯКОВА В. Е.

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНТОНАЦИОННЫХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Проблема принципа экономии в языке давно интересует языковедов. Однако многое в этом вопросе еще остается неясным, разными лингвистами он трактуется по-разному. Например, А. Мартине рассматривает принцип экономии только с точки зрения тенденции к осуществлению минимума физического и умственного усилия в процессе речевой деятельности [1]. Под принцип экономии физических усилий можно также подвести, в частности, такие механизмы, как ослабление придыхания на английских глухих смычно-взрывных согласных в положении после глухих щелевых, произнесение которых требует значительных артикуляционных усилий; уподобление смежных согласных по способу и/или месту образования, по работе голосовых связок.

Другая трактовка принципа экономии предусматривает устранение избыточности выражения тех или иных грамматических значений, снятие так называемого «Übercharakterisierung» (например, замена сложной видо-временной формы Past Perfect на простую форму Past Indefinite при наличии лексического показателя категории предшествования; неэкспликация в латинском и испанском языках личного местоимения-подлежащего при спрягаемом глаголе, имеющем личные окончания).

Одним из проявлений принципа экономии в языке является взаимодействие и взаимная компенсация фразовой интонации, с одной стороны, и лексических и грамматических показателей, — с другой. Речь идет о диапазоне действия так называемого «принципа замены», сформулированного А. М. Пешковским: «Чем яснее выражено какое-либо синтаксическое значение чисто грамматическими средствами, тем слабее может быть его интонационное выражение (вплоть до полного исчезновения), и, наоборот, чем сильнее интонационное выражение, тем слабее может быть грамматическое (тоже вплоть до полного исчезновения)» [2]. Этот принцип, сформулированный более чем полвека тому назад, когда лингвистика еще не располагала данными объективного электроакустического интонографического анализа речевой интонации, до сих пор принимается лингвистами за аксиому. Отдавая должное выдающемуся советскому языковеду, следует отметить, что А. М. Пешковский один из первых включил интонацию в число синтаксических средств и с известной степенью конкретности «описал ее звуковые обнаружения. И в этом большая заслуга Пешковского перед наукой» [3]. Однако замеченная им закономерность в отношении взаимной компенсации интонации и других средств выражения грамматического значения не имеет, как оказалось, универсального приложения, поскольку А. М. Пешковский полагался только на собственное слуховое восприятие мелодических интервалов фразовой интонации.

Изучение данного вопроса, в частности исследование фразовой интонации с помощью электроакустического метода исследования [4], показало, что так называемое взаимодействие интонационных лексико-грамматических средств — процесс односторонний. Интонация способна заменить грамматическое выражение ремы, выражение коммуникативного типа предложения, бессоюзие в сложных предложениях (сложносочиненных и сложноподчиненных), но, с другой стороны, грамматическое выражение не может заменить интонационное, которое в предложении всегда присутствует. К тому же вопрос о компенсации можно понимать по-разному.

Компенсация может означать только чистую замену одного из средств другим во избежание Übercharakterisierung — чистый принцип экономии; или под компенсацией может пониматься не просто одна лишь замена, а более чем обычно выраженное интонационно-грамматическое оформление предложения. В отношении интонации это может означать увеличение диапазона нисходящего или восходящего мелодического завершения, бóльшую интенсивность произнесения, чем при комплексном выражении того или иного значения, причем осуществляется это как собственно грамматическими, так и интонационными средствами. Итак, интонация может заменить грамматический способ ремовыражения. Ср.: *В Ленинград уехал П е т р* (и позиционное, и интонационное ремовыражение подлежащего *Петр*) и *П е т р уехал в Ленинград* (только интонационное ремовыражение — экономия). Вместо *Хочу задать вам в о п р о с* (рема — дополнение *вопрос* — выражается и позиционно, и интонационно) можно сказать: *В о п р о с хочу вам задать* с интонационным ремовыделителем. Аналогично, вместо *Я не доверяю н и к о м у* можно сказать: *Я н и к о м у не доверяю.* Ср.: «(Значит мне не доверяют? Тогда какого черта!) — Я *н и к о м у* не доверяю, я *б а т ь к е* не доверяю» (А. Толстой, Хождение по мукам). В английском: «(*We were taken into a l a r g e t e n t*). *T h r e e m e n were inside*» (J. Aldridge, The sea eagle).

Таким образом, при конечной реме имеет место и позиционное, и интонационное ремовыражение (нисходящий терминальный тон, выделяющий рему и создающий впечатление главноударности, необходим и на реме, находящейся в конечной, ремосигнализирующей позиции). При начальной реме осуществляется только интонационное ремовыражение. При этом, если нет эмфазы (как, например, в предложениях: *Вопрос хочу вам задать*, где начальное положение ремы *вопрос* объясняется не эмфазой, а контекстуальной избыточностью и самоочевидностью отодвигаемой в конец темы *хочу вам задать*), то никакой особой компенсации отсутствия позиционного показателя ремы с точки зрения увеличения диапазона нисходящего тона и повышения интенсивности произнесения здесь не происходит. Указанные просодические параметры на начальной реме здесь не отличаются от соответствующих параметров на реме конечной.

При наличии же эмфазы (противопоставление, повторное эмфатическое употребление) диапазон в начале фразы будет увеличиваться так же, как и при эмфазе и противопоставлении в конечной, ремосигнализирующей позиции, например: *Я не о том говорю, я только хочу задать вам* ***вопрос.***

Интонация и одна может указать на коммуникативный тип предложения, независимо от собственно грамматической его формы. Так, предложение с прямым порядком слов будет выражать утверждение или вопрос именно благодаря интонации. С нисходящим конечным завершением — утверждение, с восходящим — вопрос: *Он живет в Москве. — Он живет в Москве*?; *He has heard the news.— He has heard the news*? То же в отношении предложения с инверсией в английском языке: с восходящим тоном выражается вопрос «(*Are vou ˏright*?), с нисходящим [(*If you are right, I agree*), *but ˎ a r e you right*» (J. Galsworthy, The man of property)] — утверждение, выражающее сомнение, идентичное по смыслу отрицательному утверждению *I doubt your being right*. Только в зависимости от интонации слова *Какой герой* прозвучат либо как вопрос (*К а к о й герой*?), либо как восклицание (*Какой г е р о й* !).

Таким образом, что касается первой части формулировки А. М. Пешковского, то она не имеет релевантного значения, ибо грамматические показатели заменить интонацию не могут. Каким бы грамматическим или же лексическим показателем ни выделялась рема, она всегда будет иметь также и интонационное выражение, т. е. выделяться главным ударением (оно также называется логическим, рематическим, тоническим, предицирующим, ядерным, предикатным ударением, ударением новизны). Ср. приведенные выше примеры с конечной ремой; ср. также выделение ремы специальными синтаксическими конструкциями: оборотом с вводящим *there* (англ.), *es gibt* (нем.), *il y a* (франц.): инверсией с опущенным *there*

типа *Behind stood M a r t i n*; оборотом *it is... that* [5], агентивным дополнением при пассиве: *Radio was invented b y P o p o f f*.

Наличие вопросительной частицы *ли* в русском неместоименном вопросительном предложении не снимает с интонации вышеуказанных функций, как полагал А. М. Пешковский [6]. При одинаковой ситуации предложения *Х о т е л ли ты этого*? и *Х о т е л ты этого*? имеют одинаковую интонему вопросительности и одинаковую рему.

На протяжении многих лет в отношении английского неместоименного вопросительного предложения с прямым порядком слов (*You are Mr. Pyle*?) из-за некритического подхода к принципу замены априорно делался вывод (на первый взгляд кажущийся логичным), что отсутствие позиционного показателя вопросительного значения (глагольной инверсии) компенсируется в нем показателем интонационным — более выраженными мелодическими интервалами вопросительности, бóльшим диапазоном повышения терминального восходящего тона, выражающего вопрос [7]. Это естественно приводило к неоправданному выводу о смысловой синонимичности и функционально-семантической идентичности неместоименного вопросительного предложения с прямым порядком слов и неместоименного вопросительного предложения с инверсией [в одном случае инверсия и вопросительная интонация (*Are you Mr. Pyle*?), в другом — прямой порядок слов, свойственный повествовательному предложению, и более выраженная вопросительная интонация].

При всей на первый взгляд кажущейся логичности такого взаимодействия интонационных и позиционных средств выражения вопросительного значения объективный электроакустический анализ интонации не подтвердил этого положения. Выяснилось, что неместоименные вопросительные предложения с прямым порядком слов не имеют более выраженной интонемы вопросительности даже в языке аналитического строя, каким является английский язык. Важность этого положения подтверждается тем фактом, что новые данные позволили определить и коммуникативную задачу предложения с прямым порядком слов. Отсутствие глагольной инверсии в неместоименных вопросительных предложениях с прямым порядком слов при интонации, идентичной интонации предложений с инверсией, свидетельствует о некотором уменьшении в них вопросительного значения. Такие предложения скорее выражают некоторое предположение относительно возможности получения подтверждающего ответа. Но поскольку основной показатель коммуникативного типа предложения — интонация — сохраняет черты вопросительности, такое высказывание представляет собой не утверждение, а предположительный вопрос. Интонационная компенсация отсутствия инверсии здесь не нужна, поскольку именно отсутствие компенсации является значимым. К тому же, чтобы предложение, даже с прямым порядком слов, было понято как вопросительное, вполне достаточно тех мелодических интервалов, которые свойственны интонации вопросительного предложения с инверсией.

То же относится к вопросительному предложению с прямым порядком слов в функции переспроса и вопросительного восклицания, выражающего удивление, недоверие, порицание. Но в этих случаях обычно бывает эмфаза и поэтому диапазон мелодических интервалов может увеличиваться. Ср.: «— *Your brother is in the dining-room.* — ***My brother is in the dining-room!? What nonsense! I haven't got a brother***» (O. Wilde, The importance of being earnest).

Недостаточно обоснованными представляются также широко распространенные в русистике и англистике положения об интонационной компенсации отсутствия союза в бессоюзных сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Ср.: *Если приедешь, узнаешь* и *Приедешь — узнаешь*. А. М. Пешковский полагал, что во втором случае отсутствие союза требует более выраженной интонации условия, а в первом случае такая интонация не нужна. В действительности же усеченное придаточное условия во втором примере полностью сохраняет свое значение и, соответственно, адекватно воспринимается слушающим. То же самое справедливо и при бессоюзном сочинении. Ср.: *Солнце скрылось и начался дождь* и *Солнце*

скрылось, начался дождь. При одинаковых ситуационных обстоятельствах интонация не только заключительной, но и первой части обоих предложений идентична (за исключением разного количества слогов). В обоих случаях, т. е. в союзном и бессоюзном предложении, могут быть реализованы три интонационных варианта, в зависимости от смысловой весомости обеих частей в отношении друг друга внутри каждого из двух предложений. Так, при равновесомости первая часть *Солнце скрылось* в обоих случаях произносится с нисходящим завершением умеренного диапазона. При меньшей весомости первой части в обоих случаях она произносится с завершающим восходящим тоном. При большей весомости первой части акустические параметры и воспринимаемые на слух качества как при бессоюзном, так и союзном сочинении идентичны: нисходящий тон расширенного диапазона [8]. Конец предложения во всех случаях произносится здесь с нисходящим тоном.

Аналогичным образом при наличии в приведенных выше сложносочиненных предложениях оттенка причинно-следственных значений интонация и союзного и бессоюзного построения одинакова по всем параметрам: по мелодическому завершению обеих частей, по интонационным способам осуществления межсинтагменного стыка, интервалам, диапазонам, паузации [8, с. 5—6].

Имеется также экспериментальное подтверждение аналогичности интонационного оформления обособленных атрибутивных конструкций, как отделенных запятой от остального состава предложения, так и не отделенных (т. е. отсутствие взаимной компенсации интонационного и пунктуационного способа выражения обособления) [9].

Преувеличение действия «принципа замены» Пешковского и некритический к нему подход настолько довлеют над исследователями, что подчас приводят их к неправильному толкованию ими же полученных объективных данных с помощью интонографического метода и, следовательно,— к ошибочным трактовкам фактов языка. Так, например, в исследовании по интонационной структуре сложных бессоюзных пояснительных предложений [10], с одной стороны, отмечается, что при подстановке союза в бессоюзные предложения с пояснениями в точке синтагматического раздела имеется перелом в движении частоты основного тона (перелом в движении мелодии, что, как известно, создает слуховое впечатление паузы, даже при отсутствии физической паузы, т. е. остановки звучания голоса), а также некоторое уменьшение длительности слогов в начале второй синтагмы (это также способствует акустическому эффекту паузы.) Однако в заключительных выводах констатируется обратное (так как исследователь больше верит фетишизируемому «принципу замены», чем собственным полученным объективным электроакустическим данным), т. е. что интонация сложных союзных предложений сильно отличается от интонации бессоюзных предложений «отсутствием синтагматического деления», ибо «синтагмы объединяются как бы единым интонационным рисунком», т. е. якобы отсутствует интонация присоединения благодаря наличию союза.

Думается, что приведенных примеров достаточно, чтобы поставить под сомнение абсолютную релевантность «принципа замены» Пешковского. Имеется, однако, случай, в котором этот принцип действительно проявляется. Это местоименное вопросительное предложение. Наличие в нем местоименного вопросительного слова, которое в ответе требуется наполнить конкретным лексическим содержанием, устраняет необходимость в интонационном ремовыражении и в значительной мере в выражении вопросительного значения.

Местоименное вопросительное слово, в отличие от частицы *ли* в русском языке, вспомогательного вопросительного *do* в английском, является единственным в своем роде, комбинированным лексико-грамматическим показателем нераскрытой ремы вопроса (она же потенциальная рема ответа). Она действительно не нуждается еще и в интонационном способе ремовыражения, ибо свободно распознается по своему местоименному абстрактному неэксплицированному характеру. Поэтому, как правило,

в эмоционально нейтральной речи главное предицирующее ударение падает не на вопросительную рему, а на один из элементов остального состава — тему. Как правило, это последний элемент группы темы (*Кто говорит? — Товарищ Кузьма; — Где Иванов? — Здесь*), но при противопоставлении, эмфазе оно может смещаться на другой элемент темы или же и на саму рему. Например: *Я не спрашиваю, куда* ***Иван*** *уехал: куда* ***Кузьма*** *уехал?* [11]. Ср. главное ударение на реме, которое представлено не регулярно, а в виде особых случаев — при переспросе всего высказывания, при просьбе уточнить один элемент реплики собеседника и при наличии после вопросительного слова безударных строевых элементов: «(*What will you give me for that same handkerchief?*) — ***What*** *handkerchief?* — ***What handkerchief?*** *Why, that the Moor gave to Desdemona*» (W. Shakespeare, Othello); «*How's the General* — ***Which*** *General?*» (Gr. Greene, The quiet American); *Who is he?, What is it?, What did you say?*

Доказательством рематичности местоименного вопросительного слова является также тот факт, что на какое бы слово в местоименном вопросительном предложении ни падало главное ударение, ответ к неместоименному вопросу всегда будет ответом к вопросительному слову. Ср.: *Где он живет? — В Москве; Где он живет? — В Москве; Где он живет? — В Москве.* В неместоименном же вопросе ответ с передвижением главного ударения будет каждый раз меняться: *Он живет в Москве? — В Москве; Он живет в Москве? — Живет; Он живет в Москве? — Он.*

При особой эмфазе (при противопоставлении) на последнем слове предложения местоименное вопросительное слово может полностью утратить свое простое фразовое ударение, остаться совершенно безударным. Но и в этом случае полученный ответ будет ответом к нему. Ср.: *Я не спрашиваю, где вы* ***живете*** (не говорите мне об этом). *Где вы* ***работаете?!*** Ответ, относящийся именно к вопросительному слову, закономерен и в том случае, когда тема выражена местоименными глаголами с общим значением «делать; происходить», которые в ответе не повторяются (как повторяется обычно тема), а заменяются или конкретным глаголом (*Что это он там делает? — Пишет*), или целым предложением (*Что там происходит? — Человек тонет*): известно, что он что-то делает, но не известно, что именно; известно, что что-то происходит, но не известно, что именно. Конечно, когда задается вопрос, то тема тоже учитывается, ибо спрашивается что-то не вообще, а в отношении чего-то (в суждении утверждается что-то в отношении чего-то, в вопросе спрашивается что-то в отношении чего-то).

Тематический характер остального состава предложения, а следовательно, рематичность вопросительного слова выступает более наглядно, если поставить вопросительное слово в конец местоименного вопроса, что периодически встречается в речи. Ср.: *Он делает что?, Говорит кто?, Вы едете куда? Он не сделал этого почему?*; «*This will convince me. — Convince you of what?*» (A. Maltz, Hunger); «*The work is remarkable. — Remarkable for what? — For its naivetée*» (J. Galsworthy, The man of property).

Отметим, что Я. Фирбас отрицает рематичность местоименного вопросительного слова. Неучет проявления «принципа замены» привел Я. Фирбаса к утверждению о том, что местоименное вопросительное слово бывает ремой только от случая к случаю, при его эмфатическом выделении, например, переспросе [12]. Но это противоречит фактам языка, наблюдениям других ученых [13] и не соответствует системному характеру данного явления, которое сводится к тому, что в местоименном вопросительном предложении выражается неопределенно-предикатный вопрос (раскрыты субъект и связка, но не раскрыт предикат ответного суждения), а ему противостоит неместоименное вопросительное предложение, выражающее неопределенно-связочный вопрос (раскрыты субъект и предикат, но не известна связка).

В отношении выражения вопросительного значения в местоименном вопросительном предложении снимается часть интонационного выражения. Во-первых, на местоименном вопросительном слове, как правило,

имеется небольшое мелодическое повышение, отличающее начало звучания этого типа вопросительного предложения от повествовательного; во-вторых, при усилении вопросительного значения — переспросе, вопросительном восклицании — интонация этого типа предложения характеризуется завершающим повышением тона, как в неместоименном вопросительном предложении. Ср.: *,Что вы сказали?*; «(*How much is it?*) — '***How ,much, is it?*** *Well, why should I know how much it is*» (J. Galsworthy, The man of property).

Таким образом, «принцип замены» Пешковского нашел весьма яркое проявление в случае с местоименным вопросительным предложением, но один случай не может составить правила. Во многих же других аспектах определенное лексическое и грамматическое значение (выражение) не снимает с интонации ее выразительно-грамматической функции. При отсутствии лексико-грамматических показателей интонация их может заменить. При этом можно говорить о возрастании роли и значения интонации, но не обязательно об усилении ее физико-акустических и просодических показателей. Для того чтобы выразить различные грамматические значения и коннотации, не требуются более выраженные и усиленные просодические показатели, чем при наличии лексических или собственно грамматических (например, при экспликации союзов, определенного порядка слов, наличии вопросительных частиц, пунктуации и др.). Роль и степень выраженности — это два разных момента, и их необходимо четко различать.

Итак, «принцип замены» Пешковского по существу имеет скорее односторонний характер: интонация может заменить грамматическое выражение ремы, значения условия, причинности, уступительности, обособления, расчленения, вопроса, утверждения, побуждения и др. Однако ничто, кроме местоименного вопросительного слова, не может заменить интонационное оформление высказывания, которое всегда сопровождает и лексическое, и грамматическое. Таким образом, сформулированный А. М. Пешковским «принцип замены» скорее более релевантен в своей второй части, чем в первой.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мартине А.* Основы общей лингвистики.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963, с. 532—537.
2. *Пешковский А. М.* Интонация и грамматика.— Изв. ОРЯС. Ч. I. Кн. 2, с. 463.
3. *Бернштейн С. И.* Основные вопросы грамматики в освещении А. М. Пешковского. Вступит. статья.— В кн.: *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 6-е изд. М., 1938, с. 37.
4. *Шевякова В. Е.* Интонация вопросительных предложений в современном английском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1954.
5. *Quirk R.* et al. A university grammar of English. Moscow, 1982, p. 361.
6. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956, с. 393.
7. *Торсуев Г. П.* Фонетика английского языка. М., 1950, с. 214.
8. *Белогородская Л. И.* Интонационная структура бессоюзных сложных предложений с однородными высказываниями в современном английском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1971.
9. *Тимонова В. М.* Интонационная структура предложения с обособленной атрибутивной конструкцией: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1973.
10. *Аксенова Г. Н.* Интонационная структура сложных бессоюзных пояснительных предложений: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1971, с. 20.
11. *Шевякова В. Е.* Современный английский язык. М., 1980.
12. *Фирбас Я.* Функции вопроса в процессе коммуникации.— ВЯ, 1972, № 2.
13. *Таванец П. В.* Суждение и его виды. М., 1953.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ГРЕЧКО В. К.

О СЕМАНТИКЕ ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

(на материале немецкой научной речи)

Вопрос о наличии или отсутствии у пассива собственной семантики является дискуссионным. Положительный ответ на этот вопрос дается в трудах И. И. Мещанинова [1]. Имеет свою традицию и противоположный подход [4, с. 345]. В последнее десятилетие, если судить по серии коллективных работ [5—7], посвященных залогу, господствующей стала вторая точка зрения [2]. В данной статье делается попытка показать, что положение о наличии у пассива собственной семантики (значения состояния) не является устаревшим [3]. В связи с особенно высокой частотностью пассивных конструкций в сфере научной речи исследование проводилось на материале научных текстов. При этом были изучены тексты по следующим специальностям: приборостроению, машиностроению, электротехнике, автоматике и телемеханике.

Рассмотрим вначале степень значимости для нашего материала тех факторов, которые обычно указываются для объяснения причин выбора пассива в текстах. Чаще всего называются следующие три стилистические функции: 1) возможность неупоминания конкретного агенса — лица [4]; 2) возможность тематизации смыслового объекта, перемещаемого в исходную позицию предложения [11, 12]; 3) возможность изменения точки зрения, или «интенции», связанная с повышением синтаксического ранга смыслового объекта путем его оформления в качестве подлежащего пассивного предложения. Речь идет об особом аспекте предложения, при котором изменение логической акцентуации достигается не изменением порядка слов предложения (и в этом отличие данного аспекта от актуального членения), а изменением синтаксической иерархии участников смысловой ситуации.

Изучение пассивных конструкций на материале научной речи показывает, что первые две из перечисленных функций являются здесь наименее

---

[1] Как указывает И. И. Мещанинов, залоговая система строится прежде всего на различении смыслового содержания предложения и получает свое выражение в грамматической форме сказуемого. При действительном залоге субъект определяется предикатом в его действии, а при страдательном — в его состоянии (*Я мбю собаку — Собака моется мною*). Таким образом, в направлении от актива к пассиву происходит снижение интенсивности выражаемого процесса и переход от действия к состоянию, завершаемому формою именного сказуемого [1—2]. Сходные мысли высказывает также В. Г. Адмони, отмечая, что в случае пассивных конструкций субъектно-объектные отношения выражены «через призму семантики состояния» [3]. Действительные и страдательные обороты в русском языке представляют собой параллельные конструкции, по-разному отражающие в языке, в зависимости от целей, стоящих перед говорящими, одни и те же отношения действительности [4].

[2] Ср. высказывание В. С. Храковского: «Нет никакого специфического пассивного (страдательного) значения. Это значение, которое традиционно приписывается глаголу в пассивной конструкции, но разумным образом не определяется, является плодом добросовестных научных заблуждений» [8].

[3] В плане дифференциации семантики залоговых конструкций представляет также интерес интерпретация пассива как способа выражения некоторых аспектуальных значений [9].

[4] Наиболее категоричен в этом вопросе Дж. Лайонз: «Если и есть какая-либо одна функция, общая для всех языков, которым приписывается существование пассивного залога, то такой функцией является обеспечение возможности построения „безагенсных“ предложений типа *Bill was killed*» [10].

значимыми. Удельный вес ситуаций, требующих упоминания конкретного агенса, невелик. Обычно такие ситуации представлены в начальной части теоретической статьи, где дается история вопроса. К тому же, естественно, при необходимости указать на предшественников используется как актив, так и пассив. Ср.: *Schon 1909 f a n d e n Le Chatelier und Wologdine, daß Fe_2P schwach ferromagnetisch ist* (Z, 257) [5]; *In jüngster Zeit w u r d e von H. Kronmüller eine magnetische Diffusionsnachwirkung durch Ni-Zwischengitteratome g e f u n d e n* (Z, 251).

Что же касается использования пассива для тематизации объекта, то, во-первых, для достижения этой цели вполне может быть использована и конструкция с *man*. Правда, существует мнение, что употребление этой конструкции нежелательно, т. к. это приводит к начальной позиции прямого дополнения, что противоречит нейтральному порядку слов [11]. Однако положение о том, что начальная позиция прямого дополнения представляет собой нарушение нейтрального порядка слов, справедливо лишь для нераспространенного ядерного предложения — подлежащее и сказуемое при непереходном глаголе или подлежащее, сказуемое и прямое дополнение при переходном. В остальных случаях возможны различные варианты [13]. К тому же подлежащее на первом месте совершенно не обязательно является темой, даже и в английском языке с его твердым порядком слов [14]. Во-вторых, как показывают наши подсчеты, пассивное предложение в немецкой научной речи более чем в половине случаев начинается не с подлежащего, а с каких-либо других членов предложения, например, с обозначения цели (придаточные предложения и главные предложения, занимающие в гипотаксисе не первое место, при этом, естественно, не учитываются). Имеются даже произведения, где такой порядок слов явно доминирует. Таким образом, вторая стилистическая функция также не может рассматриваться в качестве основной причины предпочтения пассива в научной речи.

В отношении третьей функции можно сказать следующее. Действительно, стремление построить предложение «с равнением на подлежащее» (выражение С. Д. Кацнельсона), в качестве которого выступает смысловой объект, во многих случаях может служить объяснением выбора пассива. Во многих случаях, но далеко не во всех. Во-первых, технический язык широко использует и другие средства, обеспечивающие тот же самый коммуникативный эффект, например, конструкции с каузативами типа *ermöglichen*, ср.: *Das neue Gerät k a n n für die Messung der kleinsten Spannungen b e n u t z t w e r d e n — Das neue Gerät e r m ö g l i c h t die Messung....* Во-вторых, если рассматривать пассив прежде всего как способ превращения непервого актанта в подлежащее, то трудно объяснить употребление бесподлежащных конструкций типа *An der weiteren Verringerung der Meßunsicherheit wird gearbeitet* (M, 58).

Итак, после обсуждения всех трех указанных функций необходимость поиска основной причины, объясняющей резкое повышение частотности пассивных конструкций в научной речи, не отпадает.

Говоря о повышенной употребительности пассива в условиях научной речи, следует отметить и повышение частотности всех его конкурентов [6].

---

[5] В статье приняты следующие сокращения исследованной технической литературы (цифра указывает на номер страницы). В. П. — *Пасынков В. В.* Нелинейные полупроводниковые сопротивления. Л., 1962; Z — Zeitschrift für angewandte Physik, 1963, Bd. 15, Hf. 3; M — Metrologische Aufgaben und Einrichtungen der DDR. Berlin, 1964; R. B.— *Bauer R.* Maschinenteile Bd. III. Leipzig, 1958; I — Industrie-Anzeiger, 1980, N 75; K. D.— *Decker K.* Maschinenteile. Bd. I. Leipzig, 1955; R-T-P — Regelungstechnische Praxis, 1968, Hf. 2; W. W.— *Winkler W.* Wartung und instandhaltige Projektierung der Hydraulik. Berlin, 1974; K. N.— *Nitsche K.* Einführung in die Längenmeßtechnik. Leipzig, 1967; FK — Fachkunde Kabelmechaniker. Berlin, 1958; Fg — Feingerätetechnik, 1969, Hf. 12; W. P.— *Passynkow W. W.* Nichtlineare Halbleiterwiderstände. Leipzig, 1965; R-T — Regelungstechnik, 1969, Hf. 1; C. B.— *Berg C. F.* Hydraulische Bauelemente in der Automatisierungstechnik. Berlin. 1968; H. H.— *Hart H.* Kontinuierliche Flüssigkeitsdichtemessungen. Berlin, 1968; H. Sch.— *Schneider H.* Tatort Centrum, Rudolstadt, 1980.

[6] На материале языка художественной литературы конкуренты пассива рассмотрены, например, в работах [15, 16].

Так, например, адъективная модель с предикативом на *-bar* употребляется в научно-технической литературе примерно в 3 раза, а рефлективная конструкция с *lassen* при неперсональном подлежащем почти в 20 раз чаще, чем в художественной прозе. Но особый интерес представляют случаи переосмысления активных конструкций, обусловленные приписыванием предикативного признака такому подлежащему, которое по своему денотативному значению не может мыслиться в качестве его носителя. Ср.: *Die Schaltung verwendet einen neuen elektronischen Verstärker.* Подобные предложения мы бы характеризовали как «семантический пассив» (= *In der Schaltung wird ein neuer elektronischer Verstärker verwendet*).

Рассмотренные факты находят прямое отражение и в распределении переходных глаголов между активом и пассивом. Проведенные количественные наблюдения показывают, что из тысячи переходных глаголов (при сплошной выписке из текстов разной тематической направленности) 654 оказываются в составе пассивных и лишь 346 — в составе активных конструкций. Но дело не только в разной частотности пассива и актива. Набор типовых смысловых ситуаций, отображаемых с помощью актива, оказывается более бедным. Так, например, ситуация «созидания», выражаемая лексемами типа *herstellen*, *fertigen produzieren*, описывается почти исключительно с помощью пассивных предложений. При описании операций, протекающих совершенно автоматически, употребление предложений с *man* исключено, а предложений с предметным подлежащим допустимо лишь в ограниченных случаях (если предмет представляет собой техническое устройство, наделенное внутренней динамикой). Примечательно также, что пассив оказывается и синтаксически более емкой конструкцией, отражая в более полном виде ситуации объективной действительности. Так, удельный вес дополнений с инструментальным значением в пассивных предложениях и в предложениях с *man* составляет 35% и 18%, а удельный вес обстоятельственных характеристик в указанных типах предложений — 87% и 69%. Все сказанное приводит к выводу, что в научной речи коммуникативно наиболее значимой [7] конструкцией становится пассив.

Основную причину возникновения столь своеобразной ситуации следует искать в наличии семантической корреляции между грамматическим значением пассива и содержательной направленностью научного текста. Как известно, основное содержательное различие между произведениями художественными и научными состоит в том, что в первом случае в центре внимания находятся люди и их переживания, а во втором — вещи и их характеристики. Нацеленность научного описания на качественную характеристику материальных объектов [8] продиктована, таким образом, основной коммуникативной задачей исследуемого функционального стиля. При этом материальные объекты характеризуются не только с точки зрения того, каковы они, но и с точки зрения того, что с ними можно сделать. Вневременной характер глагольного действия в научной речи в значительной мере способствует сближению предикативного (переменного) признака с постоянным (атрибутивным). Однако во многих случаях (например, при описании устройства машин и приборов) предикативному признаку необходимо придать более статичный характер. Наилучшим средством для достижения этой цели оказывается пассив, включающий — в отличие от актива — в свое значение сему квалитативности. Таким образом, имеет место некоторое сближение пассива с именным сказуемым (с предикативным прилагательным), что, видимо, обусловлено вхождением в залоговую форму причастия, совмещающего признаки как глагола, так и прилагательного. Весьма знаменательно, что прежде всего в научной речи мы находим примеры типа *Die chemische Anlage wird ferngesteuert*; *Danach werden die Flächen gesandstrahlt*, где причастия II представляют собой гибридные глагольно-именные образования, не имеющие соотносительных финитных форм (первый пример), а в ряде случаев даже и соответствующих

---

[7] О критериях значимости различных синтаксических конструкций в плане отображения смысловых ситуаций см. [17].

[8] Ср. определение вещи, предложенное А. И. Уемовым: «Вещь — это система качеств» [18].

инфинитивов (подобные примеры приводит К. Кёлер со ссылкой на В. Рейнхарда [19]). Наличие у пассива семы «квалитативность» подтверждают, кроме того, следующие признаки:

1) Регулярная сочетаемость с именным сказуемым. Ср.: *Hanfseile sind geschmeidig und können in jeder Richtung gebogen werden* (R. B., 1). Весьма показательно, что в подобных контекстах создаются предпосылки и для непосредственной замены пассива адъективной конструкцией: *Hanfseile sind geschmeidig und in jeder Richtung biegsam.*

2) Возможность сочинительной связи с глаголами состояния (*haben, besitzen, dienen, bestehen* и т. п.): *Dieses Material ist glasklar lieferbar, hat eine ausreichende Härte bei sehr guter Schlagzähigkeit, wird von den zu erwartenden Agenzien nicht angegriffen, kann bedruckt werden und läßt eine ausreichende Alterungsbeständigkeit erwarten* (I, 48).

3) Возможность включения в структуру конструкции оценочных определителей типа *leicht, gut* [9]: *Die Reibbelege sind auf Blechsegmenten befestigt, damit diese zusammen mit dem Blech leicht ausgewechselt werden können* (K. D., 113); *Die Amplituden der Ausgangsspannungen werden gar zu leicht verfälscht* (R-T-P, 49); *Mechanische und hydraulische Schwingungen werden durch flüssigkeitsgefüllte Manometer sehr gut gedämpft* (W. W., 46).

4) Возможность преобразования в конструкции со статальными глаголами. Здесь прежде всего следует отметить конструкцию с глаголами типа *haben, besitzen, aufweisen*, при употреблении которой — в особенности в технических текстах — отношения принадлежности обычно модифицируются в отношения качественной характеристики.

5) Допустимость преобразования в предложения дефиниции в тех случаях, когда в тексте дается не авторское, а общепринятое определение того или иного понятия. В следующем примере пассив используется для пояснения метрологического термина (разрядка оригинала): *Eine zu messende Größe wird als Meßgröße bezeichnet. Die Einheit, mit der diese zum Zwecke des Messens verglichen wird, heißt Maßeinheit* (K. N., 2). Предпосылкой для указанного преобразования служит тесное смысловое сближение подобных пассивных конструкций со связочными предложениями-дефинициями. Ср.: *Eine zu messende Größe ist die Meßgröße.* Показательны также случаи синтаксического параллелизма сравниваемых конструкций: *Polyäthylen ist an sich ein Plast, vernetztes Polyäthylen wird zu den Elasten gerechnet* (FK, 52).

6) Использование глаголов отношения в качестве внутреннего лексического «наполнителя» пассивных конструкций. Наибольший интерес представляют конструкции, образованные от глаголов, которые обычно классифицируются как aktiva tantum, например, от глаголов *entsprechen, erhalten* [10]: *Ferner soll durch die Schaffung eines atomaren Frequenzstandards der geplanten Neudefinition der Sekunde entsprochen werden* (M, 44). Не являются исключением для научной речи и пассивные конструкции с глаголом обладания *verfügen* (*über*): *Die einzige Größe, über die noch verfügt werden kann, ist* $\Delta\varphi$ (Fg, 547).

7) Регулярность случаев ослабления оппозиции «пассив — результатив». Это подтверждается, с одной стороны, чередованием пассива и результатива при характеристике вида исполнения, крепления, заземления различных технических устройств, а, с другой стороны,— случаями межъязыковой синонимии этих синтаксических конструкций. В этом плане примечательна функциональная соотнесенность результатива и пассива в примере, который представляет собой фрагмент сопоставительного описания исходного материала, свойств и параметров полупроводниковых элементов (варисторов), принадлежащих разным фирмам. Все высказывания фрагмента — вне зависимости от грамматической модели, по которой они построены,— нацелены на выражение качественной характеристики описываемого изделия. Ср.: *Варисторы изготовлены из материала*

---

[9] Возможность включения подобных определителей в пассивные предложения иногда отрицается [20].

[10] Употребительность пассивных конструкций с глаголом *erhalten* в сфере научной речи отмечается также в грамматике Г. Хельбига и И. Буша [21].

на основе карбида кремния, фирменное название которого оцелит. Основное значение — искрогашение во внешней индуктивной цепи... Температурный коэффициент оцелитовых варисторов отрицательный (В. П., 67) — *Die Varistoren werden aus einem Material auf der Basis von Siliziumkarbid hergestellt, dessen Handelsbezeichnung Ocelit ist. Sie sind hauptsächlich für den Funkenschutz an Freileitungen mit Induktivitäten vorgesehen... Der Temperaturkoeffizient der Ocelit-Varistoren ist negativ* (W. P., 77—78).

8) Неправомерность для многих случаев употребления пассива постановки вопросов типа «Что происходит?» [11] и уместность вопросов типа «Каков предмет?», «Что из себя представляет предмет?». Так, для приведенного ниже примера, где пассив используется для характеристики прибора по способу питания (ср. русское терминологическое словосочетание *с питанием от батареи/с батарейным питанием*) допустим лишь вопрос «Какой прибор?». Ср.: *Das Gerät ist volltransistorisiert, tragbar und wird aus Batterien gespeist*» (R. T., 45).

9) Особая предрасположенность пассива к включению показателей возможности [12]. Так, повышение в научной прозе (по сравнению с художественной) частотности тех пассивных конструкций, которые содержат модальный глагол *können*, выражено в гораздо большей степени, чем при сопоставлении пассивных конструкций, рассматриваемых в совокупности.

Сознание квалитативности обнаруживается у пассива как при описаниях совокупности технических операций, так и при описаниях устройства готовых изделий. Однако наиболее показательная в данном плане ситуация второго типа, связанная с характеристикой изделия (машины, приборы и т. п.) с точки зрения его функциональных возможностей, вида исполнения, наличия составных элементов и их взаиморасположения. При этом следует подчеркнуть, что при характеристике уже готовых изделий пассив используется, как правило, не в формах прошедшего, а в формах настоящего времени. Тем самым в данном случае не приходится говорить об обусловленности значения состояния пассива временными (например, перфектными) формами.

Возможно, конечно, возражение, что значение состояния в различных его вариантах в подобных смысловых ситуациях целиком обусловлено особенностями индивидуального контекста или/и вневременным характером действия в научном стиле. Но если бы дело было только в этом, то в описаниях устройства технических объектов с равным успехом можно было бы использовать как пассив, так и актив (конструкцию с *man*). Фактически же в подобных речевых условиях взаимозаменяемость указанных синтаксических конструкций почти полностью устраняется. Правда, при обращении к информантам данный критерий приобретает в какой-то мере вероятностный характер, поскольку любое выхваченное из широкого контекста пассивное предложение будет классифицировано информантом как синонимичное конструкции с *man*. Это обстоятельство снижает надежность ответов информантов, т. к. их ответы могут быть предопределены сведениями о синонимичности сравниваемых моделей. Тем не менее при предъявлении информантам достаточно широких контекстов (аналогичных представленным ниже) альтернативные высказывания на базе конструкции с *man* оцениваются либо как менее предпочтительные, либо как некорректные.

Дополнительным аргументом, подтверждающим наличие у пассива собственного значения, могут служить и данные количественного анализа. Количественное соотношение пассивных конструкций и предложений с *man* в текстах изменяется в зависимости от тематической направленности: в статьях с описанием технических объектов повышается частотность пассива, а в статьях теоретического характера с элементами математиче-

---

[11] Критерий У. Чейфа [22] и Т. Б. Алисовой [23] для разграничения акциональных и статальных предложений.

[12] Синтаксические структуры с показателями возможности ориентированы на выражение качественных особенностей вещей, иначе говоря, на обозначение их сущностных характеристик [24].

ского анализа возрастает частотность предложений с *man* (в статьях пеового типа средняя частотность пассива и конструкции с *man* соответственнр составляет 104 и 12, а в статьях второго типа — 35 и 67 употреблений на 1 печатный лист). Следует подчеркнуть, что в произведениях, нацеленных на характеристику технического оборудования, конструкции с *man* полностью устраняются. Об актуализации у пассива семы квалитативности, перерастающей в некоторых контекстах в значение состояния, говорят и результаты лингвистического эксперимента, включающего, с одной стороны, пробы на перефразирование пассивных предложений в структуры со значением состояния, а с другой стороны,—в структуры с более четко выраженной процессуальностью. По соображениям, указанным выше, в качестве примеров будут фигурировать не отдельные предложения, а речевые фрагменты, включающие несколько высказываний.

(1) *Im Bild 60 ist ein Standardbehälter mit Pumpe und Ventil sowie Manometer dargestellt. Der Ölbehälter w i r d durch eine Trennwand in einen Saug- und einen Rücklaufraum g e t r e n n t, die durch eine rechts sichtbare Platte miteinander in Verbindung stehen. In dieser Platte befindet sich ein Magnetfilterwehr. Andere feste Bestandteile lagern sich am Boden ab* (C. B., 68). Ссылка на рисунок в приведенном примере свидетельствует о том, что в данном контексте сообщается о готовом изделии, а не о процессе его изготовления. Конкретно речь идет о том, как устроен контейнер, из каких элементов он состоит и как эти элементы расположены по отношению друг к другу. Статичность описываемого технического объекта подчеркивается употреблением статальных предикатов. Пассивная конструкция, образованная от глагола *trennen*, выражает, конечно, не процесс, а состояние. Это подтверждается неправомерностью в данном случае преобразования в предложение с *man*: **Man trennt den Ölbehälter durch eine Trennwand in...* Производное предложение создает представление о совершаемом действии, что полностью противоречит содержанию исходного предложения. Таким образом, и в сфере научной речи процессуальность у актива и пассива выражена в разной степени. У пассива сема «процессуальность» может быть нейтрализована контекстом, а у конструкции с *man* — нет.

(2) *Der GRW-Pelkompaßstand (Bild 38) besteht aus dem Säulenunterteil, dem Säulenoberteil mit angeflanschten Halterungen für die D-Korrektoren und der Haube mit den beiden Öllampen für Notbeleuchtung. Die Kompaße w e r d e n kardanisch a u f g e h ä n g t. Zur Vermeidung von Beschädigungen durch starke Schiffsvibrationen ist der Kompaßkessel im Kardanring durch ein genau abgestimmtes Federsystem schwingungsfrei gelagert* (NG, 75).

В технической литературе пассив используется также для образования устойчивых терминологических словосочетаний, указывающих на вид исполнения какого-либо устройства. В приведенном примере пассивное предложение с глаголом *aufhängen* эквивалентно многокомпонентному именному термину (русский термин «компас с карданной подвеской»). Процессуальность в значении пассива здесь полностью «подавлена», и он служит лишь структурным каркасом, объединяющим несколько компонентов в одно смысловое целое. Возможна трансформация в предложение с *haben* (*Die Kompaße haben eine kardanische Aufhängung*).

(3) *Die Elliot-Dichtewaage w i r d a l s S t a n d g e r ä t g e b a u t* (Bild 23). *Sie muß auf festem Untergrund horizontal aufgestellt werden. Alle Lagerstellen sind als Kreuzbandaufhängungen ausgebildet* (H. H., 34).

И в контексте (3) основной функцией пассива является передача информации не о процессе изготовления весов, а о наличии у фирмы «Эллиот» весов в особом исполнении. Иначе говоря, пассив используется здесь для выражения качественной характеристики. Это подтверждается невозможностью преобразования пассивного предложения в структуру с четко выраженным процессуальным значением (глагол *sein* или *sich befinden* + предложный комплекс с именем действия). Ср.: * *Die Elliot-Dichtewaage ist als Standgerät im Bau.* Следует заметить, что в тех случаях, когда пассивное предложение описывает реально протекающее действие, подобное преобразование дает вполне корректное высказывание (*Dieses Haus wird seit vorigem Jahr gebaut = Dieses Haus ist seit vorigem Jahr im*

Вау). С другой стороны, содержание рассматриваемого контекста не меняется при преобразовании пассивной конструкции а) в предложение-дефиницию или б) построение с полусвязочным глаголом *dienen*, характеризующее предмет с точки зрения его назначения: а) *Die Elliot-Dichtewaage ist ein Standgerät*; б) *Die Elliot-Dichtewaage dient als Standgerät*.

Итак, анализ языкового материала убедительно свидетельствует о наличии у пассива обозначения квалитативности, перерастающего в целом ряде случаев в значение состояния. Онтологической предпосылкой для этого является наличие семантического согласования между действием и его объектом, в результате чего предикат предложения характеризует не только субъект, но и объект [25] [13]. Поэтому переход от актива к пассиву сопровождается не только повышением синтаксического ранга смыслового объекта, но и повышением ранга характеристики объекта, которая из отношения действия к его объекту превращается в предикативный признак этого актанта. Но самое важное состоит в том, что временный предикативный признак превращается при этом в постоянный. А как известно, неограниченный во времени признак переходит в категорию качества [27]. Сказанное позволяет классифицировать пассив как особую предикатную конструкцию, занимающую промежуточное положение между предложениями действия с переходными глаголами и связочными предложениями с предикативным прилагательным. Семантика квалитативности наиболее четко проявляется у пассива в языке науки и техники. Однако если не ограничиваться сопоставлением хрестоматийных примеров типа *Рабочие строят дом — Дом строится рабочими*, а анализировать случаи столкновения актива и пассива в реальных условиях, то эту семантику можно выявить и на материале языка художественной литературы. Сема квалитативности явственно ощущается в контекстах, где одна и та же глагольная лексема выступает в разных залоговых формах. Так, в приведенном ниже диалоге актив используется для обозначения события, а пассив — для качественной характеристики. Семантический сдвиг происходит несмотря на то, что трехчленному активу противостоит трехчленный пассив [14]. Ср.: — «*Diese Kleinigkeiten k ö n n t e n Sie ohne meine Assistenz e r l e d i g e n*».— *Heidenreich lächelte zurück*: «*Dann eher umgekehrt, denn Kleinigkeiten w e r d e n meistens von Assisstenten e r l e d i g t*» (H. Sch., 167).

Наш материал дает, таким образом, дополнительные аргументы в пользу упомянутой выше точки зрения о семантичности пассива. Однако, учитывая и ту часть случаев употребления пассивных конструкций, где сема процессуальности не полностью «подавлена», мы предпочитаем говорить о сознавении квалитативности, интерпретируя квалитативность как вариант значения состояния.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мещанинов И. И.* Глагол. Л., 1982, с. 118, 150, 151, 178—182.
2. *Мещанинов И. И.* Проблемы развития языка. Л., 1975.
3. *Адмони В. Г.* Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955, с. 132.
4. Современный русский язык. Морфология. М., 1952.
5. Типология пассивных конструкций. Л., 1974.
6. Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
7. Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
8. *Храковский В. С.* Пассивные конструкции.— В кн.: Типология пассивных конструкций. Л., 1974, с. 29.
9. *Азначеева Е. Н.* Типология пассивных конструкций и функционально-семантичес-

---

[13] Касаясь этого вопроса, Ю. С. Степанов указывает, что глагол *читать* в предложении *Мальчик читает книгу* есть свойство мальчика, а «быть читаемой» есть свойство книги. В отношении к субъекту предложения («мальчику») это свойство оказывается временным, а в отношении к объекту («книге») — постоянным: книга, собственно, есть то, что предназначено для чтения [26].

[14] Некоторые авторы допускают возможность появления какого-то семантического сдвига лишь при употреблении двучленного пассива [28].

кая категория аспектуальности в современном немецком языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
10. *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
11. *Бернер Г. И.* Употребление страдательного залога в современном немецком языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1963, с. 4, 7.
12. *Schoenthal G.* Das Passiv in der deutschen Standardsprache. München, 1976, S. 111—116.
13. *Brinkmann H.* Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. Düsseldorf, 1971, S. 501—505.
14. *Пумпянский А. Л.* Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе. М., 1974, с. 59, 63.
15. *Admoni W.* Der deutsche Sprachbau. M.— L., 1966, S. 180—183.
16. *Helbig G., Heinrich G.* Das Vorgangspassiv. Leipzig, 1980, S. 34—36.
17. *Оглоблин А. К.* О соотношении актива и пассива в языках яванской группы.— В кн.: Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978, с. 253—257.
18. *Уемов А. И.* Вещи, свойства, отношения. М., 1963, с. 21.
19. *Köhler C.* Zum Gebrauch von Modalverben und Passivfügungen in der deutschen Fachsprache der Technik.— In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller Universität Jena, 1970, Jg. 19, Hf. 5, S. 790.
20. *Lötzsch R., Fiedler W., Kostov K.* Das Genus verbi und verwandte morphologischen Kategorien.— In: Satzstruktur und Genus verbi. Berlin, 1976, S. 78.
21. *Helbig G., Buscha J.* Deutsche Grammatik. Leipzig, 1972, S. 143.
22. *Чейф У.* Значение и структура языка. М., 1975, гл. 9, 11, 12.
23. *Алисова Т. Б.* Очерки синтаксиса современного итальянского языка. М., 1971, с. 36—37.
24. *Гречко В. К.* Элементарное предложение и его функции в научном стиле.— В кн.: Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. Л., 1979.
25. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976, с. 125—130.
26. *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения. М., 1981, с. 232.
27. *Гак В. Г.* Проблемы лексико-грамматической организации предложения: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1970, с. 785.
28. *Богданов В. В.* О конститутивной единице смысла предложения.— В кн.: Предложение и текст в семантическом аспекте. Калинин, 1978, с. 14.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

ТОМАХИН Г. Д.

ТОПОНИМЫ КАК РЕАЛИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
(на материале географических названий США)

Топонимы — неотъемлемая часть фоновых знаний носителей данного языка и культуры: в них, как в зеркале, отражаются история данного народа, история заселения и освоения данной территории. Поэтому именно эта часть лексики издавна привлекает внимание не только филологов, но и историков, этнографов, географов [1, 2].

Среди географических названий можно выделить большую группу топонимов-реалий, которые связаны с какими-либо событиями в жизни народа — носителя языка и культуры и несут в языке, кроме своей основной функции (наименования географического объекта), ряд дополнительных функций. Примерами таких реалий могут быть *Plymouth Rock* «Плимутская скала» (место высадки переселенцев-пуритан в Северной Америке в 1620 г.); *Appomattox* «Аппоматтокс (поселок в штате Виргиния, где в 1865 г. произошла капитуляция армии южан под командованием генерала Ли): это событие считается окончанием гражданской войны в США (1861—1865 гг.); *Sutter's Mill* «лесопилка Саттера» (находится в Калифорнии на реке Сакраменто; в 1848 г. здесь было найдено золото, что послужило началом «золотой лихорадки»). Иногда, имея в виду какое-либо историческое событие, автор не говорит о нем прямо, а называет то место, где оно произошло, что составляет основу аллюзий. Аллюзивное (метонимическое) употребление топонимов особенно затрудняет понимание, т. к. в подобных случаях для адекватного восприятия всего того, что скрывается за географическим названием, недостаточно чисто географических познаний — необходимо также знание истории данной страны.

В. А. Никонов выделяет в значении топонима три плана (дотопонимический, топонимический и оттопонимический [1, с. 26], весьма важных для лингвострановедения. Национально-культурная обусловленность номинации проявляется в процессе топонимизации апеллятива или заимствования топонима; дотопонимическое значение, «внутренняя форма» топонима, его этимология, в том числе и «народная», не всегда соответствующая действительности, входит в фоновые знания носителей языка. Топонимическое значение кроме минимальной информации — указания на объект — может содержать сведения об объекте, хорошо известные в данной национально-культурной общности (но не всегда известные за ее пределами). Оттопонимическое значение, возникающее в результате выдвижения на первый план каких-либо отдельных признаков обозначаемого объекта, является логическим продолжением того образа объекта, который актуален в массовом обыденном сознании носителей языка, и яркой демонстрацией социальной детерминированности оттопонимического словообразования. Однако наибольший интерес представляет оттопонимическое значение, те коннотации, которыми «обрастает» топоним в национальном сознании.

Тононим как лексическая единица может нести минимум и максимум информации. Топоним, называя географический объект, указывает, что данный объект обладает именно этим именем, а это и составит минимальную информацию. К максимальной информации относят диахроническую и функциональные типы информации. Диахроническая информация включает языковые данные, заключенные в топониме, и может быть получена лишь при специальном лингвистическом исследовании. Это языковая

принадлежность слова или имени, от которого образован топоним. К функциональному типу относится информация, касающаяся связи географических названий с объектом, данные о характере объекта, к которому относится топоним, комплекс сведений о самом объекте. Последнее представляет собой наиболее индивидуальную и непостоянную часть информации, меняющуюся в зависимости от изменения социального статуса объекта, его роли в жизни человека и отношения человека к объекту [3]. Как раз этот вид информации и составляет объект лингвострановедения.

Возражая Е. Куриловичу, который относил все имена собственные в разряд «маргинальной лексики» А. А. Реформатский справедливо заметил, что «факты топономастики находятся в очень разных отдалениях от основного фонда лексики и сами по себе чрезвычайно разнообразны и разнокалиберны... Но и в любой топономастике есть такие случаи, какого бы языка они ни касались, которые выдержали испытание временем и нужны всем; таковы в русской топонимике слова *Россия*, *Москва*...» [4]. Необходимость включения имен собственных не только в энциклопедические, но и в общие словари Л. В. Щерба аргументировал таким образом: «Поскольку собственные имена, будучи употребляемы в речи, не могут не иметь никакого смысла, постольку мы должны их считать словами, хотя бы и глубоко отличными от имен нарицательных; поскольку же они являются словами, постольку нет никаких оснований исключать их из словаря» [5].

Однако не вся топонимия страны является объектом лингвострановедения: «Громадное большинство географических названий неизвестны населению даже в пределах небольшой одноязычной страны... Жители больших городов вряд ли знают 3—5% названий улиц, площадей, переулков, топонимия которых реально существует... Процент освоения топонимической лексики оказывается еще более ничтожным за пределами своего города или района» [6]. Объектом же лингвострановедения являются только топонимы, безусловно известные среднему представителю данной страны. Различен и подход к топонимике со стороны ономатолога и лингвострановеда, хотя и тот и другой исследуют влияние социальных факторов на географическое название. Актуальность топонима в общественном сознании, его общеизвестность является категорией исторической: то, что было актуальным вчера, может быть забыто сегодня или перейти в разряд историзмов. Лингвострановедческая значимость топонима всецело определяется ролью обозначаемого им объекта в истории, социально-политической, хозяйственной и культурной жизни народа — носителя языка и данной культуры.

В истории топонимии США выделяют два основных периода: ранний (с начала XVII в. до 70-х годов XVIII в., соответствующий колониальной эпохе) и поздний, начавшийся с образованием США как самостоятельного государства. Характерные черты американской топонимии (в отличие от собственно английской) начинают складываться уже в последней четверти XVIII в. Американская топонимия, являясь частью общей лексико-семантической системы американского варианта английского языка, отражает особенности развития языка в условиях (языковых, исторических, географических), резко отличающихся от условий Англии. Попав на североамериканский континент, переселенцы из Англии оказались в совершенно чуждых для них природно-климатических условиях, огромные территории осваивались в процессе массового истребления коренного населения и длительных войн с конкурирующими колонизаторами из Франции, Голландии, Испании, Швеции. К числу языковых факторов, оказавших большое влияние на становление американской топонимической системы, относятся сложные процессы взаимодействия и взаимовлияния разных топонимических систем, прежде всего английского и индейских языков. Наибольшее влияние английской топонимической системы ощущается в штатах Новой Англии и Атлантического побережья Юга США, откуда топонимы английского происхождения переносились далее на Запад в глубь континента. В результате появилось 18 Бостонов и Новых Бостонов, 19 Бристолей, 21 Ньюпорт и 22 Лондона и Новых Лондона [7].

Омонимия в топонимике США принимает такие широкие размеры, что создается препятствие для реализации основной функции топонимов — идентификации объектов. Поэтому становится нормой «привязка» топонимов — названий населенных пунктов к определенному штату: *Springfield* (Mass.), *Springfield* (Ill.).

При перенесении топонима из Англии обычно сохраняется английская орфография, но в случае дальнейшего переноса этого топонима в другие районы США его орфография нередко упрощается. Ср., например, *Worcester* в Массачусетсе (США) и в Великобритании, и *Wooster* в Арканзасе и Огайо (после вторичного перенесения), хотя в обоих случаях произношение одинаковое. Аналогичная картина наблюдается с двояким написанием топонима *Gloucester* (в северных штатах, где влияние английской топонимии особенно ощутимо) и *Gloster* — на Западе.

Заимствование названия часто сопровождается изменением его звучания, причем в американской топонимии вводится произношение, соответствующее его современному написанию (spelling pronunciation), а не то, которое по традиции закрепилось в Великобритании. Это «орфографическое произношение» характеризуется тем, что безударный (в английском варианте) слог приобретает в американском второстепенное ударение [8].

Наряду с трансплантацией топонимов из Англии наблюдается трансплантация из других европейских стран, и, что не менее важно, сохранение местных индейских наименований, часто до неузнаваемости искаженных в результате фонетической и орфографической адаптации.

Следует отметить, что большинство индейских названий попало в английский язык через французский. Причин для сохранения индейских названий, как считают исследователи, было по крайней мере две: 1) индейское название привлекало своей экзотикой; 2) в связи с национальной пестротой колонизаторов индейское название после вытеснения индейцев оказывалось единственно нейтральным [1, с. 158].

За исключением Новой Англии и районов ранней колонизации на Атлантическом побережье Юга топонимия США резко отличается от топонимии Англии прежде всего своими индейскими по происхождению лексемами, что придает ярко выраженный национальный колорит речи американца. Искаженные формы местных аборигенных названий, по наблюдениям исследователей, составляют значительную часть топонимии США [9, с. 25]. Кроме того, к числу интерферирующих языков в период становления топонимии относятся также языки колониальных держав, которые, как и Великобритания, боролись за обладание Америкой: испанский, нидерландский, французский. В дальнейшем влияние европейских топонимических систем было расширено вместе с потоком иммигрантов, прибывающих из самых различных стран; в результате география Америки представляется в виде «повторительного курса географии Европы» [1, с. 114].

Под воздействием различных языковых и экстралингвистических факторов (социальная структура и культура населения, официальный статус языков и степень их родства, уровень предшествующего освоения территории и многих других) степень заимствования иноязычной топонимии и ее влияние на создание новых (американских) топонимов в разных районах США различны. Испанское влияние особенно заметно на Юго-Западе США; французское в районе Великих Озер, на границе с Канадой, вдоль рек бассейна Миссисипи и Миссури, на обширной в то время территории Луизианы. Следы нидерландской топонимики прослеживаются в названиях на территории штата Нью-Йорк, где в 1669 г. была основана нидерландская колония (Нью-Йорк до 1674 г. носил название *New Amsterdam*). Эти иноязычные топонимические комплексы, мало связанные между собой, определенным образом взаимодействуют с аборигенной топонимией. Влияние последней на англоязычную топонимию осуществляется не только в связи с непосредственными контактами с индейскими племенами, но в значительной степени и опосредованно, через первоначальное восприятие индейской топонимии другими народами.

Иноязычное влияние американская топонимическая система испытывает и в последующие периоды, особенно в XIX—XX вв., в годы массовой иммиграции из разных стран, однако это влияние было не столь существенным, т. к. оно наталкивалось на уже сложившуюся преимущественно на базе английского языка систему.

В целом США, для которых характерна пестрота этнического состава населения, обладают также необычайно разнообразной топонимической системой, в которую, по словам английского писателя Р. Л. Стивенсона, «все времена, народы и языки внесли свой вклад».

Для современных носителей языка этимология исконно американских топонимов сохраняет свою актуальность (возможно даже бо́льшую, чем во время становления топонимической системы) и постоянно поддерживается и культивируется различного рода краеведческой литературой, не говоря уже об этимологии названий штатов, которые включаются в официальные справочники и становятся достоянием национального культурного наследия, хотя нередко соответствующие этимологии весьма спорны (ср. [10]).

Как известно, топонимы — это особый пласт лексики, на который не всегда распространяются закономерности лексической системы данного языка. Топонимика использует не только обычные словообразовательные модели и типы словосочетаний какого-либо конкретного языка, но и способна создавать свои модели и слова, не бытующие в языке ее создателей [2]. Особенностью американской топонимии является широкое использование в качестве апеллятивов объектив физической географии, местной флоры и фауны (*Sequoia*, *Sycamore*, *Hickory*, *Buffalo*, *Beaver City*, *Eagletown*, *Elktown*). Город *Buffalo* вначале носил название *Buffalo Creek*, букв. «Ручей Буффало» и был назван по имени индейца, действительно связанного с названием животного [11, с. 209]. Большое место занимают идеологизмы, слова с повышенной стилистической окрашенностью: *Friendship* «дружба», *Grandview* «величественный вид», *Pleasant Valley* «приятная долина». Ср. также появление многочисленных классических наименований, в которых возрождаются названия городов, имена героев античной литературы и мифологии (например, *Ithaca*, город в штате Нью-Йорк, местонахождение Корнелльского университета, названный по острову Итака, родине Одиссея; *Troy* в штате Нью-Йорк — в честь античной Трои; *Syracuse*, город в штате Нью-Йорк, носящий имя античных Сиракуз, родины Архимеда, и т. д.).

Не вдаваясь в детали словообразования, отличающего топонимическую систему США от соответствующих систем других англоязычных стран, хотелось бы обратить внимание на продуктивность заимствованного суффикса *-ville*, который, по мнению К. Матьюза, принадлежит к числу характерных черт американской топонимии. Заимствованный из французского в первый период существования США как независимого государства (Франция, как известно, была союзником США в войне за независимость), он использовался в наименованиях сверх всякой меры и, как отмечает К. Матьюз, «в Америке больше городов с названиями, оканчивающимися на *-ville*, чем во Франции; он присоединялся к самым разнообразным словам, несмотря на их несовместимость» [11, с. 204, ср. 12].

Суффикс *-ville* особенно продуктивен в неологизмах — топонимических образованиях, используемых в переносных значениях. Печальную известность в первой половине 30-х годов получили *Hoovervilles* — поселки безработных из наспех сколоченных материалов, подобранных на свалке [по фамилии Г. Гувера, во время президентства которого США постиг кризис 1928—1933 гг. (The Great Depression)]. По аналогии с с «гувервиллями» в современном английском языке в США появился *Reaganville*, палаточный городок участников протеста против экономической политики Рейгана.

Анализ оттопонимических образований, сгруппированных вокруг исходного топонима, может дать ценнейший материал для понимания роли данного объекта в общественном сознании народа — носителя языка, его истории, культуры, общественно-политической жизни и хозяйственно-

производственной деятельности. Например, узуально кодифицированы в условиях США сочетания *Georgia peaches* «персики из штата Джорджия»; *California oranges* «калифорнийские апельсины»; *Maryland oysters* «мэрилендские устрицы»; *Maine oysters* «омары из штата Мэн», но сочетание этих слов, обозначающих продукцию, с другими топонимами может вызвать недоумение: персики могут расти и во многих других южных штатах, но только Джорджия в стереотипе сознания ассоциируется с персиками, отсюда ее официальное прозвище *Peach State* «персиковый штат», и конечно только в Атланте, столице Джорджии, новый комплекс зданий, образующих центр города, мог получить название *Peachtree Center*, букв. «центр персикового дерева». Во всех оттопонимических образованиях, как и в производных словах вообще, сохраняется семантическая связь с основным исходным топонимом типа той, на которую указывает ряд исследователей [13, 14].

В большинстве случаев в США, как и в других англоязычных странах, специального оттопонимического атрибутивного или субстантивного образования для обозначения жителя данной местности нет, и название образуется описательным путем. Широко известны только *New Yorker* «житель Нью-Йорка» и *Bostoner* «бостонец, житель Бостона», причем, по мнению Р. Чапмана, популярность слова *Bostonian* объясняется даже не столько важностью самого объекта, сколько популярностью в английском языке формы *-onian*. По сравнению с этими словами даже *Washingtonian* имеет ограниченную сферу употребления, а *Chicagoan* вообще не получил распространения [15].

Важную роль в образовании от топонима специальных слов для обозначения жителей данной местности играет место, занимаемое данным объектом в общественной жизни языкового коллектива, и те экстралингвистические, реальные ассоциации, которые возникают в сознании говорящего при упоминании этого объекта. Только наиболее известные (но не обязательно самые крупные) объекты дают производные для обозначения жителей этих местностей. По нашим наблюдениям, из топонимов США сюда входят все названия крупных экономико-географических районов, названия всех штатов и лишь некоторые из названий городов и отдельных городских районов [16]. Индейские по происхождению названия двух штатов, *Massachusetts* и *Connecticut*, производных вообще не имеют. Официальные названия жителей являются производными от официальных прозвищ штатов *Bay Stater* «житель штата у залива» (Массачусетс) и *Nutmegger* «житель мускатного штата» (Коннектикут).

Из словообразовательных суффиксов продуктивными являются *-er* и *-an* [16].

По свидетельству Г. А. Ахмановой и И. А. Данчиновой [17], исследовавших топонимический материал Великобритании и Австралии, суффикс *-an* (*-ian*, *-ean*), судя по приводимым ими примерам из топонимии Австралии, значительно менее продуктивен, чем суффикс *-ite*. В США, наоборот, суффикс *-ite* значительно уступает в продуктивности суффиксу *-an* (*-ian*) [16]. Прилагательные на *-ese* (и омонимичные им по форме названия жителей местностей), образованные по романским прототипам, употребляются в общеанглийском в основном в описании восточных стран, городов, языков и т. д. и не нашли места в области собственно английской топонимии. Из общеизвестных американизмов этот суффикс встречается только в словах: *Manhattanese* «житель Манхаттана» (но *Brooklynese* «бруклинский диалект», а житель Бруклина — *Brooklynite*); *Piedmontese* «житель Пидмонта» (южных предгорий Аппалачей). Среди производных от топонимов в США встречаются также испаноязычные типа *Tejano*, *Los Angeleno* (местное *Angeleno*).

Проанализированный топонимический материал показывает, что в двусоставных топонимах аффиксальное оформление в оттопонимических образованиях всегда получает второй член: *Bay Stater* (*Bay State*), *New Hampshirite* (*New Hampshire*), *Rhode Islander* (*Rhode Island*). При этом исходные формы, имена нарицательные, послужившие основой для топонимических образований, в своих словообразовательных системах таких

суффиксов, как правило, не имеют. Можно, например, сравнить широкую употребительность слова *Stater* (производное от *State* «штат») в топонимических образованиях типа *Bay Stater*, *Lone Star Stater*, *Gem Stater* и полное отсутствие производных такого типа от нарицательного слова *state*. Широкое употребление в английском языке имеет слово *city* «город». Среди многочисленных его производных можно назвать *citizen* со значением «житель города», например, *citizen of Boston*, но только в топонимическом употреблении слово *city* образует производные для названия жителей конкретного города с суффиксом *-an*: *Kansas-Citian* (*Kansas City*). Эти примеры свидетельствуют об иной словообразовательной системе у топонимических образований, в отличие от нарицательной лексики, на что указывал Б. А. Серебренников [2].

Несмотря на возражения некоторых лингвистов, выступающих против описания лексики по понятиям и тем более по обозначаемым предметам, большинство исследователей, стоящих на позициях более тесного сближения языкознания с общественными науками, является сторонниками тематической группировки слов. На плодотворность изучения лексики методом тезауруса для решения языковедческих проблем указывает, в частности, Ю. Н. Караулов, который считает, что тезаурус дает известное приближение к целостному представлению лексической системы в ее идеальном понимании, компактно обобщая ассоциативно-дивергентные связи слов [18, 19].

Группировка общеизвестных топонимов по тематическому принципу, как нам представляется, может идти по двум линиям: а) по денотативному значению, т. е. по характеру обозначаемых объектов (названия особенностей рельефа, гидронимы, ойконимы, урбанонимы) [20, 21]; б) по коннотациям, ассоциирующимся с историческими событиями, особенностями экономики страны, ее культуры и т. п., независимо от характера обозначаемого предмета. В топонимах, выделяемых по денотативному принципу, можно выделить тематические гнезда. Название крупного объекта может включать ряд названий мелких объектов, входящих в его состав. *Chicago* «Чикаго»: *The Loop* (название делового центра Чикаго), *La Salle Street* (финансовый центр Чикаго, соответствует Уолл-Стрит в Нью-Йорке), *South Side*, районы Чикаго в его южной части, заселенные иммигрантами различных национальностей, символ нищеты и межнациональных распрей, и т. п. Топонимы могут быть сгруппированы по любому из этих принципов в зависимости от целей их практического использования в лексикографических или учебных пособиях (названия, выделяемые из различных пластов топонимической лексики и сгруппированные по денотативному признаку, см. [16]). Однако, исходя из примата культурно-исторического фактора, определяющего место топонима в фоновых знаниях носителей языка и культуры, наиболее плодотворным в лингвострановедении, видимо, станет принцип ассоциативности — классификация топонимов по их культурно-историческим ассоциациям, когда в одну группу могут входить имена самых различных по своему характеру объектов (гидронимы, ойконимы, оронимы, урбанонимы и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Никонов В. А.* Введение в топонимику. М., 1965.
2. *Серебренников Б. А.* О методах изучения топонимических названий.— ВЯ, 1959, № 6, с. 36—37.
3. *Подольская Н. В.* Какую информацию несет топоним.— В кн.: Принципы топонимики. Под ред. Никонова В. А. и Трубачева О. Н. М., 1964.
4. *Реформатский А. А.* Топономастика как лингвистический факт.— В кн.: Топономастика и транскрипция. М., 1964, с. 12.
5. *Щерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии.— В кн.: *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 278.
6. *Мурзаев Э. М.* Основные направления топонимических исследований.— В кн.: Принципы топонимики, с. 24.
7. *Mencken H. L.* The American language. An inquiry into the development of English in the United States. London, 1963, p. 139.
8. *Strevens P.* British and American English. London, 1972, p. 87—89.
9. *Aurosseau M.* The rendering of geographical names. London, 1957.

10. *Shipley J. T.* Dictionary of Word Origins. Littlefield (Iowa), 1957, p. 335.
11. *Matthews C. M.* Place-names of the English-speaking world. London, 1972, p. 209.
12. *Леонович О. А.* Топонимы Калифорнии (лингвистический анализ названий населенных пунктов): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1972, с. 7.
13. *Винокур Г. О.* Заметки по русскому словообразованию.— В кн.: *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
14. *Кубрякова Е. С.* Семантика производного слова.— В кн.: Аспекты семантических исследований. М., 1980.
15. *Chapman R. W.* Adjectives from proper names. London, 1939, p. 74.
16. *Томахин Г. Д.* Америка через американизмы. М., 1982.
17. *Ахманова Г. И., Данчинова И. А.* Атрибутивные отношения в топонимической системе англоязычных стран.— ВЯ, 1970, № 6.
18. *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М., 1976.
19. *Караулов Ю. Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.
20. *Подольская Н. В., Суперанская А. В.* Терминология ономастики.— ВЯ, 1969, № 4, с. 140—142.
21. *Подольская Н. В.* Словарь русской ономастической терминологии. М., 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

УШАКОВ В. Д.

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ФРАЗООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

(на материале текста Корана)

Столетию со дня рождения
акад. И. Ю. Крачковского
(1883—1983) посвящается

Выдающийся советский ученый-востоковед И. Ю. Крачковский широко известен как автор перевода Корана на русский язык, как глубокий исследователь этого произведения. Он указывал на необходимость литературоведческого и лингвистического анализа текста Корана, являющегося «первым крупным памятником арабской прозы» [1, с. 660], «продуктом литературного человеческого творчества» [1, с. 662], значение которого заключается в том, что он «окончательно закрепил единый литературный язык» [1, с. 664, 684] и определил «все развитие [арабского языка] в литературной форме» [1, с. 660].

Действительно, лингвистический анализ, например, лексико-фразеологических и стилистических особенностей этого памятника не может не способствовать более глубокому пониманию проблем лексикологии, фразеологии и стилистики современного арабского литературного языка.

Именно в этой связи в настоящей статье ставится задача исследовать роль фразообразовательных средств, используемых в указанном памятнике, в формировании его стилистических особенностей. Выбор такой задачи обусловлен стремлением проанализировать виды фразообразовательных средств в Коране, определить их стилистическую значимость, выявить стилистические характеристики как произведения в целом, так и отдельных его частей и, по возможности, уточнить, объективизировать уже существующие представления об этих характеристиках. И, наконец, мы надеемся, что анализ стилистических функций фразообразовательных средств в этом памятнике позволит в дальнейшем более эффективно решать проблемы изучения различных функциональных стилей современного арабского языка.

Фразообразование понимается нами широко — как явление, включающее в себя отбор лексических единиц в зависимости от их фонетических, грамматических и семантических свойств и объединение их в словосочетания и предложения; использование фигур речи, фразеологических единиц, штампов и клише; приемы и способы построения высказываний. В статье будут рассмотрены также некоторые текстообразующие средства, выполняющие стилистическую функцию.

Для изучения стилистической роли фразообразовательных процессов принципиально важно положение акад. В. В. Виноградова о том, что «есть глубокая методологическая разница между исследованием фразеологических проблем применительно к речевой деятельности или к индивидуальному стилю и к системе языка в целом» [2, с. 119]. Разница эта заключается в том, что фразообразование в р е ч и связано с вопросами стиля, охватывает «живой, подвижный и разнообразный отряд языковых явлений» [2, с. 139], «импрессивные группы», сочетания, «в какие слова вступают друг с другом в живом языке» [2, с. 119]. Что же касается фразообразования применительно к системе я з ы к а (а не речи), то

мы считаем, что это понятие более узкое, синонимичное термину «фразеологизация» [1], обозначающее образование фразеологизмов как единиц словаря, т. е. «устойчивых сочетаний лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [5]. На наш взгляд, следует различать фразеологию языка и фразеологию речи. Первая обслуживает прежде всего лексикографию и фразеографию, вторая тесно связана со стилистикой. Фразеология языка — статична, фразеология речи — динамична. Каждая из них имеет свой объект. Фразеологические единицы языка — те, которые должны фиксироваться в обычных словарях (т. е. не в словарях языка автора, произведения и т. п.). Объект фразеологии речи — стилистически значимые единицы. Нам представляется, что разграничение фразеологии языка и фразеологии речи (при безусловном учете их взаимодействия и взаимосвязи) в какой-то мере может снять остроту вопроса о неопределенности объема фразеологии, о множественности фразеологических концепций и т. п. (см. [6—8]), так как корпус фразеологических единиц всякий раз будет определяться прагматическими или исследовательскими целями, а также системой соответствующих терминов и понятий.

В данной статье объектом анализа является фразообразование в речи, поскольку при исследовании текста мы имеем «дело не с языком как системой знаков, а с речевыми образованиями, которые должны анализироваться не как элементы замкнутой системы (язык), а как произведение деятельности общения (речь)» [9].

Прежде чем непосредственно перейти к анализу стилистической роли фразообразовательных средств, следует обратить внимание на специфику текста исследуемого памятника. Коран [2] состоит из 114 сур (глав), появившихся в разное время в период между 610—632 гг. [1, с. 655]. Суры делятся на аяты — фразы или фрагменты фразы, условно именуемые также стихами. Более ранние суры — мекканские, их — 90; более поздние — мединские, их — 24 [1, с. 500], однако расположены они не в хронологическом порядке, а в порядке убывания их длины, начиная от самой длинной и кончая самой короткой (за исключением первой суры, которая не является самой длинной). Такое расположение сур создает «полную хаотичность» [1, с. 653, 664] в последовательности материала. Это — «не единая книга — [а.— *У. В.*] собрание проповедей Мухаммада, его рассказов с дидактическими выводами, канонических и гражданских постановлений, молитв» [1, с. 664]. Однако, с другой стороны, в ней «имеется определенная совокупность сюжетов, переходящих из одной [суры.— *У. В.*] в другую» [11, с. 59] (картины ада и рая, деяния библейских пророков и т. п.), наблюдается единство идейной и коммуникативной установки. Поэтому Коран представляется нам относительно целостным произведением, единым литературным памятником, хотя и не связанным единой линией повествования, развитием единого сюжета. Мы разделяем ту точку зрения, согласно которой текст не всегда бывает линейно однороден и нужно различать такие его свойства, как связность и цельность (см. [12]). Это и позволяет нам считать, что в исследуемом памятнике наблюдается глобальная, а не линейная когерентность.

Следует отметить, что Мухаммад уже на «ранней стадии проповеднической деятельности» полагал, что «„славный Коран“ хранится в небесной скрижали, предвечной и сокровенной, и ниспосылается ему частями по мере необходимости» [13]. Отсюда распространенность таких выражений, как «Эта книга... руководство для богобоязненных...» (2, 2) [3], «Ниспослание книги...» (39, 1) и т. п. Важно, что Коран исторически сложился как «культурный памятник» [1, с. 653], «литературный памятник» [14], «литературное произведение» [1, с. 655], и это дает нам основа-

---

[1] Термины «фразообразование» и «фразеологизация» употребляются как синонимы, например, в [3, 4].

[2] Подробнее см. [10].

[3] Здесь и далее коранический текст приводится в переводе И. Ю. Крачковского [1]; первая цифра в круглых скобках обозначает номер суры, а цифра после запятой — номер аята по каирскому изданию Корана [см. 1, с. 11].

ние обращаться к нему как к целостному источнику для исследования роли фразообразовательных процессов в формировании его стилистических особенностей.

После краткого изложения некоторых исходных посылок представляется возможным перейти непосредственно к рассмотрению способов фразо- и текстообразования в исследуемом памятнике.

1. Одним из них является прием попарного сочетания лексем, которые могут быть синонимами, аллонимами, т. е. словами-уточнителями, раскрывающими значение предшествующего слова (см. [15]), антонимами.

а) Сочетания синонимов и аллонимов. Наиболее распространены парные сочетания прилагательных: *ra'ūfun raḥīmun* «кроток, милосерден» *ʾal-ʿalīmu l-ḥakīmu* [4] «знающий, мудрый». Сочетания же более чем двух прилагательных и характеризующих существительных встречаются редко: *...l-maliku l-quddūsu s-salāmu l-muʾminu l-muhaymīnu l-ʿazīzu l-jabbāru l-mutakabbiru* «...царь, святой, мирный, верный, охранитель, великий, могучий, превознесенный» [(59, 23); см. также (59, 24) и (62, 1)].

Парные сочетания синонимов могут быть образованы и существительными, а также глаголами: *ʾas-sūʾ wa-l-faḥšāʾ*; «зло и мерзость»; *fi l-baʾsāʾ wa ḍ-ḍarrāʾ* «в беде и в стеснении»; *ʾan nazilla wa-naḫzā* «унизиться и опозориться».

Использование парных сочетаний синонимов служит целям подчеркивания [16, 17] того или иного свойства, качества.

б) Приемы оппозиции и сочетания антонимов. Исследуемый текст построен на противопоставлениях, на «контрастности сюжетов и образов, ведущей к усилению эмоционального эффекта» [11, с. 67]. Контрастность достигается как сюжетными, так и языковыми средствами, в частности, использованием такого приема, как «антитеза», «оппозиция» (арабск. *аль-муṭābaḳa*, *аль-муḳābala* [5]). Часто сопоставляются такие понятия, как «небо» и «земля», «свет» и «мрак», «тайное» и «явное», «вред» и «польза», «умерщвлять» и «оживлять», «скрывать» и «обнаруживать», «ночь» и «день». Пример на антитезу: *...wa-ʾannahu huwa ʾaḍḥaka wa-ʾabkā wa-ʾannahu huwa ʾamāta wa-ʾaḥyā* «...и что это — Он, который заставил плакать и смеяться, и что это — Он, который умертвил и оживил» (53, 43, 44). Оппозиция может встречаться в соседних стихах. Например, в (89, 15) сказано: *fa-yaqūlu rabbī ʾakramani* «тогда он говорит: „Господь мой почтил меня!“», а в (89, 16) — *fa-yaqūlu rabbī ʾahānani* «то он говорит: „Господь мой унизил меня!“». Распространены парные сочетания, некоторые из них вошли во фразеологический фонд языка, например: *fi s-sarrāʾ wa-ḍ-ḍarrāʾ* «в радости и горе».

Представляет интерес такой стилистический прием, когда два синонима противопоставляются двум другим, антонимичным им синонимам: *wa-taʿāwanū ʿala l-birri wa-t-taqwā wa-lā taʿāwanū ʿala l-ʾismi wa-l-ʿudwāni* «И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде» (5, 2). Могут быть противопоставлены образные, переосмысленные словосочетания: *fa-man yuridi llahu ʾan yahdiyahu yašraḥ ṣadrahu li-l-ʾislāmi fa-man yurid ʾan yuḍillahu yajʿal ṣadrahu ḍayyiqan ḥarajan ka-ʾannamā yaṣṣaʿʿadu fi s-samāʾi* «Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет тому грудь для ислама, а кого пожелает сбить с пути, делает грудь его узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо» (6, 125). Нередки случаи, когда две, три антитезы и более следуют одна за другой: *wa-mā yastawī l-ʾaʿmā wa-l-baṣīru wa-lā ẓ-ẓulumātu wā-lā n-nūru wa-lā ẓ-ẓillu wa-lā l-ḥarūru wa-mā yastawī l-ʾaḥyāʾu wa-l-ʾamwātu* «Не сравнится слепой и зрячий, мрак и свет, тень и зной. Не сравнятся живые и мертвые» (35, 19—22).

Противопоставление может быть и дистантным, т. е. противопостав-

---

[4] В статье используется транскрипция, а не транслитерация. Поэтому выпадающие в речи звуки в нашей записи не отражаются: *ʾal-ʿalīmu /ʾa/l-ḥakīmu → ʾal-ʿalīmu l-ḥakīmu.*

[5] Этой стилистической фигуре уделено большое внимание в арабской классической науке о красноречии, например, в трудах Ибн аль-Муʿтазза [18, 19], Аскари [20, с. 250, 297], Ибн Рашика [21], Ибн Асира [22, ч. 2, с. 279—280; 23, с. 211—213], Ибн Замлакани [24], Тафтазани [25].

ляемые слова не обязательно следуют одно за другим [6]. Противопоставляться могут не только отдельные понятия, но и понятия и их характеристики и целые образы: «Не могут сравняться два моря: это — сладкое, пресное, приятное для питья, а это — соленое, горькое» (35, 12) [7].

Следует отметить, что во многих парных словосочетаниях синонимов и антонимов наблюдается рифмованность [*hanīʾan marīʾan* «на здоровье и благополучие» (4,4)], аллитерация (*laʿibun wa-lahwun*), используются слова, имеющие одну и ту же парадигму (*fi s-sarrāʾ wa-ḍ-ḍarrāʾ*), что усиливает их экспрессивность.

2. Для исследуемого текста характерно употребление оценочных средств, в том числе — оценочных прилагательных, которые нередко образуют с определяемыми ими существительными в разной степени устойчивые словосочетания. Определения, выраженные прилагательными, обычно передают такие значения, как интенсивность, положительность, отрицательность, «соответствие норме» и т. п. того или иного действия, качества, свойства, обозначаемого определяемым. Из существительных, определения к которым наиболее разнообразны, можно указать на слово *ʿazābun* «наказание», которое может быть и «мучительным», и «сильным», и «унизительным», и «жестоким», и «суровым». Разнообразие средств передачи интенсивности действия, обозначаемого определяемым, поддерживает эффект его нетривиальности, возможности реализации его различными способами, не позволяет ослабевать воздействию речи на собеседника. С другой стороны, наблюдается тенденция к «закреплению» за каким-либо понятием определенной характеристики. В этом случае используются постоянные эпитеты: *ʾaš-šayṭān* «шайтан, сатана» обычно *ʿar-rajīm* «побиваемый камнями»; *sihr* «колдовство», как правило, определяется прилагательным *mubīn* «очевидное» и т. п.

Иногда используется последовательное соединение ряда словосочетаний имен существительных с эпитетами, создающее особую выразительность. Например:

fī sidrin mahḍūdin	среди лотоса, лишенного шипов,
wa-ṭalḥin manḍūdin	и *талха*, увешанного плодами,
wa-zillin mamdūdin	и тени протянутой,
wa-māʾin maskūbin	и воды текучей,
wa-fākihatin kaṯīratin...	и плодов обильных... (56, 28—32).

Качество, свойство чего-либо может передаваться именем существительным в позиции первого члена сочетания определяемого с несогласованным определением: *sūʾu l-ʿazābi* «злое наказание» (букв. «зло наказания») (7, 141). Особую стилистическую роль играют словосочетания, в которых прилагательное находится в препозиции к существительному. Например: *šadīdu l-ʿiqābi* «силен в наказании» (букв. «силен наказанием») (2, 211; 5, 2; 8, 25) и т. п.

3. В копулятивных и других словосочетаниях широко используется такая разновидность паронимической аттракции, как анноминация — «соединение слов одного корня, но грамматически различных» [27]: *zillun zalīlun* «тень тенистая» (4, 57); *wāziratun wizran* «носящая ношу» (6, 164). Встречается сочетание агенса и пациенса *ḍaʿufa ṭ-ṭālibu wa-l-maṭlūbu* «Слаб и просящий и просимый!» (22, 73). Иногда прием анноминации используется последовательно в пределах одного стиха: *...fa-man kafara fa-ʿalayhi kufruhu wa-lā yazīdu l-kāfirīna kufruhum... ʾillā maqtan...* «...кто был неверным — против него его неверие; неверие увеличит для неверных... только ненависть» (35, 39).

4. Некоторые двучленные именные словосочетания представляют собой такую фигуру, как полиптот,— парономазию, состоящую в употреблении одного и того же слова в разных падежах. Например: «И предписали Мы им в ней, что душа — за душу, и око — за око, и нос — за нос,

---

[6] О видах противопоставлений см. [26, с. 103, 104].

[7] В определенных случаях в целях экономии мы сочли возможным ограничиться русским переводом.

и ухо — за ухо, и зуб — за зуб, и раны — отмщение» (5, 45); *fa-ʾaṣābakum ġamman bi-ġammin*. «И Он воздал вам огорчением за огорчение» (3, 153).

5. Характерна распространенность перифразы, которая представляет собой «синтаксическое целое, содержащее не менее двух компонентов». Она «или заменяет прямое название в контексте, выполняя в предложении синтаксические функции заменяемой части речи..., или употребляется вместе с прямым названием в качестве приложения» [28]. Перифразы либо используются, «чтобы избежать повторения в микроконтексте» [28], либо несут стилистическую нагрузку. Они могут быть именными: *rabbu l-ʿālamīna* «владыка миров», *ʾahlu l-kitābi* «люди писания», т. е. «иудеи и христиане», либо глагольными (см. ниже).

Помимо относительно устойчивых, повторяющихся, есть сугубо художественные, выполняющие эстетическую функцию перифразы. Иногда, например, в клятвах, они могут следовать одна за другой:

Wa-ẕ-ẕāriyāti ẕarwan	Клянусь рассеивающими рассеяние (=ветры),
fa-l-ḥāmilāti wiqran	и несущими ношу (= тучи),
fa-l-jāriyāti yusran	и текущими с легкостью (= корабли),
fa-l-muqassimāti ʾamran	и разделяющими повеления (=ангелы)! (51, 1—4).

Глагольные перифразы по-разному оформляют отношения между названием ситуации и ее участниками [см. 29, с. 45—46], что позволяет использовать для передачи одного и того же содержания различные способы, неравнозначные по своей стилистической роли. Стилистически неравноценны: *ʿaẕẕabahu* «он мучил его»; *qāma bi-ʿaẕābihi* букв. «совершал мучение его»; *fa-ʾaḫaẕahumu l-ʿaẕābu* «и постигло их наказание»; *fa-yuṣibukum bi-ʿaẕābin* «Он поразит вас наказанием». Характерно, что в исследуемом тексте нередко отдается предпочтение перифрастическому средству перед отдельным глаголом (*ʾaqāma ṣ-ṣalāta* «совершать молитву» гораздо частотней, чем *ṣallā* «молиться» и т. п.). Используются перифразы, представляющие либо «действие как неподвластное его пациенсу» [30] [*massathumu l-baʾsāʾu wa-ḍ-ḍarrāʾu* «Их коснулась беда и стеснение» (2, 214)], либо объект (обычно человека) — как бессильный перед субъектом (божеством): *fa-ʾanzalnā ʿala llaẕīna ẓalamū rijzan mina s-samāʾi* «И низвели Мы на тех, которые были несправедливы, наказание с неба» (2, 59).

Глагольные перифразы передают также отношения каузативности, инцептивности, реализации и т. п. [29, с. 45—55]. Со стилистической точки зрения представляет интерес употребление синонимов для выражения упомянутых отношений.

Глаголы в подобного рода словосочетаниях нередко не лишены образности, сохраняя связь с исходным конкретным значением. Например: *fa-ʾiẕā ẕahaba l-ḫawfu...* «А когда пройдет страх...» (33, 19); *fa-ʾiẕā nsalaḫa l-ʾašhuru l-ḥurumu...* «А когда кончатся (букв. «будут содраны».— *У. В.*) месяцы запретные...» (9, 5).

Отношения финитности, каузативности и др. могут быть переданы с помощью метафорических словосочетаний. Например: *...ḥattā taḍaʿa l-ḥarbu ʾawzārahā* «...пока война не сложит своих нош» (47, 4); *...fa-ʾaẕāqahā ll̄ahu libāsa l-jūʿi wa-l-ḫawfi* «...и тогда дал вкусить ему Аллах одеяние голода и боязни» (16, 112) и др.

6. В тексте встречаются идиоматические единицы, обычно представляющие собой тропы метафорического и метонимического характера [см. 31].

Примеры на тропы метафорического характера: *nabaẕa... kitāba... warāʾa ẓuhūrihim* «отбрасывали писание... за свои спины» (2, 101), т. е. «пренебрегали (им)» [см. 32, с. 130] [8]; *...wa-štaʿala r-raʾsu šayban* «...и голова запылала сединой» (19, 4). В некоторых метафорах как бы происхо-

[8] Примеры на тропы метафорического и метонимического характера приводили в своих трудах по вопросам красноречия многие арабские средневековые ученые: Аскари [20, с. 258—268], Ибн Асир [22, ч. 1, с. 400], Джурджани [33, 34], Амиди [35], Суюти [36] и др.

дит «присвоение объектам „чужих“ признаков» [37]: *fa-ṣabba ʿalayhim rabbuka sawṭa ʿazābin* «Пролил на них Господь твой бич наказания» (89, 13).

Нельзя не обратить внимания на то, что перевод некоторых идиом в [1] носит предварительный, черновой характер [9]. Например: *wa-lammā suqiṭa fī ʾaydīhim wa-raʾaw ʾannahum qad ḍallū...* «Когда же по их рукам был нанесен удар (предпочтительнее: «когда им некуда было деваться», т. е. «когда они оказались в безвыходном положении».— *У. В.*) и они увидели, что заблудились...» (7, 149); *...wa-yaqbiḍūna ʾaydiyahum* «...и зажимают свои руки» (9, 67). Предпочтительнее: «и жадничают, ничего не выпуская из рук» и т. п.

Примеры на тропы метонимического характера: *ʿaḍḍū ʿalaykumu l-ʾanāmila mina l-ġayẓi* «кусают от злобы к вам пальцы» (3, 119); *lā yuwallūna l-ʾadbāra* «не будут поворачивать спину» (33, 15) (букв. «заднюю часть, ягодицы»), т. е. «не будут обращаться в бегство, отступать». Фразеологизмы, употребленные в исследуемом тексте, пережив столетия, вошли во фразеологический фонд арабского языка. Многие из них, такие, например, как *ʾin šāʾa ll[a]hu* «если пожелает Аллах»; *bi-ẓni lla[hi]* «с соизволения Аллаха» и др., широко употребляются в живом современном языке. Можно предположить, что некоторые фразеологические единицы современных народно-разговорных языков, используемых в арабских странах, представляют собой трансформы коранических фразеологизмов [ср. египет. нар.-разг. *ḥaṭṭ ʿeyno ʿalā* «желать, домогаться (чего-л.)» букв. «класть свой глаз на (что-л.)» и кораническое *madda ʿayṇayni ʾilā* букв. «простирать глаза к (чему-л.)» в том же значении].

7. Одна из самых характерных и распространенных фигур речи в памятнике — образное сравнение [10]. Здесь встречаются самые различные по своей структуре, образности, гиперболичности сравнения. С точки зрения содержательной это и угрозы, и устрашения, и осуждения, и красочные описания мук ада и райских благ, и сравнения-афоризмы. Большинство сравнений не тривиальны, достигают высокой степени выразительности. С точки зрения структурной сравнения делятся на нераспространенные — такие, в которых «то, с чем осуществляется сравнение», представляет собой слово или словосочетание [например, *ka-r-ramīmi* (51, 42) букв. «подобное праху»],— и развернутые, составленные из нескольких предложений, обозначающих цепочки образов, целостную картину. Интересен такой пример, в котором функция частицы сравнения выполняется грамматической конструкцией «глагол + отглагольное имя»: *wa-tarā l-jibāla taḥsabuhā jāmidatan wa-hiya tamurru marra s-saḥābi* «И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными,— вот они идут, как идет облако» (букв. «проходят прохождением облака».— *У. В.*) (27, 88). Встречаются и прескриптивные сравнения: *wa-lā takūnū ka-llaẓīna tafarraqū wa-ḫtalafū min baʿdi mā jāʾahumu l-bayyinātu* «И не будьте таковы, как те, которые разделились и стали разногласить, после того как пришли к ним ясные знамения» (3, 105).

«То, с чем осуществляется сравнение» нередко распространяется придаточным определительным предложением, разного рода уточнениями: *qawlun maʿrūfun wa-maġfiratun ḫayrun min ṣadaqatin yatbaʿuhā ʾaẓan* «Речь добрая и прощение — лучше, чем милостыня, за которой следует обида» (2, 263) — афористическое сравнение. Одно сравнение может следовать за другим, с разных сторон характеризуя описываемую картину: *yawma yakūnu n-nāsu ka-l-farāši l-mabṯūṯi wa-takūnu l-jibālu ka-l-ʿihni l-manfūši...* «В тот день, как люди будут, как разогнанные мотыльки, и будут горы, как расщипанная шерсть...» (101, 4—5).

Есть несколько пространных сравнений, представляющих собой развернутые, объемные образы, картины, следующие одна за другой, уточ-

---

[9] И. Ю. Крачковский не считал свою работу по переводу Корана завершенной (см. [1, с. 10]).

[10] Теория образного сравнения подробно разработана арабскими средневековыми учеными (см. [20, с. 228—249; 22, ч. 1, с. 388—398; 38]).

няющие одна другую. Причем последующий образ как бы предназначен для того, чтобы подкрепить, усилить воздействие предыдущего, разъяснить его, сделать более доходчивым. Например: «А у тех, которые не веровали, деяния — точно мираж в пустыне. Жаждущий считает его водой, а когда подойдет к нему, видит, что это — ничто, и находит у себя Аллаха, который полностью требует с него расчета. Поистине, Аллах быстр в расчете!

...Или — как мрак над морской пучиной. Покрывает ее волна, над которой волна, над которой облако. Мрак — один поверх другого. Когда он вынет свою руку, почти не видит ее. Кому Аллах не устроил света, нет тому света!» (24, 39, 40).

Следует отметить, что развернутые сравнения характерны для более поздних сур — мекканских пророческих[11] и, особенно,— мединских. В мединской (2) их — шесть, а мединская (24) содержит два исключительных по своей художественности распространенных сравнения.

Нередко за сравнениями следуют назидания, выводы и т. п., которые как бы резюмируют то, о чем шла речь ранее. Например, за сравнениями следуют такие выражения: «Так распределяем Мы знамения для людей, которые размышляют!» (10, 24); «Поистине, в этом — знамение для всякого терпеливого, благодарного!» (42, 33).

В сравнениях нередко используются и другие стилистические средства: антитезы, копулятивные словосочетания, словосочетания имени существительного с эпитетом, идиоматические словосочетания и т. п. Другими словами, в них наблюдается конвергенция — использование «пучка стилистических приемов, выполняющих общую стилистическую функцию» [15]. Так, в следующем сравнении, представляющем собой риторический вопрос, содержится антитеза: *ʾawa man kāna maytan fa-ʾaḥyaynāhu wa-jaʿalnā lahu nūran yamšī bihi fi n-nāsi ka-man maṯaluhu fi ẓ-ẓulumāti laysa bi-ḫārijin minhā* «Разве тот, кто был мертвым, и Мы оживили его и дали ему свет, с которым он идет среди людей, похож на того, кто во мраке и не выходит из него?» (6, 122).

Используется и такой прием, как оппозиция сравнений. Так, в (14, 24) говорится о том, что «доброе слово — оно, как дерево доброе: корень его тверд, а ветви в небесах...», а в (14, 26) «скверное слово» сравнивается со «скверным деревом, которое вырывается из земли». Красива оппозиция сравнений в (2, 264 и 265). В первом случае «тот, кто тратит свое имущество из лицемерия перед людьми...», сравнивается со скалой, «на которой земля: но постиг ее ливень и оставил голой», а во втором «те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по укреплению от своих душ», уподобляются «саду на холме: его постиг ливень, и он принес свои плоды вдвойне».

8. В тексте встречаются и афористические суждения. Например: *wa-ʿasa ʾan takrahū šayʾan wa-huwa ḫayrun lakum wa-ʿasaʾ ʾan tuḥibbū šayʾan wa-huwa šarrun lakum* «И, может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло» (2, 216); *ʾinna ẓ-ẓanna lā yuġnī mina l-ḥaqqi šayʾan* «Ведь предположение ни в чем не избавляет от истины» (10, 36).

Далее рассмотрим наиболее характерные для памятника синтаксические структуры.

9. Большое распространение имеет глагольная конструкция с так называемым абсолютным масдаром, т. е. конструкция «глагол + отглагольное существительное», выполняющая эмфатическую функцию «подтверждения» какого-либо действия, указания на его интенсивный характер: *wa-qad makarū makrahum* «а они хитрили своей хитростью» (14, 46); *wa-kabbirhu takbīran* «И величай Его величанием!» (17, 111). Отглагольные существительные часто определены оценочными определениями: *fa-qad ḍalla ḍalālan baʿīdan* «тот заблудился далеким заблуждением»

---

[11] Мекканские суры делятся на суры: I периода — поэтические, II — рахманские и III — пророческие.

(4, 116); *man yašfaʿ šafāʿatan ḥasanatan* «кто заступится хорошим заступничеством» (4, 85).

10. Существенную стилистическую роль играют эксплицитные прескриптивные конструкции. Под эксплицитными прескрипциями понимается не просто выражение повеления или запрещения [например: «Не убивайте Иӯсуфа...» (12, 10)], а указания идеологического, морально-этического, обрядного и т. п. характера, выражаемые с помощью предложений, включающих в себя глаголы в повелительном или в повелительно-запретительном наклонении, либо с помощью модальных конструкций, вводимых словами «пусть», «следует». Иногда прескрипция эксплицируется лексической семантикой глаголов: «...запретил вам...» (2, 173); «Предписано вам...» (2, 178, 180) и т. п.

Наиболее прескриптивными можно условно считать суры, в которых отношение количества стихов к количеству прескрипций не превышает пяти [12]. Это суры 106, 108, 94, 93, 73 (мекканские поэтические), что составляет 5,55% от всех мекканских и 10,4% от мекканских поэтических сур, и 2, 64, 8, 4, 65, 24, 58, 66, 60, 110, 49, 5 (мединские) — 50% от количества мединских сур. Если учесть, что среди этих сур две мекканские и только одна мединская содержат менее пяти стихов и включают в себя всего по одной прескрипции, то станет ясным, что прескриптивность мединских сур ощутимо выше прескриптивности мекканских. Следует отметить также достаточно высокую прескриптивность мединской (63) (отношение количества стихов к количеству прескрипций — 5,5) и мекканских — рахманской (17) и пророческой (31) (упомянутое отношение соответственно — 6,16 и 5,66). Примеры переводов прескрипций: «Пусть расходует состоятельный из своего достатка» (65, 7); «Не обижайте, и вы не будете обижены!» (2, 279). Прескрипции могут быть идиоматичными, например: *wa-lā tajʿal yadaka maġlūlatan ʾilā ʿunuqika wa-lā tabsuṭhā kulla l-basṭi fa-taqʿuda malūman maḥsūran* «И не делай твою руку привязанной к шее и не расширяй ее всем расширением, чтобы не остаться тебе порицаемым, жалким» (17, 29), т. е. «не будь скупым и не будь чрезмерно щедрым» [см. 32, с. 132, 133].

11. Важную роль выполняют риторические вопросы, которые считаются характерными для такой разновидности публицистического стиля, как ораторская речь [см. 26, с. 89—91, 169, 170; 39]. Риторические вопросы имеются в значительном большинстве сур. Нередко они следуют друг за другом, если не подряд,— то в соседних стихах, что усиливает эффект воздействия на реципиента. Например: (68, 35—37, 39, 41, 46, 47). В суре (55) использован такой прием, как тридцатикратное повторение одного и того же риторического вопроса. Это — исключительный случай, повторы же двух-, трехкратные одного и того же вопроса весьма типичны. Следует отметить, что среди сур «высокой риторичности», в которых отношение количества стихов к количеству риторических вопросов не превышает пяти,— 16 (17,7%) мекканских сур и 2 (8,33%) — мединских.

Представляет интерес и тот факт, что подавляющему большинству мединских сур прескриптивность присуща в большей степени, чем риторичность. Так, только в четырех мединских сурах (47; 61; 57; 48) количество риторических вопросов превышает количество прескрипций. В суре (58) количество их одинаково, в (98) отсутствуют обе фигуры, а в остальных восемнадцати прескрипции преобладают над риторическими вопросами. В мекканских сурах картина принципиально иная: в шестидесяти двух сурах риторические вопросы количественно преобладают над прескрипциями, а в пятнадцати — количество тех и других одинаково.

12. Важную стилистическую роль играют распространенные клятвы. Например: «Так нет! Клянусь месяцем! И ночью, когда она повертывается, и зарей, когда она показывается!» (74, 32—34). (См. также: 92, 1—3; 91, 1—8; 85, 1—3; 81, 15—18; 84, 16—18; 100, 1—3; 79, 1—5; 77, 1—6;

---

[12] Выбор числа «пять» произволен, но, во-первых, эта цифра одинакова для всех сур, а во-вторых, мы учитываем и тот факт, что в короткой суре более вероятно случайное проявление интенсивности того или иного стилистического свойства.

89, 1—3; 51, 1—4; 52, 1—6; 37, 1—3 и др.). Все эти суры, за исключением (37), (мекканской рахманской),— мекканские поэтические, т. е. относятся к раннему периоду. В дальнейшем же количество клятв убывает [см. 1, с. 666, 667]. К клятвам по своей стилистической роли примыкают проклятия. Например: *ʾinna llaẕīna yarmūna l-muḥṣanāti l-ġafilāti l-muʾmināti luʿinū fi d-dunyā wa-l-ʾāḫira wa-lahum ʿaẕābun ʿaẓīmun...* «Те, которые бросят обвинение в целомудренных, небрегущих, верующих — прокляты они в ближайшей жизни и в последней! Для них — великое наказание...» (24, 23). (См. также: 111, 1; 104, 1—4; 107, 4—7; 2, 88, 89).

13. Из текстообразующих средств большое значение имеют повторы. Особо, как нам представляется, следует обратить внимание на дистантный повтор словосочетаний, предложений и других синтаксических структур. С одной стороны, этот прием выполняет когезирующую, текстообразующую функцию, а с другой — стилистическую функцию эмфазиса, внушения, убеждения. Дистантный повтор может быть полным и частичным, в пределах одной суры и в разных сурах. Частично совпадают следующие повторенные в разных сурах прескрипции: *wa-lā tamši fi l-ʾarḍi maraḥan ʾinnaka lan taḫriqa l-ʾarḍa wa-lan tabluġa l-jibāla ṭūlan* «И не ходи по земле горделиво: ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой!» (17, 37); ср.: *wa-lā tuṣa ʿir ḫaddaka li-n-nāsi wa-lā tamši fi l-ʾarḍi maraḥan* «Не криви свою щеку пред людьми и не ходи по земле горделиво» (31, 18). Следует обратить внимание на распространенность повторения риторических вопросов (см. выше) и прескрипций. В (77) приблизительно через равные промежутки десять раз встречается заклинание *waylun yawmaʾiẕin li-l-mukaẕẕibīna* «Горе в тот день обвиняющим во лжи!» В суре (54) повторяется несколько различных выражений. В разных местах памятника содержится осуждение некоторых человеческих качеств, таких, как неумеренность, хвастовство (часто такие повторы следуют за прескрипциями); ...*wa-lā tusrifū ʾinnahu lā yuḥibbu l-musrifīna* «...не будьте неумеренны. Поистине, Он не любит неумеренных!» (6, 141). В (7, 31) та же фраза переведена: «...не излишествуйте: ведь Он не любит излишествующих!» Пример частичного повтора: *ʾinna ll̄aha lā yuḥibbu man kāna muḫtālan faḫūran* «Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив» (4, 36); *ʾinna ll̄aha lā yuḥibbu kulla muḫtālin faḫūrin* «Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых!» (31, 18).

Исследователи лингвостилистических особенностей дистантного повтора обращают внимание на такой прием, как «помещение» его «в так называемые „сильные композиционные позиции", какими являются начало и конец художественного произведения или его отрезка (например, абзаца, главы, части и т. п.)» [40]. Что касается исследуемого памятника, то в нем широко используются повторы в начале или в конце суры или стиха. Так, каждая сура, кроме (9) и (12), начинается с устойчивого клише *bi-smi llahi r-raḥmāni r-raḥīm* «Во имя Аллаха милостивого, милосердного» (анафорический дистантный повтор). Стихи часто заканчиваются копулятивными сочетаниями эпитетов (эпифорический дистантный повтор). Повторяться могут синтаксические конструкции с разным лексическим наполнением, используется и полный повтор. Например, в суре (2) в конце стихов 224—228 повторяются парные сочетания эпитетов с одними и теми же рифмами и словообразовательными формами: *samīʿun ʿalīmun* «слышащий, знающий!»; *ġafūrun ḥalīmun* «прощающий, кроткий!»; *ġafūrun raḥīmun* «прощающ, милосерд!»; *samīʿun ʿalīmun* «слышащий, знающий!»; *ʿazīzun ḥakīmun* «великий, мудрый!».

Дистантный повтор встречается и в сравнениях. Так, жизнь земная сравнивается с водой, низведенной с неба, с которой смешались растения земли, в (10, 24) и в (18, 45).

Иногда наблюдается и контактный повтор, например, одной и той же синтаксической структуры. Так, в (56, 1—7; 81, 1—13; 82, 1—4; 77, 8—11) следуют одно за другим придаточные предложения времени. В (88, 13—16) повторены причастия по формуле *mafʿūlatun*; в (88, 17—20) следуют подряд вопросительное слово *kayfa* «как» и глаголы в страдательном зало-

ге, а в (70, 32—34) повторяются предложения, начинающиеся с относительного местоимения *ʾallaẕīna* «которые» и личного местоимения *hum* «они». Причастия действительного залога замыкают стихи 1—5, 7, 8 в суре (23). Наблюдается и лексический контактный повтор. Так, словами *ʾa-man* «тот ли» начинаются стихи 60—64 в суре (27), *wa-ja ʿalnā* «и сделали» — стихи 9—11, 13 в суре (78). Отметим, что лексический анафорический повтор сочетается здесь с повтором синтаксической конструкции V + N_{acc} + N_{acc}. Интересен с художественной точки зрения частичный контактный повтор, содержащий антитезу: «...и кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто сделал на вес пылинки зла, увидит его» (99, 7, 8).

В заключение следует подчеркнуть, что целостность текста Корана в значительной степени поддерживается разнообразными фразообразовательными и текстообразующими средствами, которые прослеживаются на протяжении всего памятника. Особо важная когерирующая роль принадлежит дистантным лексическим, фразовым и синтаксическим повторам.

С одной стороны, такие приемы, как употребление эпитетов, оппозиции, гиперболы, образных сравнений, идиом, типичны для художественной речи. Распространенность же прескрипций придает памятнику характер дидактического, правоучительного произведения, а риторические вопросы — черты ораторской речи. Наличие клятв, заклинаний, использование градации, анаколуфа сближают отдельные суры с такой разновидностью ораторской речи, как проповеди жрецов и доисламских ораторов.

Статистический анализ употребления фразообразовательных средств в разных сурах позволяет уточнить и, в определенной мере, конкретизировать и объективизировать мнение ряда ученых о стилистических различиях, наблюдаемых в сурах разных периодов [1, с. 665—668; 14]. Для мекканских поэтических характерна экстатичность, для более поздних мекканских — риторичность, а для мединских — прескриптивность, дидактичность. Эпическими (лишенными сравнений, прескрипций, содержащими мало риторических вопросов) можно считать лишь отдельные суры (например, суру 12). Неоднородность стилистических характеристик разных сур тем не менее не мешает нам рассматривать Коран в целом как произведение, сочетающее в себе черты художественно-дидактической, экспрессивно-риторической и религиозно-экстатической речи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. М., 1963.
2. *Виноградов В. В.* Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины.— В кн.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
3. Словообразование и фразообразование: Тезисы докладов научной конференции. М., 1979.
4. Проблемы русского фразообразования. Тула, 1973.
5. *Кунин А. В.* Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания. М., 1972, с. 8.
6. *Ройзензон Л. И.* Лекции по общей и русской фразеологии: Учебное пособие. Самарканд, 1973, с. 5—76.
7. *Чернышева И. И.* Актуальные проблемы фразеологии.— ВЯ, 1977, № 5, с. 35.
8. *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964, с. 215.
9. *Степанов Г. В.* О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста.— ИАН СЛЯ, 1980, № 3, с. 197.
10. Ислам. Краткий справочник. М., 1983, с. 73—75.
11. *Шидфар Б. Я.* Образная система арабской классической литературы (VI—XII вв.). М., 1974.
12. *Николаева Т. М.* Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики.— ИАН СЛЯ, 1977, № 4, с. 308.
13. *Халидов А. Б.* Книжная культура.— В кн.: Очерки истории арабской культуры V—XV вв. М., 1982, с. 231.
14. *Гибб Х. А. Р.* Арабская литература. Классический период. М., 1960, с. 29.
15. *Арнольд И. В.* Тематические слова художественного текста (Элементы стилистического декодирования).— ИЯШ, 1971, № 2, с. 8.
16. *Abū aṭ-Ṭayyib al-Wāḥid ibn ʿAlī.* Kitāb al-ʾitbāʿ.— Majmaʿ al-luġa ʾal-ʿarabiyya. Dimašq, 1961, с. 3, 10.
17. *Aṣ-Ṯaʿālibī Abū Manṣūr ʿAbdalmalik.* Fiqh al-luġa wa-sirr ʾal-ʿarabiyya. Al-Qāhira, 1952, с. 566.

18. *Ibn al-Muʿtazz ʿAbdallāh.* Al-Badīʿ. Al-Qāhira, 1945, c. 10, 74—78.
19. *Ibn al-Muʿtazz ʿAbdallāh.* Kitāb al-Badīʿ. London, 1935, c. 36.
20. *Al-ʿAskarī Abū Hilāl.* Kitāb aṣ-ṣināʿatayn al-kitāba wa-š-šiʿr. 2-е изд. Al-Qāhira, б.г.
21. *Ibn Rašīq al-Qayrawānī al-ʾAzdī.* Al-ʿUmba fī maḥāsin aš-šiʿr wa-ʾadabihi wa-naqdihi. Ч. 2. Al-Qāhira, 1955, c. 5—8, 15.
22. *Ibn al-ʾAṯīr Abū al-Fatḥ Ḍiyāʾaddīn.* Al-maṯal as-sāʾir fī ʾadabi l-kātib wa-š-šāʿir. Ч. 1, 2. Al-Qāhira, 1939.
23. *Ibn al-ʾAṯīr Abū al-Fatḥ Ḍiyāʾaddīn.* Al-Jāmiʿ al-kabīr fī ṣināʿati l-manẓūm min al-kalām wa-l-manṯūr. Baġdād, 1956.
24. *Ibn az-Zamlakānī.* At-Tibyān fī ʿilmi l-bayān. Al-Muṭliʿ ʿalā ʾiʿjāz al-Qurʾān. Baġdād, 1964, c. 170, 171.
25. *At-Taftazānī Saʿadaddīn.* Muḫtaṣar al-maʿānī. Qizṭāī, 1889, (литограф. изд.), c. 385—390.
26. *Горелов В. И.* Стилистика современного китайского языка. М., 1979.
27. *Ткаченко Л. П.* Стилистическое использование паронимической аттракции в современном русском языке.— ФН, 1982, № 4, с. 76.
28. *Рапшите Л. П.* Перифраза и ее лингвистические особенности.— Сб. научных трудов МГПИИЯ им. Мориса Тореза. Вып. 74. М., 1973, с. 253.
29. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
30. *Телия В. Н.* Вторичная номинация и ее виды.— В кн.: Языковая номинация (Виды наименований). М., 1977, с. 207.
31. *Ушаков В. Д.* О некоторых стилистических фигурах в трудах Абдалькахира Джурджани.— ВЯ, 1980, № 5, с. 66—71.
32. *Sabbagh T.* La métaphore dans le Coran. Paris, 1943.
33. *Al-Jurjānī ʿAbdalqāhir.* Dalāʾilu l-ʿiʿjāz fī ʿilmi l-maʿānī. Al-Qāhira, 1948, c. 327—346.
34. *Al-Jurjānī ʿAbdalqāhir.* ʾAsrār ʾal-Balāġa fī ʿilmi l-bayān. Al-Qāhira, 1953, c. 49—50.
35. *Al-ʾĀmidī Abū l-Qāsim.* Al-muwāzana bayna šiʿr ʾAbī Tamām wa-l-Buḥturī. Ч. 1. 2-е изд. Al-Qāhira, 1972, c. 269.
36. *As-Suyūṭī.* Kitābu l-itqāni fī tafsīri l-Qurʾān. Ч. 2. Al-Qāhira, 1888, c. 46—48.
37. *Арутюнова Н. Д.* Функциональные типы языковой метафоры.— ИАН СЛЯ, 1978, № 4, с. 335.
38. *Ушаков В. Д.* Компаративные единицы в арабской классической филологии.— В кн.: Теоретические проблемы восточного языкознания. Ч. 3. М., 1982.
39. *Игнатьев А. С.* Особенности ритмико-синтаксической организации современной арабской ораторской речи (на материалах социально-политического красноречия в Египте): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1980, с. 15, 17.
40. *Змиевская Н. А.* Лингвостилистические особенности дистантного повтора и его роль в организации текста (на материале английской и американской прессы): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1978, с. 13.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

ЧЕЕРЧИЕВ М. Ч.

К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСТРАПОЛЯЦИЙ

(на материале аварского языка)

История лингвистики знает немало подходов к описанию языка, что объясняется характером объекта, целью и аспектом исследования [1, с. 5]. Вместе с тем некоторые лингвистические методы прочно вошли в научно-исследовательскую практику, в то время как иные из них не нашли широкого применения [1, с. 6].

Известные лингвистике методы позволяют практически описать любой язык мира. Поэтому нет необходимости вырабатывать новые методы и приемы для изучения каждого нового языка. Перенос же методов, сложившихся в процессе исследования одних языков, в область других нуждается в известном теоретическом обосновании и подкреплении практикой.

В качестве одного из недостатков в применении лингвистических методов называют несовершенство исходных теоретических положений [1, с. 288].

Используя ранее выработанные методы при исследовании новых языков, следует учитывать, что: 1) они должны применяться не механически, а с учетом специфических свойств и особенностей изучаемого языка; 2) априорное предположение возможности достижения одинаковых результатов в разносистемных языках в результате приложения аналогичных методов может привести к волюнтаризму и вытекающему отсюда искажению объективных закономерностей; 3) недостаточное предварительное изучение фактов языка, необходимое для его описания с помощью данного метода на данном уровне или в данном аспекте, не может дать объективного представления о закономерностях его развития.

С этих позиций представляется актуальным применить концепцию Московской фонологической школы (МФШ) к описанию фонетической системы аварского языка.

Известно, что важнейшей особенностью фонетической системы русского языка являются широко представленные позиционные чередования как в области гласных, так и в области согласных. Отсюда и определение фонемы в МФШ как ряда позиционно чередующихся звуков [2], т. е. в основу соотнесения разных звуков с одной фонемой положен парадигматический принцип, что позволило М. В. Панову отличать московскую парадигмо-фонему от пражской синтагмо-фонемы и соответственно парадигмо-фонологию и синтагмо-фонологию [3].

В системе гласных русского языка, в отличие, например, от аварского, представлена редукция как количественная, так и качественная. Отличительной чертой системы согласных русского языка является корреляция по твердости—мягкости, ассимиляция по признаку голоса и небной артикуляции и т. д. Кроме того, в отличие от многих языков, в русском аккомодация направлена от согласных к гласным. Эти моменты во многом определяют специфику фонетического строя русского языка.

В системе вокализма аварского языка отсутствует качественная редукция: все гласные звуки, подобно русским гласным верхнего подъема, сохраняют характерный для них тембр как под ударением, так и в безударном слоге: *гIолохъанчи* [гIолóхъанч'и] «юноша, мóлодец«, *бетIергьан* [б'етI'éр'гьан] «хозяин», *гIемерлъизабизе* [гI'ем'éр'лъ'изаб'из'е] «приумножать». В системе аварского языка нет противопоставления со-

гласных по мягкости—твердости; собственно, в аварском, как это имеет место в русском, нельзя квалифицировать согласные как твердые и мягкие. Они в зависимости от позиции могут быть смягченными и несмягченными, что обусловлено направленностью аккомодации в аварском от гласных к согласным: *гIер* [гI'ер'] «жердь», мн. ч. *гIурдул* [гIу́рдул]; *ракI* [ракI] «сердце», род. п. *рекIел* [р'екI'е́л'] и т. д. Все это во многом осложняет описание фонетической системы аварского языка с позиции МФШ. Этим скорее всего и следует объяснить отсутствие опытов подобного описания [1].

Одним из основных понятий в концепции МФШ является понятие сильной и слабой позиций фонемы, которыми и определяется позиционное чередование. В основном своем виде фонема выступает в сигнификативно и перцептивно сильной позиции. В перцептивно слабой, но сигнификативно сильной позиции выступает вариация фонемы; в сигнификативно слабой же позиции имеем дело с вариантом фонемы. Следовательно, для определения фонемы с точки зрения МФШ следует установить ее сильную позицию.

Согласные аварского языка, как было отмечено выше, не коррелируют по твердости—мягкости, но они подвержены влиянию соседних гласных, т. е. действию аккомодации. Поэтому в потоке речи они могут быть смягченными и несмягченными, причем действие этого закона последовательно и не знает исключения. Например: *билизе* [б'и́л'из'е] «теряться», но *балай* [бала́й] «увлечение», *мискинлъи* [м'ис'к$^{h'}$и́н'лъ'и] «бедность», но *мусрудул* [мусру́дул], род. п. от *мусру* «саван», *хIалуцине* [хIалу́ц'ин'е] «напрягаться», *жагадулаб* [жага́дулаб] «вишневый», *жигарчилъи* [ж'ига́рч'илъ'и] «энергичность», *чорокаб* [чоро́к'аб] «грязный». Примеры свидетельствуют, что в соседстве с гласными непереднего ряда согласные являются несмягченными; в соседстве же с гласными переднего ряда они смягчаются. Причем регрессивное действие аккомодации значительнее прогрессивного, т. е. влияние последующего гласного на предшествующий согласный сильнее, чем действие предшествующего гласного на последующий согласный. Последующий согласный аккомодирует предшествующему гласному только в том случае, если после этого согласного не следует гласный, препятствующий действию этого закона: *къокъ* [къокъ] «кратко», но *къокъине* [къо́къ'ин'е] «отправиться», *бер* [б'ер'] «глаз», но *берал* [б'е́рал] «глаза», ср. *берзул* [б'е́р'зул] (род. п. от *бер*), *къабихI* [къаб'и́хI'] «скверно», но *къабихIаб* [къаб'и́хIаб] «скверный». Правда, звуки [л] и [й] как перед, так и после гласных переднего ряда, хотя за ними следуют гласные непереднего ряда, всегда произносятся смягченно. Поэтому звук [л] в дагестанских языках Г. Г. Буржунов характеризует как полумягкий [15, с. 52]. Например: *болозан* [боло́зан] «холостяк», *къалам* [къала́м] «карандаш», но *хIилла* [хI'ил̄'а́] «хитрость», *чилла* [ч'ил̄'а́] «шелк», *хилап* [х'ил'а́п^{h}] «разногласие»; *баян* [байа́н] «ясность», *буюрухъ* [буйу́рухъ] «приказ», *аят* [айа́т^{h}] «аят, знамение; стих (Корана)», но *биялъ* [б'и́й'алъ] «кровью», *зиян* [з'ий'а́н] «вред», *къиямасеб къо* [къ'ий'а́мас'еб къо] «страшный суд».

Таким образом, для согласных аварского языка по признаку «смягченность—несмягченность» сильной является позиция перед гласными непереднего ряда; для [л] и [й] — перед гласными непереднего ряда, но не после гласных [и] и [е].

В русском языке, как известно, согласные в сочетании с согласными подвергаются различным трансформациям: сочетаемость согласных с согласными в русском языке строго регламентирована, т. е. существуют

[1] С позиции синтагмо-фонологии фонетическая система аварского языка рассматривалась (правда, фрагментарно) в различное время и различными авторами [ср. 4]. Подробнее и глубже эти вопросы освещались в трудах Н. С. Трубецкого [5—7]. Оригинальные суждения высказаны в работах Ш. И. Микаилова [8, 9]. Некоторые вопросы функциональной значимости корреляции по силе согласных аварского языка изложены Т. Е. Гудава [10]. Функциональная характеристика отдельных качественных изменений гласных в аварском языке дана Я. Г. Сулейманов [11, 12]. Замечания по фонологии аварского языка содержат также работы Г. Деетерса [13] и О. С. Широкова [14].

строгие разрешающие и запрещающие законы сочетаемости согласных одного порядка с согласными иного порядка.

По признаку «голос» («звонкость—глухость») сочетаемость согласных в русском и дагестанских языках имеет существенное расхождение. В отличие от русского, где происходит ассимиляция глухих перед звонкими и звонких перед глухими, в дагестанских языках, в том числе и в аварском, этот процесс не наблюдается. Возможность сочетаемости согласных по этому признаку в русском и дагестанских отображена в следующей таблице [15, с. 82].

Сочетания согласных	Русский язык	Дагестанские языки
Глухой + глухой	+	+
Глухой + звонкий	—	+
Глухой + сонорный	+	+
Глухой + [в] или [в'] + гласный или сонант	+	+
Звонкий + глухой	—	+
Звонкий + звонкий	+	+
Звонкий + сонорный	+	+
Звонкий + [в] или [в'] + гласный или сонант	+	+

Не наблюдается в аварском также нейтрализации глухих и звонких в конце слова, хотя отдельные исследователи усматривают подобное явление в словах *зоб* «небо», *доб* «тот» [16]. Так, в минимальных парах *аз* [*аз*], эрг. п. от *ал* «эти» и *ас* [ас], эрг. п. от *ав* «этот» нейтрализации не происходит. Естественно, в конце слова, как и перед глухими, звонкие аварского языка менее звучны, чем перед гласными или сонорными. Но под оглушением следует понимать нейтрализацию звонких и глухих, как это имеет место в русском языке. Подобной нейтрализации в аварском не происходит. Например: *жуз* [жуз] «брошюра», *къад* [къад] «днем», но *нус* [нус] «нож», *хьит* [хь'ит$^{h'}$] «обувь»; *та сдикъ* [т^{h}асд'и́къ'] «утверждение», *тастар* [т^{h}аст^{h}а́р] «кружевной платок», *хъузхъул* [хъу́зхъул], мн. ч. от *хъазахъ* [хъаза́хъ] «раб», *хъабшизе* [хъа́бш'из'е] «шаркать», *тIадчIей* [тIадчI'е́й] «упорство», *тадбир* [т^{h}адб'и́р'] «мера».

Следовательно, по признаку «звонкость—глухость» для аварских согласных всякая позиция является сильной.

Фонологический анализ вокализма хунзахского диалекта аварского языка позволил З. Л. Кикнадзе установить пять гласных фонем, а также некоторые закономерности их трансформации [17]. Пять гласных фонем ⟨и е а о у⟩ в предударной и заударной позициях, замечает автор, подвергаются следующим трансформациям:

а) в заударной позиции, какой бы ни была подударная гласная, а также в положении перед подударными [а и у] нейтрализуются гласные среднего и верхнего рядов (архиряд при этом представлен верхним рядом), в результате чего имеем систему из трех фонем: ⟨и а у⟩;

б) в позиции перед подударными [е о], где нейтрализуются гласные среднего и верхнего рядов (архиряд при этом представлен средним рядом), система имеет следующий вид: ⟨е а о⟩.

Эти закономерности иллюстрируются следующими примерами (автор не дает их в транскрипции): *полóп* «пена» — *пулпи́ца* (эрг. п.), *сордó* «ночь» — *сарди́ца*, *нодó* «лоб» — *надáл* (мн. ч.), *микъи́р* «персик» — *мокьрóца* (эрг. п.), *гIерéтI* «кувшин» — *гIиртIи́ца*, *когIó* «щенок» — *кагIи́ца* — *кугIу́л* (мн. ч.).

Нормы современного аварского языка допускают встречи гласных, противоречащие закономерностям, приведенным З. Л. Кикнадзе для хунзахского диалекта: *азарго* [аза́рго] «тысяча», *азине* [а́з'ин'е] «худеть», *абгощинаб* [а́бгощ'инаб] «столько», *агъазгьечIолъи* [агъа́згь'ечIолъ'и] «беспечность», *иштIезе* [иш'тI'е́з'е] «посвистывать», *иштIеро* [иш'тI'е́ро] «свисток», *гьабулеб* [гьабу́л'еб'] «делающий». Сюда же следует причислить многочисленные заимствования, освоенные аварским языком: *инспектор* [ин'с'п^{h}'е́к^{h}т^{h}ор], *кумек* [к^{h}ум'е́к$^{h'}$] «помощь», *итог* [ит^{h}о́г] и т. д.

Но следует заметить, что исконно аварских слов с подобными встречами гласных ограниченное количество. Кроме того, закономерность нарушается лишь в отдельной своей части, именно: а) после ударных [а у] в слове возможны гласные [е о]; б) перед ударными [е о] в слове возможны гласные [и у].

Таким образом, в основной своей части приведенная выше закономерность действует в современном аварском языке. В то же время эта закономерность может быть объяснена действием закона обратного сингармонизма [11, с. 93—96]. Причем гармония гласных происходит по двум признакам: по признаку подъема (*полоп — пулпица*, *торгIо — таргIал*, *нодо — надал*, *микьир — мокьроца*, *когIо — кугIул*), а также по признаку степени участия губ в образовании гласных (*сордо — сардица*, *торгIо — таргIица*, *гIеретI — гIиртIица*, *когIо — кагIица*).

Подобные изменения влекут за собой непременно образование новой словоформы, что позволяет отнести эти чередования к морфонологическим. С фонологической точки зрения обратный сингармонизм в аварском должен быть рассмотрен в одном ряду с историческими и грамматическими чередованиями в русском языке (*друг — друзья — дружба*, *княгиня — князь — княжество*; *видеть — вижу*; *писать — пишу*) и трансфиксацией в арабском (*катаба* «написал», *уктуб* «пиши», *китабу* «книга», *катибу* «пишущий»).

Следовательно, с точки зрения парадигмо-фонологии для гласных аварского языка всякая позиция является сильной в силу неподверженности их качественной редукции; разный же состав фонем в пределах одной и той же морфемы обусловлен морфонологической меной звуков.

Итак, парадигмо-фонологическое описание фонетической системы аварского языка принципиально осуществимо, ибо: 1) можно определить сильную и слабую позицию каждой фонемы; 2) позиционно чередующиеся звуки сводимы к единой функциональной единице — фонеме; 3) разный фонемный состав в пределах одной и той же морфемы не обусловлен позиционным чередованием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. Под ред. Серебренникова Б. А. М., 1973.
2. *Панов М. В.* Современный русский язык. Фонетика. М., 1979, с. 106.
3. *Панов М. В.* Русская фонетика. М., 1967.
4. *Услар П. К.* Этнография Кавказа. Языкознание. III. Аварский язык. Тифлис, 1889.
5. *Trubetzkoy N. S.* Studien auf dem Gebiete der vergleichenden Lautlehre der nordkaukasischen Sprachen.— Caucasica. Leipzig, 1926.
6. *Trubetzkoy N. S.* Die Konsonantensysteme der ostkaukasischen Sprachen.— Caucasica, f. 8. Leipzig, 1931.
7. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960.
8. *Микаилов Ш. И.* Сравнительно-историческая фонетика аварских диалектов. Махачкала, 1958.
9. *Микаилов Ш. И.* Очерки аварской диалектологии. М.— Л., 1959.
10. *Гудава Т. Е.* К вопросу о фарингальных согласных в аварском и андийском языках.— ИКЯ, 1958, т. IX—X.
11. *Сулейманов Я. Г.* О явлении обратного сингармонизма в аварском языке.— ВЯ, 1960, № 2.
12. *ГIабдуллаев М.*, *Сулейманов Я.* Авар литературияб мацI. МахIачхъала, 1965.
13. *Deeters G.* Die kaukasischen Sprachen.— Haundbuch der orientalistik, 1963, Bd. VII, Abt. 1.
14. *Широков О. С.* К методике сравнительно-исторических исследований в области нахско-дагестанских языков.— Изв. Северо-кавказского научного центра высшей школы. Серия общественных наук. Ростов-на-Дону, 1974, № 1.
15. *Буржунов Г. Г.* Сравнительно-типологическая фонетика русского и дагестанских языков. Махачкала, 1975.
16. *Айтберов А. М.* Учет особенностей родного языка при изучении русского языка в дагестанской нерусской школе. Махачкала, 1967, с. 15.
17. *Кикнадзе З. Л.* Вокализм аварского языка.— План работы и тезисы докладов II межвузовской студенческой научной конференции по проблемам структурной и прикладной лингвистики. Тбилиси, 1966.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

ПЮРБЕЕВ Г. Ц.

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

За последние десятилетия в советском и зарубежном монголоведении проделана значительная работа по изучению грамматического строя литературных монгольских языков и их диалектов, а также языков и говоров монгольских народностей Китая и могольского языка в Афганистане [см. 1, 2]. Определенные успехи достигнуты в описании особенностей языка отдельных памятников старомонгольской письменности и эпических произведений [1]. Тщательному лингвистическому анализу подверглись бурятские исторические хроники и родословные. Необходимость разработки лингвистических основ преподавания монгольских языков в учебных заведениях различного типа, дальнейшее повышение роли русского языка как межнационального и международного языка выдвинули задачу широкого сопоставительного изучения монгольских языков. В связи с этим появился ряд серьезных работ контрастивного характера. Монголистика располагает уже крупными исследованиями в области функциональных стилей литературных языков и социолингвистики. Постепенно создаются необходимые предпосылки для разработки вопросов истории конкретных монгольских языков [2] и написания сравнительно-исторической грамматики монгольских языков.

Несмотря на довольно обширную литературу по грамматике монгольских языков, наименее изученным продолжает оставаться раздел синтаксиса. Приходится также констатировать, что структура синтаксических единиц монгольских языков изучена далеко не одинаково. Лучше всего исследован синтаксис простого предложения. В новейших работах, главным образом диссертационных исследованиях, посвященных анализу простого предложения, все больше уделяется внимания коммуникативным аспектам: ритмо-мелодической организации, интонационной характеристике, структурным схемам и моделям. Характерным становится обращение к идеям и методам современного теоретического синтаксиса. Так, например, в области простого предложения монгольского языка уже используются приемы парадигматического, семантического и трансформационного синтаксиса, а также актуального членения.

Вопросы сложного предложения наиболее полное и последовательное освещение получили в основном на материале бурятского, калмыцкого и халха-монгольского языков. Известным препятствием на пути к изучению сложного предложения явилось широко распространенное мнение о слабой представленности в монгольских языках союзных средств связи. Новейшие исследования показывают, что в современных монгольских литературных языках имеется значительное число союзов, союзных слов и сочетаний. Количественный рост регулярных средств выражения синтаксических отношений служит своеобразным индикатором усложнения синтаксиса монгольских языков.

Сложившаяся практика описания синтаксиса монгольских языков показывает, что область сложного предложения, особенно сложноподчиненного, нуждается в дальнейшей разработке, в привлечении свежих

[1] В этом отношении большую научную ценность представляют монографии, посвященные грамматической характеристике «Алтан тобчи» и лингво-текстологическому анализу эпоса «Джангар» [см. 3, 4].

[2] Первым опытом исследования такого рода является монография В. И. Рассадина, рассматривающая узловые проблемы исторической фонетики бурятского языка [5].

материалов и более тщательном их лингвистическом анализе. Требуют основательного изучения не только способы формальной организации различных структурных типов сложных предложений, но и особенности их семантической и стилистической реализации. Существующие исследования не учитывают должным образом характера современного состояния литературных монгольских языков, испытывающих, с одной стороны, влияние обиходно-разговорной речи, а с другой, стремящихся в условиях общего расширения их коммуникативных функций к максимальной гибкости и маневренности. Кроме того, синтаксические факты монгольских языков изучаются изолированно, они не рассматриваются в свете общих проблем сравнительно-исторического и типологического изучения групп языков.

Интенсивное развитие современной науки о языке вызвало к жизни целый ряд лингвистических направлений, значительно расширив проблематику исследования строя различных языков [6]. В этой ситуации приобретает особую важность разработка вопросов, связанных с типологическим сравнением, устанавливающим общее и своеобразное в разных языках, независимо от того, родственные они или нет, смежные или несмежные по территории. Типологический подход к описанию не исключает, а, наоборот, обязательно предполагает такую категорию, как «специфичность отдельного языка», которая в противоположность универсалии называется уникалией [7].

Одна из основных задач типологических исследований заключается в выявлении таких универсалий, различные способы реализации которых в конкретных языках могут служить основанием для типологической классификации языков [8, 9]. Как известно, для типологической характеристики языков используются не только различия в структуре слова (техника, способ объединения морфем в составе слова, степень синтетизма), но и различия в структуре предложения. Например, в монгольских языках, относящихся к синтетическо-агглютинативному типу языков, синтаксические группы, состоящие из однородных членов, оформляются единым падежным аффиксом, присоединяемым к последнему слову. По этому же принципу придаточные предложения однородного состава также оформляются единым групповым союзом, а несколько сказуемых сопровождаются одной общей связкой при последнем из них — заключительном. Другим диагносцирующим признаком структуры предложения монгольских языков является порядок слов «определение + определяемое». С соблюдением этого нормативного порядка слов связана и конечная, или правая маргинальная, позиция сказуемого в предложении.

За последние годы изучение языков различной типологии подвинулось достаточно далеко. В настоящее время типология становится фундаментальной лингвистической дисциплиной, ориентированной на познание общих закономерностей развития грамматических, лексических, семантических категорий и их систем [10]. Важнейшим условием всякого типологического исследования считается принцип сравнения не единичных, атомарных явлений, а целостной системы, например, синтаксиса, морфологии, фонетики, а также инвентаризация тех закономерных фактов, которые могут быть определены как универсалии. Для систематизации дифференциальных признаков при типологическом сравнении признается необходимым разграничивать уровни языка. Поскольку типология языковых явлений может изучаться как в плане алломорфизма, так и в плане изоморфизма, то в последнем случае устанавливаются некоторые универсальные закономерности или тенденции языковой эволюции. В современных типологических исследованиях особое внимание уделяется общим теоретическим проблемам: уточнению целей и задач, определению границ и возможностей применения типологического метода, приемам анализа материала, включая вопросы, связанные с выделением единиц типологического сходства и различия. С этими направлениями и тенденциями связано и обращение к типологии родственных языков: славянских, германских, романских, тюркских и др. Как известно, рассмотрение языков возможно в синхронном или диахронном аспектах. Современная типо-

логия прежде всего сравнивает языки в их синхронном состоянии, что не исключает сравнения фактов, относящихся к различным периодам истории языка.

Возможность применения типологического метода к отдельным уровням монгольских языков была впервые продемонстрирована Г. Д. Санжеевым. В частности, он отмечал, что «такие монгольские языки, как дунсянский, монгорский, баоаньский и могольский, по отсутствию в них сингармонизма, утраченного под влиянием тибето-китайского и иранского языков, типологически как бы выходят за рамки монгольских языков вообще» [11, с. 81]. Современный калмыцкий язык, а также язык ойратов МНР и Китая (Синьцзян), «сохраняя древнемонгольский тип, по отсутствию явлений губного притяжания противопоставляются всем прочим монгольским языкам, что особенно проявляется на качестве долгих гласных: калм., ойр. *долан* ⟨*долуγан* „семь", бур. *долōн*, халх. *долō*» [11, с. 91]. В еще большей степени, по мнению Г. Д. Санжеева, можно говорить о применении данного метода при изучении явлений личной предикации в монгольских языках.

Характерной чертой грамматики монгольских языков является наличие широко развитой системы синтетических и аналитических видо-временных форм глагола, однако тенденция к их пополнению проявляется в каждом из них весьма своеобразно. Ц. Б. Цыдендамбаев указывает, что в бурятском языке развитие категории глагольного времени идет по линии создания аналитических форм, дифференциации значения некоторых времен и обогащения состава предикативно-финитных форм. Выявились также значительные расхождения в количестве видов, средствах их выражения и отклонения в значениях видо-временных форм монгольских языков [12].

Приведенные выводы и положения имеют важное значение и для синтаксической типологии монгольских языков. Типологический подход к рассмотрению синтаксических явлений и фактов близкородственных — калмыцкого, бурятского и халха-монгольского языков является актуальным и новым для монголистики. Синхронно-типологический анализ структуры предложения монгольских языков позволил выявить признаки, характеризующие общемонгольские черты в их построении, и явления идиоэтнического порядка, т. е. специфичные для одного или двух из сравниваемых языков, а также сделать некоторые выводы общего и частного порядка [см. 13].

Близкородственные языки, каковыми являются рассматриваемые нами калмыцкий, бурятский и халха-монгольский, сохраняя в силу генетической общности большое типологическое единообразие, в то же время обнаруживают более или менее существенные структурные различия. Эти расхождения обусловлены, с одной стороны, особенностями внутреннего развития грамматической системы каждого из сравниваемых языков, а с другой, спецификой культурно-исторических условий их эволюции, инновациями, возникшими на почве неоднородного характера языковых контактов. Алломорфные явления, характеризующие родственные монгольские языки, определяются в известной мере их неодинаковым коммуникативно-функциональным статусом и соответственно разной степенью применения литературного языка. Структурно-типологические несовпадения между указанными языками вызываются также применением разных средств для выражения одного и того же значения, различным синтаксическим использованием тех или иных форм. По справедливому замечанию Р. А. Будагова, синтаксис двух родственных языков обычно во многом бывает несходным даже тогда, когда морфологически эти языки мало чем отличаются друг от друга [14]. Например, в исследуемых литературных монгольских языках модель глагольного предложения со сказуемым — временной формой с афф. *-на* характеризуется тем, что она в калмыцком и монгольском имеет значение будущего действия, а в бурятском — значение настоящего расширенного или настоящего ограниченного времени. Ср. калм. *би йовна -в*, монг. *би явна* «я пойду» и бур. *би ябана-м* «я иду».

Синтаксическая дифференциация моделей предложения в родственных монгольских языках зачастую объясняется количественными расхождениями в морфологических средствах выражения сказуемого. Так, исключительно в бурятском языке встречаются модели глагольных предложений, сказуемое которых представлено формами: заведомо прошедшего времени с афф. *-нхай*; настояще-прошедшего времени с афф. *-аа*, *-ая*, *-гаа*; формами желательного наклонения с показателем *-уужаб*, *-гуужаб*; специфическими видовыми формами со значением мгновенности, ограниченности и внезапности совершения действия на *-рхи*, *-хи*, *-хада*, *-пта*, *-ша*, *-сагаа*.

Существенной чертой бурятского языка в построении отрицательных предложений является то, что в них сказуемое в формах изъявительного наклонения с афф. *-на* и *-ба* регулярно принимает частицу *-гүй* «не, без, нет», тогда как в калмыцком и халха-монгольском такое построение невозможно. Для бурятского синтаксиса является обычным широкое употребление модели посессивного предложения, в котором сказуемое выражается причастием будущего времени с частицами субъектного притяжания *-ха-мни*, *-ха-шни*, *-ха-нь*. В монгольском и калмыцком языках действие данной модели довольно ограниченно, причем она встречается только с показателем субъектного притяжания *нь* (*-нь*): монг. *бороо орох нь* «дождь пойдет»; калм. *гертэнх эрхнь* «пойти бы домой». Как видно из примеров, монгольская форма *-х нь* и калмыцкая *-хнь* реализуют разные значения: первая имеет значение будущего времени изъявительного наклонения, а вторая — значение сослагательности. На фоне других близкородственных языков бурятский язык очень рельефно выделяется довольно регулярным согласованием определения и определяемого, унаследованным от языка памятников старомонгольской письменности. Ср. *том нюдэн* «большой глаз» и *томонууд нюдэд* «большие глаза». Кроме того, в бурятском языке нередким является согласование в числе главных членов предложения: *нюдэдынь ялалзанад* «глаза его (ее) блестят».

В монгольском и калмыцком языках нет такого типа согласования, а есть лишь факультативная корреляция, когда сказуемое выражается глагольной формой на *-цгаа* и *-цха*. Ср. монг. *тэд явцгаалаа* «они пошли» и *тэд явлаа* «они пошел»; калм. *хөвчнр ирцхэв* «чабаны пришли» и *хөвчнр ирв* «чабаны пришел». Существенно заметить, что вариант предложения со сказуемым в форме «множественного числа» повествует о событии с некоторой непринужденностью, как о чем-то обыденном.

Только в калмыцком языке встречается модель предложения, сказуемое которого передается формой на *-жана*, *-чана* и *-лу*, *-лү*, обладающей по сравнению с общемонгольской формой на *-лаа*, *-лай* более ярким экспрессивно-модальным значением и в заведомо подчеркнутом тоне сообщающее о действии. Ср. калм. *Би чамд бичлэв* «Я тебе писал» и *Би чамд бичлү* «Я ведь писал тебе». Весьма примечательно, что в калмыцком языке указательные местоимения *эн* «этот», *тер* «тот», известные во всех монгольских языках в функции личных местоимений 3-го лица, часто употребляются в качестве замыкающего элемента сказуемого. Это явление лишь изредка наблюдается в современном монгольском языке. Ср. пример из калмыцкого: *Иим ухата элч һәргтә хаанд церглжәдго болх эн* «Такой умный посол не будет служить у глупого хана»; монг. *Энэ чинь* ***галзуурах нь энэ*** «Он взбесился что ли?».

По словам Н. З. Гаджиевой, в тюркских языках до сих пор существует тенденция использовать в качестве показателя сказуемости местоимения 3-го лица *ул*, *ол* «он» [15]: башк. *Хәсән языусы ул* «Хасан — писатель» (букв. «Хасан — писатель он»), тув. *Мал хавуда чор ол* «Скот пасется на пастбище» (букв. «Скот на пастбище пасется он»).

В калмыцком, бурятском, а также в некоторых других монгольских языках (дагурском, могольском), в отличие от халха-монгольского, все изъявительные, причастные формы, а также именные части речи в сказуемостной позиции оформляются лично-предикативными частицами. С другой стороны, имеет место типологическое сходство двух языков и, следовательно, противопоставление их третьему члену сравниваемой группы языков. Например, бурятский и халха-монгольский языки объединяются

по наличию в них модели предложения, сказуемое которого выражается повелительно-наставительной формой на *-аарай*, *-гаарай*, отсутствующей в калмыцком языке. Обращает на себя внимание и тот факт, что модели предложений монгольских языков не всегда однородные в применении связочных средств и модальных частиц. Определенное своеобразие монгольских языков проявляется также в реализации категории модальности и порядка слов в предложении.

Результаты проведенного анализа целесообразно обобщить в виде группы синтаксических универсалий и уникалий, представляющих собой номенклатуру типологических фактов, т. е. номиналий. Типологические номиналии — это действительные и закономерные в своем проявлении признаки-координаты, которые являются определяющими для той или иной языковой системы. Руководствуясь критерием всеобщности и частоты встречаемости, мы выделяем в монгольских языках четыре типа синтаксических универсалий и уникалии, свойственные каждому языку в отдельности. Общепризнанно, что четких границ между абсолютными универсалиями, с одной стороны, и почти универсалиями (доминантами) и фреквенталиями нет, а, с другой стороны, любая шкала типологических номиналий не охватывает исчерпывающим образом все типичные явления разных языковых уровней [16]. Учитывая неодинаковую представленность языковых явлений и существование различного рода исключений, мы сосредоточили внимание лишь на самых важных строевых признаках синтаксиса монгольских языков.

При установлении названных выше типологических номиналий мы исходили из общих и частных закономерностей в развитии синтаксической структуры рассматриваемых монгольских языков, а также из теоретических разработок по типологии разных языков. Ниже приводится номенклатурный перечень закономерных типовых явлений, стратифицированных по степени их представленности в синтаксисе литературных монгольских языков.

Абсолютные универсалии. К разряду абсолютных, иначе полных, лингвистических универсалий обычно относят такие явления, которые имеют всеобщий характер или во всяком случае известны во многих языках мира. Существование их объясняется единообразием способов представления внутрисистемных связей тех или иных языковых категорий. В области синтаксиса монгольских языков также наблюдается ряд закономерных явлений и тенденций, которые выходят далеко за рамки монгольской генетической общности языков. К ним относятся следующие.

1) Тенденции инновационного характера, связанные с улучшением языковой техники, обогащением и качественным обновлением синтаксической структуры вообще. Наглядным подтверждением этой универсальной тенденции в синтаксисе монгольских языков является возникновение новых связующих элементов на базе местоименных слов, наречий, частиц и т. д.; постоянное пополнение состава союзных сложных предложений; увеличение числа подчинительных конструкций индоевропейского типа, в частности предложений с соотносительными союзными словами; усиление роли имени в сфере предикации, что находит свое выражение в появлении неполных предложений с эллиптированным глаголом-сказуемым и широком распространении назывных предложений; стремление к максимальному использованию грамматической и стилистической роли порядка слов, вызванное усложнением общественных функций литературных монгольских языков и общими изменениями в самом характере коммуникации; количественный рост конструкций с безличным значением.

2) Существование в монгольских языках двух способов развития сложного предложения: первый путь — развитие подчинения из сочинения (об этом свидетельствуют конструкции с синкретичными союзами), второй — изнутри простого предложения через причастные и деепричастные обороты с собственным субъектом.

3) Построение в одной и той же ситуации двух разных предложений при единстве их лексического состава. Ср. калм. *Багш бичг бичҗәнә*

«Учитель пишет письмо» и *Бичг багшар бичгджэнэ* «Письмо пишется учителем».

4) Использование значений дательно-местного и исходного падежей для выражения разновременности двух действий (зависимого и основного), например, калм. *һал түлснәс* (исх. п.) *герт дулан болв* «Оттого что развели огонь, в юрте (доме) стало тепло»; *Намаг наачахд* (дат.-местн. п.) *Үүрмгүүҗ, ирв* «Когда я играл, прибежал мой друг». Такое явление распространено во многих агглютинативных языках.

5) Наличие специального падежа прямого объекта, так называемого винительного оформленного: калм. *Бадм-ыг дуудв* «Позвали Бадму».

6) Присоединение падежных аффиксов только к последнему слову в синтаксических группах, состоящих из однородных членов: калм. *хан нойдуд-ин* (род. п.) *көвүд* «ханские и княжеские сынки».

7) Употребление сравнительных конструкций, где предмет, с которым что-нибудь сравнивается и который обладает тем или иным признаком в меньшей степени, ставится в исходном падеже: монг. *Эн морин тэр мориноос* (исх. п.) *хурдан* «Этот конь быстрее того коня».

8) Универсальность функции интонации, которая осуществляет а) общую дифференциацию одинаковых по структуре и составу предложений по целевой установке (вопрос, сообщение, побуждение); б) частную коммуникативно-смысловую и модально-экспрессивную дифференциацию вариантов одного и того же предложения.

Универсалии-доминанты. В отличие от предыдущей группы инвариантных признаков данный тип универсальных характеристик, обладая высокой статистической вероятностью, действует главным образом в пределах близких языковых систем, в нашем случае в языках агглютинативного строя. В границах одной генетической группировки, например, монгольской и тюркской, универсалии-доминанты почти не знают исключений. Являясь оптимальным выражением конкретной языковой системы, они способствуют эффективному выполнению ее функций. Итак, укажем некоторые закономерные универсалии-доминанты, превалирующие в строе предложения монгольских языков и как бы «настраивающие» их синтаксическую систему в целом: 1) замещение причастиями и деепричастиями аналитического финитно-союзного способа синтаксической зависимости компонентов сложных предложений; 2) возникновение подавляющего большинства придаточных предложений из прямой речи, связывающихся с главным при помощи различных форм речевого глагола *гэ-* (калм. *ги-*); 3) существование трех типов сложных конструкций с неличными формами глагола: моносубъектных, разносубъектных и вариативно-субъектных [17]; 4) функция интонации, разграничивающей отдельные члены предложения (например, определение или определительную группу от подлежащего) и устанавливающей тему и рему сообщения; 5) различение трех степеней достоверности высказывания и соответственно трех видов модальных значений: модальности простой достоверности, модальности проблематической и категорической достоверности [18]; 6) выражение модальных значений аналитическим и синтетическими способами: сочетаниями форм основного и вспомогательного глаголов, лексическими показателями, наклонениями и частицами; 7) увеличение длительности звучания последнего гласного в интонационно выделяемом слове служит одним из способов реализации субъективно-модальных значений; 8) сведéние количества возможных порядков членов предложения к двум основным: S — O — P и O — S — P; 9) употребление связочного глагола при последнем сказуемом, 10) препозиция определения по отношению к определяемому; 11) крайне правое маргинальное положение сказуемого; 12) наличие послелогов, управляющих падежными формами имени, причастий и выражающих различные синтаксические отношения (причинные, целевые, временные и т. д.).

Фреквенталии. Универсалии этого рода имеют ограниченное действие и представляют однотипный по своему характеру процесс, дающий одинаковые результаты, проявляющиеся с достаточной степенью частотности в различных языках мира. Так, например, в монгольских и тюркских

языках, как и в истории многих языков мира, союзы и союзные слова в своем большинстве возникли из местоимений, наречий, акцентирующих частиц и т. д. В истории различных языков, в том числе монгольских, наблюдается одинаковый по своей сущности и результатам процесс развития личных глагольных форм из причастий. Некоторые формы индикатива в монгольских языках являются по своему происхождению отглагольными именами, т. е. причастиями. Это подтверждается, например, историей развития бурятских изъявительных форм на *-аа*, *-ээ* (*ерээ* «пришел» < < «пришедший», *ябаа* «ушел» < «ушедший») и *-нхай* (*уншанхай* «прочитал» < «прочитавший», *мэдэнхэй* «узнал» < «узнавший»). Ср. также причастие на *-х*, которое замещает форму будущего времени индикатива и принимает показатели лица/числа в бурятском и калмыцком языках: *ерэхэ* + *б* (калм. *ирх-в*) «приду» < «придущий + я»; *ерэхэ* + *бди* (калм. *ирх-вдн*) «придем» < «придущие + мы». Такого рода явления свидетельствуют о существовании в монгольских языках диахронических фреквенталий. Как уже отмечалось, для универсалий типа фреквенталий характерны отклонения от правил абсолютной распространенности. Так, например, в монгольских языках объект, как правило, ставится после субъекта. Однако данная универсалия не всегда выдерживается. Порядок слов O — S — P нарушает указанное правило. Кроме того, возможны и другие комбинации порядка слов. Так, препозиция глагола-сказуемого имеет место в вопросительных и повелительно-побудительных конструкциях, а также в предложениях, где подлежащее сопровождается специальным показателем, а дополнение морфологически оформлено. Постсказуемостную позицию могут занимать не только прямые и косвенные дополнения, но и обстоятельства. При строгом осуществлении порядка слов «определение + определяемое» глагол в предложении монгольских (шире агглютинативных) языков может занимать не только конечную позицию. Еще А. Бобровников отмечал, что подлежащее, выраженное личными и указательными местоимениями, «часто полагается после глагола» [19]. Известно, что в монгольских языках, где действует механизм агглютинации, отсутствуют типичные для флективных языков придаточные предложения. В них, как правило, функционируют их смысловые эквиваленты в виде развернутых членов — причастных и деепричастных оборотов. Однако в современных литературных монгольских языках, особенно калмыцком и бурятском, получают значительное развитие придаточные предложения европейского типа. В связи с этим ограничивается действие фреквенталии, гласящей о том, что языки ярко выраженного агглютинативного типа отличаются неразвитостью союзов. В литературных монгольских языках начинает прогрессировать финитно-союзный способ соединения частей сложноподчиненного предложения. По этой причине господство паратаксиса или простого предложения, осложненного оборотами, постепенно идет на убыль. Другой типичной для монгольских языков фреквенталией является наличие лично-предикативных частиц, присоединяемых к именам и глаголам в сказуемостной позиции. Здесь тоже имеются исключения: эти «синтаксические» частицы свойственны не всем монгольским языкам. Они встречаются лишь в калмыцком, бурятском, дагурском и могольском языках. В сложносочиненном предложении союзы и союзные слова открывают вторую часть, располагаясь главным образом в самом ее начале. В сложноподчиненном предложении связующие элементы помещаются в конце первой части, как бы замыкая ее. Исключения составляют расчлененные союзы и союзные слова типа *хэрэв... бол* «если... то», *хэн... тэр* «кто... тот».

Рецессивы. Универсальные явления не всегда обладают свойством одинаковой распространенности. Даже в пределах одной группы и семьи языков универсалии действуют по-разному. В разряд рецессивов включаются универсалии, на которые языковая система накладывает еще большие ограничения, чем на фреквенталии. Имея характер закономерных фактов, рецессивы могут существовать не во всех языках одной и той же генетической общности. Например, только в калмыцком и монгольском языках имеет место корреляция падежных форм субъектного имени и фор-

мирующего члена конструкции — причастия по формуле: а) $S_{вин.п.} \leftrightarrow$ $\leftrightarrow P_{вин.п.}$; б) $S_{род.п.} \leftrightarrow P_{род.п.}$. В этих же языках допускается вариантное употребление падежной формы субъектного имени в причастных конструкциях (аккузатив, генитив, номинатив). Контаминация винительного и родительного падежей с именительным влечет за собой номинативизацию субъектного имени генитивных и аккузативных оборотов, создавая тем самым предпосылки для перехода абсолютных оборотов в предложения. Данный процесс происходит в калмыцком и халха-монгольском языках. Следует отметить, что формы глагола *гэ-* в монгольском и бурятском языках могут употребляться не только в сложноподчиненном предложении, но и в сложносочиненном. В калмыцком исключение составляет одна форма *гивчн* (ср. монг. *гэвч*, бур. *гэбэшье*) «но, однако, зато». В монгольском и бурятском языках существует возможность удвоения или парного употребления формы *гэ-* в функции союза. Ср. монг. *гэх гэсэн*, *гэлээ ч гэсэн*; бур. *гэбэл гэхээр*, *гээшэб гэбэл* и т. д. С другой стороны, в калмыцком и бурятском языках можно встретить объектные и определительные придаточные предложения с соотносительными местоименными словами. Придаточные предложения, занимая препозицию в отношении главного, иногда могут находиться в рассматриваемых языках в интерпозитивном (сравнительные, квалификативные, уступительные) и постпозитивном (причинные, риторические) положениях. В предложениях монгольских языков наблюдаются случаи совмещения двух показателей модальности, например, модального слова и модальной частицы. Только в литературном монгольском и бурятском языках встречаются предложения с книжным союзом *ба* «и, да».

Уникалии. Языковые закономерности могут быть строго локализованными и выступать в качестве специфически внутренних признаков и свойств какого-нибудь языка. В близкородственных языках также имеются уникальные явления, присущие только одному из них. Относительно синтаксиса монгольских языков можно сказать, что он характеризуется наличием целого ряда конкретных фактов, показательных отдельно для бурятского, калмыцкого и собственно монгольского языков. Представляется важным дать список уникалий по каждому языку в отдельности.

Бурятский язык: 1) наблюдается более или менее регулярное согласование определения и определяемого; 2) имеет место согласование сказуемого и подлежащего в числе; 3) распространены модели предложений, сказуемые которых выражены глагольными формами на *-аа*, *-нхай*, *-уужаб*, *-рхи*, *-хада*, *-нта-*, *-ша-*, *-сагаа-*; 4) характерным является наличие отрицательных предложений, сказуемое которых представлено изъявительными формами с аффиксами *-на*, *-ба*, принимающими частицу *-гүй*; 5) широко употребительны предложения посессивной конструкции, в которых сказуемое причастие будущего времени сопровождается частицами субъектного притяжания; 6) типичную черту бурятских предложений составляют модальные частицы *аал*, *аалта*, *аабы*, *аабза*, *бшуу*, *һайш*, а также вопросительная частица *гү*; 7) в составе предложений выступают такие лексические показатели модальности, как *хэбэртэй*, *гээшэлтэй*, *назаатай*, *бодот*, *бодот хэрэг дээрэ*, *заатагүй*, используемые в целях указания на разную степень достоверности сообщения; 8) только в бурятских предложениях функционируют частицы-союзы *аад*, *һаа*, *хадаа*, *хадань*, *үшөө*; 9) союзы *ба*, *болон*, *болоод* используются исключительно для связи однородных членов предложения; 10) субъект причастных оборотов обязательно оформляется родительным падежом.

Калмыцкий язык: 1) в сфере калмыцкого синтаксиса функционируют предложения со сказуемыми в форме глаголов с аффиксами *-жана*, *-чана*, *-лу*, *-лү*, *-лус*, *-лүс*; 2) индивидуальной особенностью калмыцких предложений является употребление в их структуре союзов *эс гиж*, *зуг*, *зугл*, *кемр*, *кемржэн*, *тер бийнь*, частиц-союзов *нам*, *ташр*; 3) специфическими средствами модальности выступают слова *кевтэ*, *бәәдлтә*, *билтә*, *алдлата*, *эркбиш*; 4) указательные местоимения *эн* «этот», *тер* «тот» часто используются в качестве финального элемента сказуемого с целью его логического выделения; 5) для калмыцких предложений харак-

терны присказуемостные частицы *санҗ* (*сәнҗ*), *-мҗ*, *-лм*, *-хн* и др., передающие утвердительно-модальные оттенки; 6) употребляются отрицательные предложения, в которых сказуемое-причастие будущего времени присоединяет частицу отрицания *-ш*; 7) эмфаза конечного гласного в глаголе-сказуемом вызывает различия в характере сообщения (простая и заведомо подчеркнутая констатация события). Ср. *ирв* «пришел», но *ирвэ* «пришел же»; 8) звуковая организация калмыцкой фразы отличается сильной редукцией гласных непервых слогов.

Монгольский язык: 1) в литературном языке широко употребляются сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами, представляющими деепричастные формы архаических глаголов *а-*, *бө* «быть, наличествовать»; 2) особенно характерны сложные предложения с парными синонимическими союзами типа *боловч харин*, *гэвч харин*, *аль асхүл*, *аль эсвэл*, *буюу эсвэл*, *гэлээ ч гэсэн* и т. д. Имеются случаи, когда за парным сочинительным союзом следует подчинительный, например, *гэлээч гэсэн хэрэв*... Ср. соответствующие по значению русские союзы *однако*, *если*, *но если*...; 3) имеются простые и сложные предложения с такими специфическими союзами, как *хийгээд*, *буюу*, *мөртөө*, *төдигүй*, *төдий биш*, *хичнээн... төчнөөн* и др.; 4) в зависимой части сложных конструкций встречаются субъектные обороты с попутным, предварительным и причинным деепричастиями; 5) типичными являются предложения с модальными словами *чухам*, *чухамдаа*, *дамжиггүй*, *мэдээжийн хэрэг*, подчеркивающими степень достоверности действия и предложения с присказуемостными частицами *даа*, *сан*, *даг*, *шүү*, выражающими утвердительно-модальные оттенки; 6) существуют предложения с препозитивной приглагольной частицей отрицания *үл* и предложения со сказуемым в форме повелительно-желательного наклонения с частицей запрета *бүү*; 7) в качестве показателей подлежащего используются частицы *гэгч*, *болбол*, *бол*, *чинь*, *минь*, *маань*; 8) в монгольском языке эмфаза гласного в последнем слоге глагола-сказуемого всегда является признаком восклицательного предложения.

Заключение. Наша классификация типологических номиналий имеет своей главной целью систематизацию и первичное обобщение закономерных явлений в области синтаксиса монгольских языков и отнюдь не претендует на их полный охват. Как известно, всякая лингвистическая универсалия, основываясь на части обнаруженных фактов, экстраполируется на более широкое поле объектов. Кроме того, синтаксические универсалии носят менее строгий характер, чем, например, морфологические или фонетические. Установленные нами четыре типа универсалий, действующих в синтаксической системе монгольских языков, характеризуются разной степенью встречаемости. Распределение синтаксических универсалий по определенным группам помогает, на наш взгляд, поставить в связь разные признаки, существенные для типологии предложения, и показать корреляции морфологии и синтаксиса. Типологические сведения, касающиеся синтаксиса монгольских языков, могут ориентировать типологов в их исследованиях универсалий и в нахождении исключений к универсалиям [20].

Исследование синтаксиса предложения близкородственных монгольских языков убеждает нас в возможности их типологического анализа и доказывает, что генетическое родство языков не предопределяет автоматически их структурного сходства. Учет синтаксических совпадений и несоответствий в группе монгольских языков имеет важное значение для построения синтаксической типологии алтайских языков [21].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Дарбеева А. А.* Монгольские языки.— В кн.: Советское языкознание за 50 лет. М., 1967, с. 276—284.
2. *Биткеев П. Ц.* Языкознание в МНР за 60 лет.— ВЯ, 1982, № 6.
3. *Орловская М. Н.* Язык «Алтан тобчи». М., 1983.
4. *Тодаева Б. Х.* Опыт лингвистического исследования эпоса «Джангар». Элиста, 1976.
5. *Рассадин В. И.* Очерки по исторической фонетике бурятского языка. М., 1983.

6. *Ярцева В. Н., Колшанский Г. В., Степанов Ю. С., Уфимцева А. А.* Основные проблемы марксистского языкознания: Докл. на Всесоюзной научн. конф. по теоретическим проблемам языкознания. М., 1974, с. 3.
7. *Вардуль И. Ф.* Несколько замечаний в связи с универсалиями.— В кн.: Семиотика и восточные языки. М., 1967, с. 111.
8. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. М., 1977, с. 110.
9. *Панфилов В. З.* О задачах типологических исследований и критериях типологической классификации языков.— ВЯ, 1969, № 4.
10. *Климов Г. А.* Типологические исследования в СССР (20-е—40-е гг.). М., 1981, с. 3—5.
11. *Санжеев Г. Д.* Сравнительно-исторические и типологические исследования в алтаистике.— В кн.: Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965.
12. *Цыдендамбаев Ц. Б.* Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении. М., 1979, с. 127—139.
13. *Пюрбеев Г. Ц.* Синтаксис сложного предложения монгольских языков (синхронно-типологическое исследование).: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1983.
14. *Будагов Р. А.* К теории сходств и различий в грамматике близкородственных языков.— ВЯ, 1980, № 4, с. 8.
15. *Гаджиева Н. З.* Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973, с. 29.
16. *Чекман В. Н.* Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Типология и реконструкция. Минск, 1979, с. 23, 36.
17. *Скрибник Е. К.* Способы выражения субъекта в системе зависимой предикации (на материале бурятского языка): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1980.
18. *Пюрбеев Г. Ц.* Категория модальности и средства ее выражения в монгольских языках.— ВЯ, 1981, № 5.
19. *Бобровников А.* Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849, с. 234.
20. *Рождественский Ю. В.* Типология слова. М., 1969, с. 243.
21. *Fokos-Fuchs D.* Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtchaft. Wiesbaden, 1962, S. 7.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

БУЗАРОВ В. В., БУЗАРОВА М. Д.

О НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НА СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Характерной чертой лингвистических работ последнего времени является повышенное внимание исследователей к изучению языка в целом, а также отдельных его подсистем, в его функционировании, его реальном бытии в речи. Существует целый ряд специфических свойств и явлений, общих для всех или почти всех уровней языковой системы, внутренние потенции которых реализуются только в определенных речевых условиях. Одним из таких интереснейших явлений, наблюдаемых в ряде индоевропейских языков при их функционировании в речи, является нейтрализация.

Термин «нейтрализация», впервые введенный Н. С. Трубецким для фонологического уровня в широко известном труде «Основы фонологии» [1], получил тогда строго однозначное определение: снятие (стирание) релевантных различий, обнаруживаемых в парадигматическом плане между парами фонем, образующих бинарные оппозиции, при их функционировании в речи в определенных позициях. Так, например, в русском и немецком языках в исходе слов регулярно наблюдается неразличение, т. е. нейтрализация фонологических оппозиций по звонкости/глухости. Ср. русск.: *под* и *пот* > [пот]; *луг* и *лук* > [лук]; *столб* и *столп* > [столп]; нем: *Rad* «колесо» и *Rat* «совет» > [rat]; *Weg* «дорога» и *Weck* «булка» > > [wek]; *hob* «поднял, снял» и *hopp* «гоп! прыг!» > [hop]. Иначе говоря, оппозиция звонких и глухих больше не имеет здесь возможности функционировать. Звонкие звуки, выступающие в позиции нейтрализации, фонетически совпадают с соответствующими глухими, поэтому говорящие не различают их в реальной речи. Отсюда ясно, что нейтрализация — это такая же объективная языковая реальность, как и существование самих фонем и их дифференциальных признаков, на основе которых в языках образуются фонологические оппозиции.

После выхода в свет классического труда Н. С. Трубецкого наметилась тенденция распространения понятия оппозиции (а следовательно, и нейтрализации) и на другие уровни языковой системы. И в настоящее время большинство лингвистов разделяет мнение А. Мартине, согласно которому «оппозиции составляют основу всякой языковой реальности» [2]. Однако современная лингвистическая наука все чаще оперирует такими понятиями, как «противопоставления», «оппозиции», применительно к различным уровням языковой системы. И теперь без преувеличения можно сказать, что ни одно современное лингвистическое исследование не может быть признано строго научным, если оно не опирается на теорию оппозиций и метод оппозиционного анализа в сочетании с другими современными приемами исследования. В «Предисловии» к своей книге «Оппозиции в морфологии» И. Б. Хлебникова, подчеркивая важную роль оппозиционного анализа, пишет, что «оппозиции стали... плодотворным способом исследования и описания разнообразных процессов и явлений, характерных для элементов языковой структуры потому, что они означают связь, а связь — обязательный компонент отношений между любыми единицами языка» [3, с. 3].

В основе лингвистической экстраполяции понятия оппозиций на другие уровни языка лежит тезис об изоморфизме языковых единиц независимо от уровня, к которому они принадлежат. Несомненно, было бы неверно не учитывать качественного различия между уровнем фонем и уровнями значимых единиц и искать в отношениях между единицами этих уровней

абсолютные аналогии, механически перенося понятия фонологической системы на другие, несравненно более сложные области внутренней структуры языка. Однако неоспорим тот факт, что в известных пределах изоморфные отношения языковых единиц пронизывают язык по «вертикали» снизу доверху, затрагивая иногда несколько уровней сразу и обеспечивая тем самым целостность и симметрию всей системы [4]. Характерным проявлением изоморфизма языковой системы на всех ее уровнях является (наряду с другими общими процессами) нейтрализация фонологических, морфологических, синтаксических и семантических противопоставлений.

Из сказанного следует, что ограничивать применение понятия нейтрализации только областью фонологии вряд ли оправданно. Любопытно отметить, что способность противочленов грамматических оппозиций утрачивать при определенных условиях свои различительные признаки была впервые замечена еще С. Карцевским [5]. Учитывая параллелизм парадигматических структур на морфологическом и синтаксическом уровнях, целесообразно представить синтаксическую подсистему, как и все остальные подсистемы языка, в виде оппозиций [6—10].

Это объективное свойство синтаксической системы языка (как и грамматического строя в целом) — важнейшее условие ее функционирования в речи, что подтверждается многочисленными конкретными примерами. Так, в зависимости от цели коммуникации в реальной речи декларативное предложение часто противопоставляется вопросительному, образуя оппозицию «вопрос — не вопрос»: *He is a sportsman — Is he a sportsman*? Или же утвердительное повествовательное предложение противопоставляется отрицательному, образуя оппозицию «утверждение — отрицание»: *He is a sportsman — He isn't a sportsman*.

Следует заметить, что при изоморфном перенесении понятия нейтрализации на уровни сигнификативных единиц (и особенно в область синтаксиса) оно значительно осложняется, теряя свою терминологическую однозначность и, как бы «девальвируясь», становится весьма расплывчатым. Некоторые лингвисты пытаются отождествить нейтрализацию с самыми различными явлениями: с синкретизмом или свободным варьированием (Л. Ельмслев), или с синонимией и омонимией (О. С. Ахманова, А. Л. Василевский, А. П. Шапкин, И. П. Иванова и др.). В связи с различной интерпретацией этого понятия представляется необходимым уточнить определение синтаксической нейтрализации на основе соотношения с понятием синтаксической оппозиции. Под нейтрализацией в синтаксисе мы будем понимать процесс, при котором в определенных контекстуальных условиях снимаются семантические различия между синтаксическими единицами, т. е. предложениями, входящими в один парадигматический класс, члены которого образуют бинарные оппозиции. Таким образом, непременным условием нейтрализации синтаксических оппозиций является обязательное наличие самих парадигматических оппозиций.

Известно, что понятие парадигмы предложения, под которой имеется в виду система его форм, связанных оппозитивными отношениями, завоевало широкое признание в современной науке о языке. Подчеркивая решающую роль оппозитивных отношений в конституировании синтаксической парадигмы, многие видные советские лингвисты предостерегают против весьма широкого понимания парадигмы предложения и исключают из этого понятия предложения, построенные на отношениях синонимической супплементности или на межмодельных трансформациях, а также на отношениях синтаксического варьирования [7]. Так, например, не являются членами синтаксической парадигмы такие предложения, как англ. *He goes there by bus — He takes a bus there — He rides on a bus there* или *After he came home he recalled her telephone number — After coming home he recalled her telephone number*, т. к. это синтаксические синонимы (односструктурные в первом случае и разноструктурные во втором). Не составляют парадигмы и такие предложения, как *He is Chairman of the Club — He is elected Chairman of the Club* или русск. *Он президент клуба — Его избрали президентом клуба*, поскольку это примеры синтаксического варьирова-

ния. Здесь нет того оппозитивного отношения, которое конституирует синтаксическую парадигму. Напротив, побудительное предложение *Go there by bus*! будет противочленом первого предложения *He goes there by bus* или вопросительное предложение *Is he Chairman of the club*? будет противочленом предложения *He is Chairman of the club*, поскольку здесь налицо оппозитивные отношения.

Следуя данному выше определению синтаксической парадигмы, мы тем самым ограничиваем и понятие нейтрализации случаями, когда предложения, входящие в один парадигматический ряд, взаимно исключают друг друга и, следовательно, образуют оппозиции.

Членами коррелятивной синтаксической оппозиции могут быть лишь предложения, принадлежащие к одному и тому же парадигматическому классу и характеризующиеся тождественными лексическими и морфологическими значениями. В качестве дифференциальных признаков здесь выступают, конечно, синтаксические значения, свойственные предложению, которые следует отличать от морфологических и лексических ДП, свойственных слову. Укажем, что члены предложения (как главные, так и второстепенные) не связаны оппозитивными отношениями, т. е. они не образуют оппозиций, принадлежащих к определенному парадигматическому классу. Оппозитивные отношения устанавливаются лишь между единицами, входящими в один парадигматический ряд. Каждый член предложения обладает своим семантико-синтаксическим содержанием и вступает в речевой цепи в различного рода отношения (предикативные, координативные, субординативные и т. д.), отличающиеся по своей сущности от оппозитивных. Члены грамматических оппозиций никогда «не стоят рядом» в высказывании, поскольку присутствие одного противочлена исключает присутствие другого. Члены же предложения не находятся в отношениях исключения, они сополагаются в речевой цепи на основе иного рода отношений, нежели оппозитивные, и поэтому могут оказаться, и действительно очень часто оказываются, рядом в высказывании. Следовательно, в последнем случае нет никаких оснований говорить о нейтрализации синтаксических оппозиций, поскольку отсутствуют сами оппозиции.

Понятие нейтрализации на синтаксическом уровне (как и на всех других) «обязательно для тех, кто признает оппозиции» [10]. Синтаксические оппозиции могут выделяться на основе различных признаков — коммуникативной целенаправленности, структуры предложения, видов синтаксической связи и т. п., которые иногда перекрещиваются. Современная синтаксическая наука считает основным типом оппозиции в синтаксисе трехчленную оппозицию, образуемую противопоставлением трех коммуникативных видов предложения: «повествовательное предложение — вопросительное предложение — побудительное предложение». В соответствии с принципом «бинаризма» внутри этого трехчленного противопоставления обычно выделяются различные двучленные (бинарные) оппозиции: «непобудительные предложения — побудительные предложения» или «невопросительные предложения — вопросительные предложения» и т. п. с дальнейшим подразделением первого противочлена.

Другой не менее распространенный тип синтаксического противопоставления в системе сложного предложения, а именно: «сложносочиненное предложение — сложноподчиненное предложение», связан с оппозицией «сочинение — подчинение», т. е. в основе этих оппозиционных отношений лежит бинарное противопоставление видов синтаксической связи.

По структуре противочленов обычно выделяются следующие типы синтаксических оппозиций: «двусоставное предложение — односоставное предложение», «сложное предложение — простое предложение», «полное (неэллиптическое) предложение — эллиптическое предложение» и т. п. Отсюда, естественно, следует, что, если в синтаксической системе существуют оппозиции, то, значит, существует и возможность их нейтрализации в определенных синтагматических условиях.

В отличие от нейтрализации морфологических оппозиций, обстоятельно разработанной на материале английского языка И. Б. Хлебниковой, проблема синтаксической нейтрализации остается еще совершенно неизу-

ченной, несмотря на то, что явления синтаксической нейтрализации и диверсификации, как указывает Дж. Лайонз, широко распространены в языке [11]. В лингвистической литературе (как советской, так и зарубежной) встречаются лишь упоминания о случаях синтаксической нейтрализации, которые к тому же, как правило, не представляют предмета самостоятельного исследования. В советской англистике впервые на это явление обратил внимание Б. А. Ильиш в своей книге «Структура современного английского языка», однако и здесь описание синтаксической нейтрализации носит нецеленаправленный характер, да, по-видимому, автор и не ставил перед собой такой задачи [12].

Нейтрализацию в строгом понимании мы обнаруживаем в системе сложного предложения, где она базируется на общепринятой оппозиции «сочинение — подчинение». Сочинение и подчинение, объективно существующие в языке и представляющие собой семантическую категорию, находят формальное выражение, в частности, в виде двучленного противопоставления (оппозиции) «сложносочиненное предложение — сложноподчиненное предложение». А поскольку в языке налицо существование синтаксической оппозиции (в парадигматическом плане), то и существует реальная возможность ее нейтрализации при функционировании в речи (в синтагматическом плане). Типичным примером нейтрализации оппозиции «сочинение — подчинение» могут служить сложные предложения, обладающие некоторыми формальными признаками подчинения (наличие маркирующих союзов *while*, *when*, *though* и др.). В то же время они характеризуются чертами, которые присущи сочинению (стабильность, строго фиксированные позиции составляющих предикативных частей, специфическая соотносительная связь друг с другом), ср.: «His sense of property is extreme, w h i l e you have practically none» (J. Galsworthy, The man of property); «His face was disturbed and troubled, w h i l e his clothes were disarranged and untidy» (C. Doyle, The problem of Thor Bridge). В этих предложениях союз *while* теряет свое временнóе значение и употребляется для выражения противопоставительных или просто сопоставительных отношений, приближаясь по значению к противительному союзу *but* или соединительному союзу *and*. По форме эти предложения сложноподчиненные, а по семантическому содержанию сложносочиненные, т. к. мысли, выражаемые в обеих частях этих синтаксических конструкций, самостоятельны и только сопоставляются или противопоставляются. Мы бы легко могли заменить здесь союз *while* союзом *and* или *but*, превратив эти предложения в сложносочиненные, не изменив при этом их прежнего содержания. Аналогичный случай наблюдается и в сложном предложении, части которого соединены союзом *when*, когда он, подобно союзу *while*, теряет свое временнóе значение и употребляется для выражения отношений противительного характера: «Curious that Fleur should have dark eyes, w h e n his own were grey...» (J. Galsworthy, The man of property). Невозможность постановки второй части предложения, вводимой союзом *when* в начальную позицию (как это имеет место в предложении *When I came in she was washing the floor*), свидетельствует о сочинительном характере связи, говорящей о сопоставительных отношениях. Такое перемещение привело бы к нарушению грамматической правильности предложения. Структура **When his own were grey, curious that Fleur should have dark eyes* является аграмматичной. Кроме того, здесь также можно было бы заменить союз *when* союзом *but* или *and*, превратив предложение в сложносочиненное без изменения его смысла. Следует, однако, заметить, что нейтрализация оппозиции «сочинение — подчинение» в сложных предложениях с союзом *when* менее типична, чем с союзом *while*.

Аналогичные случаи нейтрализации противопоставления синтаксической связи «сочинение — подчинение» наблюдается в системе сложного предложения и с другими союзами, такими, как *for*, *though*, *so that*, *so ... that* и др. Приведем несколько примеров: «The windows were open, for it was hot» (J. Galsworthy, The man of property). В данном примере в сложносочиненном предложении вторая предикативная часть вводится сочинительным союзом *for*, выражающим причину первой части. Более того,

ко второй части сложносочиненного предложения можно поставить вопрос *why*, а союз *for* может быть заменен союзом *because* или *as* без изменения общего смысла высказывания. Однако, в отличие от придаточного предложения (because-clause), которое почти всегда может быть перемещено в начальную позицию, в сложном предложении с *for* такая перестановка невозможна вследствие бо́льшей независимости и самостоятельности второй части. Структура **For it was hot, the windows were open* является грамматически неотмеченной. Таким образом, и здесь сложное предложение с *for* является сложносочиненным по форме и сложноподчиненным по своей семантике. Другими словами, здесь налицо случай синтаксической нейтрализации оппозиции «сочинение — подчинение».

В ряде случаев связь между двумя частями сложного предложения, осуществляемая с помощью союза *though*, может также демонстрировать нейтрализацию «сочинение — подчинение»: «He did not know he was doing it, though later he divined it» (J. London, Martin Eden). Хотя по форме данное предложение является сложноподчиненным, союз *though* здесь не выражает характерных для него подчинительных (уступительных) отношений, а скорее присоединяет к первой части дополнительное сообщение, т. е. по содержанию налицо сочинительная связь (присоединительные отношения). Об этом свидетельствует то, что союз *though* допускает замену на сочинительные союзы *but* или *and yet* без изменения смысла всего предложения. Об этом же свидетельствует и невозможность перестановки второй части сложного предложения, вводимого союзом *though*, в начальную позицию, а это признак сложносочиненного предложения. Иначе говоря, дифференциальные признаки оппозиции «сочинение — подчинение» здесь сняты, нейтрализованы.

В сложных предложениях, части которых соединяются подчинительным союзом *so that*, также нередко наблюдается нейтрализация синтаксических связей сочинения и подчинения: *I took no notice of him, so that he flew into a rage*. Несмотря на подчинительную форму союза *so that*, характерной функцией которого является выражение результата или следствия первой части сложного предложения, по смыслу данное предложение обладает и сочинительными признаками. Это доказывается возможностью замены подчинительного союза *so that* чисто сочинительным союзом *so* или союзными наречиями *and therefore*, *thus*, осуществляющими только сочинительную связь, без изменения смысла предложения. Ср.: *I took no notice of him, so he flew into a rage* или «Christine, I suddenly felt as if I were going to faint, so I rushed out in the fresh air» (E. O'Neill, Nine plays).

Подобная нейтрализация наблюдается между бессоюзным сложным предложением, в первой части которого имеются слова *so* или *such*, и сложноподчиненным предложением, в котором придаточная часть вводится подчинительным союзом *that*, коррелирующим с наречием *so* или местоимением *such* в главном предложении. Ср.: «*I'm so hungry I could eat anything*», — *said Prue* [12, с. 278] и *I'm so hungry that I could eat anything*.

Любопытный пример нейтрализации на уровне синтаксических связей представлен оппозицией «сложносочиненное предложение — сложноподчиненное предложение» с так называемым атрибутивным «присоединительным» предложением (continuative clause), вводимым местоимением *which*; ср.: *But today he slept only in snatches which was worse than not sleeping at all*. В данном предложении имеет место по форме подчинительная, а по содержанию сочинительная связь. Части сложного предложения здесь обладают относительной самостоятельностью, ни одна из частей не играет подчиненной роли — налицо признак сочинения. «Присоединительное» предложение не связано с конкретным членом главного предложения и не модифицирует его значения; оно соотносится с первой частью в целом, давая дополнительную информацию о том, что последовало (или последует) дальше. Это доказывается невозможностью постановки вопроса к слову *snatches* или любому другому члену главного предложения. Более того, местоимение *which*, вводящее «присоединительное» предложение, допускает замену на *and it/this* без изменения смысла всего предложения.

Аналогично в предложении «He returned the copies to Gradman, who took them without looking up» (J. Galsworthy, The man of property), где «присоединительное» придаточное предложение вводится местоимением *who*, которое может быть свободно заменено на *and he* без изменения смысла всего предложения.

Проведенный анализ фактического материала показывает, что сущность нейтрализации оппозиции «сочинение — подчинение» заключается в том, что грамматическая (не семантическая) равноправность/неравноправность, служащая релевантным дифференциальным признаком данной оппозиции, оказывается снятой, т. е. в позиции нейтрализации больше нет грамматического «господства» главного предложения над придаточным; грамматическая зависимость между ними становится равноправной [13]: Ср.: *His face was disturbed and troubled, while his clothes were disarranged and untidy* (=*and/but his clothes were...*).

Придаточное по форме предложение не осмысливается здесь как признак главного и потому не допускает грамматического вопроса от главного к подчиненному; обе части сложного предложения грамматически равноправны, а это признак сложносочиненного предложения.

Завершая наши наблюдения процесса нейтрализации в сфере сложного предложения, необходимо отметить специфическую особенность этого типа нейтрализации, заключающуюся в том, что в определенном смысловом контексте оппозиция «сложносочиненное предложение — сложноподчиненное предложение» перестает действовать, поскольку выбор между одним и другим членом оппозиции больше не имеет значения. Иначе говоря, в позиции нейтрализации противопоставленные члены оппозиции могут быть использованы недифференцированно, свободно заменяя друг друга, без изменения смысла высказывания и без нарушения его грамматической правильности.

По аналогии с фонологическими и морфологическими оппозициями данную синтаксическую оппозицию можно было бы назвать эквиполентной, или равнозначной по семантическому наполнению ее членов, которые имеют одинаковую синтаксическую дистрибуцию. Однако несмотря на то, что оба противочлена здесь семантически индифферентны, в таких случаях почти всегда имеются различия в стиле (стилистически обусловленная нейтрализация). В наших примерах все сложносочиненные структуры предложений (союзных и бессоюзных) более типичны для разговорного английского языка, в то время как сложноподчиненные более характеризуют литературно-письменный язык.

Нейтрализация различий между сочинением и подчинением, т. е. между сложносочиненным и сложноподчиненным предложениями, являющимися формами сложной номинации, способными репрезентировать аналогичные ситуации объективной действительности, свидетельствует о том, что эти два вида синтаксических отношений находятся в диалектической связи и взаимодействии.

Остановимся, наконец, еще на случаях нейтрализации основной оппозиции синтаксиса, образуемой взаимной противопоставленностью коммуникативных типов предложений по цели высказывания, поскольку этот вид нейтрализации имеет ряд специфических особенностей.

В отличие от случаев синтаксической нейтрализации, описанных выше, нейтрализация основной трехчленной оппозиции с подразделением на «непобудительные предложения — побудительные предложения» или «невопросительные предложения — вопросительные предложения» возникает в определенных контекстуальных условиях в основном за счет транспозиции одного противочлена оппозиции в сферу употреблений другого. Транспозиция синтаксической структуры предложения из сферы его основного грамматического значения в сферу его противочлена сопровождается реинтерпретацией этого основного значения и ведет к нейтрализации противопоставления. Иначе говоря, нейтрализация через транспозицию предполагает сдвиг в коммуникативном назначении высказывания и изменение стилистической окраски предложения. Она обязательно сопровождается изменением интонации транспонируемого члена.

Случай нейтрализации подобного рода наблюдается, например, при выражении вопроса в форме повествовательного предложения (скрытый вопрос), или при выражении побуждения вопросительной формой предложения и т. п. Проиллюстрируем это несколькими примерами: А. 1) «You want me to laugh?»— «Yes» (W. Saroyan, Selected short stories). Ср.: *Do you want me to laugh* ?; 2) «Constance: And you're not in love with me, Ned? Crossman: No, Con. Not now» (L. Hellman, The autumn garden). Ср.: *Are you not in love with me, Ned*? Вопросительное значение приводимых выше предложений является результатом транспозиции повествовательной формы предложения в сферу вопросительного предложения, достигаемой путем замены интонации повествовательного предложения на интонацию вопросительного предложения. Аналогично и при выражении побуждения вопросительной формой предложения: В. 1) *Will/Would you give me a lift*? Ср.: *Give me a lift, please*; 2) «Miss Wych, dear, will you forgive me?» (M. Arlen, The ancient sin and other stories). Ср.: *Miss Wych, dear, forgive me please*. Побудительное значение этих вопросительных по форме структур также является результатом транспозиции вопроса в сферу побуждения посредством употребления специфической побудительной интонации. При данном виде нейтрализации наблюдаются два возможных направления сближения противочленов оппозиций, которые в терминах М. Я. Блоха определяются как восходящее (замещение сильного члена слабым) и нисходящее (замещение слабого члена сильным). Кроме восходящей и нисходящей нейтрализации, встречаются случаи так называемой равнозначной нейтрализации, под которой М. Я. Блох имеет в виду «замещение одного положительного трансформа другим положительным трансформом» [14]. Восходящую нейтрализацию мы наблюдаем при выражении вопроса в форме повествовательного предложения (см. примеры группы А выше).

Классическим примером нисходящей нейтрализации, возникающей вследствие транспозиции, может служить риторический вопрос, который в функциональном плане тождествен экспрессивно окрашенному декларативному предложению. Он, как известно, характеризуется обратным соотношением значений утвердительности и отрицательности: «What business is that of yours? You mind your own affairs. Could a man own anything prettier than his dining-table?» (J. Galsworthy, The man of property). Равнозначная нейтрализация наблюдается, например, при выражении побуждения вопросительным предложением (см. примеры группы В). Ср. также равнозначную нейтрализацию при выражении побуждения повествовательным предложением, сказуемое которого включает модальный глагол: 1) *You are not to knock at the door when I am working*. (=*Don't knock*...); 2) *You might go to the post-office and buy some envelopes*. (= *Please go to the post-office and buy*...).

Рассмотренные здесь случаи нейтрализации обусловлены рядом причин, среди которых наиболее существенными могут быть факторы стилистические, интонационные, структурные и др.

Проведенный анализ основных случаев процесса нейтрализации в сфере синтаксиса дает возможность заключить, что данное явление тесно связано с функционированием предложения в речи. Нейтрализация — явление синтагматического порядка, происходящее только в определенных контекстуальных условиях. Она реализуется лишь там, где противопоставляемые синтаксические единицы связаны оппозиционными отношениями; иначе говоря, если нет синтаксической оппозиции, то нет и возможности нейтрализации.

Нейтрализация синтаксических оппозиций — это явление только плана содержания, которое коррелирует с определенной внешней формой, поскольку без формы нет содержания, но форма по отношению к содержанию всегда условна, а поэтому нерелевантна. Сущность нейтрализации сводится к тому, что «сигнификативная функция оппозиции перестает действовать» [10]. Поэтому изучение этого явления представляется наиболее плодотворным в плане взаимодействия синтаксиса и семантики.

Наша статья, естественно, не дает и не может дать полного и однознач-

ного решения многих вопросов, связанных со столь сложным явлением, каким является синтаксическая нейтрализация. Она является только скромной попыткой определить сущность нейтрализации на синтаксическом уровне, установить ее характерные типы и те контекстуальные условия, в которых она осуществляется, а также показать существенные отличия от нейтрализации на нижестоящих уровнях. Дальнейшее углубленное изучение явления нейтрализации (наряду с другими синтаксическими явлениями) будет, несомненно, способствовать более адекватному описанию механизма синтаксической нейтрализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960, с. 256.
2. *Martinet A.* Linguistique synchronique. Paris, 1964, p. 187.
3. *Хлебникова И. Б.* Оппозиции в морфологии. М., 1969.
4. *Макаев Э. А.* К вопросу об изоморфизме.— ВЯ, 1961, № 5, с. 50.
5. *Karcevski S.* Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique. Prague, 1927, p. 128.
6. *Булыгина Т. В.* Грамматические оппозиции.— В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968, с. 175—231.
7. *Москальская О. И.* Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1981, с. 98—112.
8. *Василевский А. А., Шапкин А. П.* О нейтрализации на различных уровнях знаковых систем.— В кн.: Уровни языка и их взаимодействие. Тезисы научной конференции. М., 1967, с. 38—42.
9. *Блох М. Я.* Теоретическая грамматика английского языка. М., 1983, с. 251.
10. *Мартине А.* Нейтрализация и синкретизм.— ВЯ, 1969, № 2, с. 96.
11. *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978, с. 270.
12. *Ilyish B.* The structure of modern English. 2-nd ed. Leningrad, 1971.
13. *Головин Б. Н.* Введение в языкознание. 4-е изд. М., 1983, с. 135.
14. *Блох М. Я.* Категория оппозиционного замещения.— В кн.: Вопросы теории английского языка: Сб. трудов Гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. Вып. I. М., 1973, с. 38.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

ХАРИТОНЧИК З. А.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ПРИЗНАКОВЫХ СЛОВ

Особое место в системе производных признаковых слов — имен прилагательных и глаголов — занимают деноминативные дериваты со значением сравнения. Сравнение, пронизывающее всю систему признаковых слов и лежащее в основе возникновения многих классов лексических единиц, находит в производных указанного типа наиболее явное выражение. При этом в семантике дериватов фиксируется как сама операция сравнения, так и параметры, по которым оно проводится. Благодаря этому деноминативные признаковые слова компаративного типа представляют собой чрезвычайно интересное поле для исследования важнейших проблем словообразовательной семантики. Их изучение позволяет не только разграничить более четко сферы действия синтаксической транспозиции и лексической деривации, не только глубже понять специфику мотивационных связей между производящей и производной единицами, но и уточнить границы предсказуемости семантики производного слова, представить в несколько ином ракурсе проблему идиоматичности дериватов и т. д. Главное, однако, состоит в том, что изучение слов указанного типа открывает возможность более глубокого проникновения в механизм и природу номинации. Изложению некоторых результатов исследования производных признаковых слов компаративного типа, проведенного с целью анализа их семантических особенностей, и посвящена данная работа.

При описании семантики производных слов необходимо в первую очередь определить категориальную принадлежность производящих баз, семантику присоединяемых формантов, а также отношения, возникающие между компонентами производных единиц. Задачей первостепенной важности при семантическом описании дериватов является установление общего словообразовательного значения словообразовательных рядов, формируемого на основе наиболее общих свойств сочетающихся элементов производного слова и определенных отношений между ними [1, с. 115].

Такое описание является, по-видимому, достаточно исчерпывающим в том случае, если словообразовательный акт направлен на создание производных, отличающихся от производящих только своей синтаксической функцией, т. е. тогда, когда словообразование предназначено для перевода лексических единиц одного лексико-грамматического класса в другой с целью придания им новых синтаксических ролей. Описание словообразовательного значения, уточненное затем данными о лексических значениях конкретных производящих баз, дает, на наш взгляд, достаточно адекватное представление о семантике производных типа русск. *хождение*, *бледность*, англ. *newness* «новизна», *swimming* «плавание», нем. *die Heimlichkeit* «таинственность, скрытность», *die Berücksichtigung* «принятие во внимание» и многих других отглагольных и отадъективных существительных, возникших в результате транспозиции. Однако для многих производных признаковых слов, образованных способом аффиксации или конверсии, подобное описание явно недостаточно. Это относится в первую очередь к классу признаковых слов, представленному деноминативными прилагательными с общим словообразовательным значением «свойственный тому, что названо производящей основой» и деноминативными глаголами со значением «совершать действие, характерное для того, что названо производящей основой» и занимающему в общей системе признаковых произ-

водных слов особое место. С одной стороны, признаковые слова указанной семантики разделяют свойства соответствующего класса, т. е. являются составной частью производных деноминативного типа в целом. С другой стороны, данный класс признаковых производных слов в значительной степени отличается от других типов деноминативных глаголов и прилагательных. Деноминативные адъективные слова со значением «свойственный тому, что названо производящей основой» по сравнению с другими деноминативными прилагательными, например, со значением «относящийся к тому, что названо производящей основой» (они, как правило, выступают в значениях «сделанный из того, что названо производящей основой» или «состоящий из того, содержащий то, что названо производящей основой» и т. д.), а также деноминативные глаголы со значением «совершать действие, характерное для того, что названо производящей основой» (по сравнению с деноминативными глаголами со значениями «делать так, чтобы, каузировать что-либо» или «действовать с помощью чего-либо» и т. д.) образуют своеобразную семантическую группу признаковых слов (ср. [2, с. 140—174]). Своеобразие этой группы не исчерпывается описываемой многими исследователями невыводимости семантики данных производных из значений их составляющих, наличии так называемых дополнительных семантических компонентов [2, с. 96] и высокой степени их идиоматичности (семантика данных производных не может быть объяснена на основе простой отсылки к мотивирующему слову). Главная их особенность, по нашему мнению, состоит в том, что, в отличие от других типов деноминативных признаковых слов, они отсылают к предмету, явлению и т. д., называемому именем существительным, не как к чему-то целостному и нерасчлененному, а как к «системе качеств и свойств» [3], из которых какие-то свойства, признаки, стороны, действия выступают как определяющие в данной ситуации. Иначе говоря, определяющими для признаковых слов данного типа, как показывают результаты проведенного нами исследования, не является простое указание на связь с какими-то объектами и предметами, называемыми существительными. Назначение таких производных — в эксплицитном, хотя и выборочном, именовании атрибутов и признаков данных предметов и объектов и актуализации компонентов сигнификативного значения именных производящих баз. Ср., например: русск. *материнский* «свойственный матери: ласковый, нежный, родной», *волчий* «свойственный волку: жестокий, хитрый», *обезьянничать* «совершать действия, свойственные обезьяне: кривляться, гримасничать» и т. д., англ. *wiry* «похожий на проволоку: гибкий, крепкий, жилистый, выносливый», *to lord* «совершать действия, свойственные лорду: вести себя самовластно, важничать» и др., нем. *strohig* «соломенный, как солома: безвкусный, ничтожный; пошлый», *affig* «свойственный обезьяне: жеманный, тщеславный, мнящий о себе», *fuchsen* «совершать действия, свойственные лисе: обманывать, надувать, сердить, раздражать, злить» и т. д. [4—9].

Поскольку в признаковых словах указанного типа на поверхность выступают признаки, находящиеся зачастую на положении периферийных и скрытых компонентов сигнификативного значения, или признаки, ассоциируемые с тем или иным предметом и входящие в состав фоновых значений [10], особую значимость для описания семантики таких дериватов приобретает описание семантики производящих баз и условий выбора актуализируемых компонентов их значений.

Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве производящих баз для признаковых производных слов данного типа используются, как правило, те классы субстантивных лексических единиц, для которых характерно наличие в их лексическом значении множества признаков и богатства связываемых с ними ассоциаций. Это идентифицирующие слова, или имена естественные [11, с. 326—356; 12], которым, как известно, присущи тесная связь с денотатом, многопризнаковость, комплексность, синтетичность, гетерогенность семантических компонентов и ряд других свойств [11, с. 335]. Таковы, например, наименования животных, веществ, предметов реального мира и т. д. Они-то и служат основой для следующих признаковых слов в современном русском языке: *кошачий* «свойственный кошке:

ловкий, ласковый, мягкий», *львиный* «относящийся ко льву, принадлежащий ему, такой, как у льва: густой, пышный, грозный», *попугайничать* «совершать действия, свойственные попугаю: бессмысленно повторять что-л.» и т. д. Ср. также англ. *goatish* «козлиный; похотливый», *fluffy* «пушистый, такой, как пух: легкий, мягкий, воздушный; неплотный, рыхлый», *to wolf* «пожирать с жадностью, как волк», нем. *eisig* «ледяной, холодный, как лед», *eselhaft* «как осел: глупый», *äffen* «обезьянничать, дразнить, передразнивать» и т. д.

Из единиц же предикатной лексики, или имен номинальных, однопризнаковых по своей природе, в качестве производящих баз для признаковых производных слов указанного типа выбираются в основном те, которые развивают вторичные значения и, становясь представителями естественного класса имен, приобретают тем самым в данном значении все характеристики идентифицирующего имени [13]. Особенно показательны в этом плане наименования лиц, в частности, наименования лиц по их социальному статусу, по профессии и другие, которые в результате общественной практики воспринимаются как носители многих признаков и характеризуются множеством ассоциаций, связанных с их деятельностью и поведением. Например, русск. *отеческий* «свойственный отцу: исполненный заботы, участия», англ. *soldierly* «свойственный солдату: с военной выправкой, воинственный, храбрый, решительный», *to husband* «совершать действия, свойственные мужу, хозяину: управлять, тратить экономно, экономить» и др.

Разделяя общую тенденцию выбирать в качестве основы для наименования признака имена существительные идентифицирующего типа или же определенные имена существительные предикатного типа, описываемые признаковые слова демонстрируют в разных языках как тождество выбора конкретных производящих баз (ср. русск. *волчий*, англ. *wolfish* «волчий», нем. *wölfisch* «волчий»; русск. *железный*, англ. *ironlike* «железный», нем. *eisern* «железный»; русск. *обезьянничать*, англ. *to ape* «обезьянничать», нем. *äffen* «обезьянничать» и др.), так и различия, особенно значительные в неблизкородственных языках. Ср., например, русск. *петушиться* «вести себя подобно петуху: впадать в смешную запальчивость, запосчивость, горячиться», нем. *krebsen* «совершать действия, свойственные раку: пятиться назад, ползти, карабкаться», англ. *nymphish* «как нимфа: красивый, изящный», нем. *bienig* «усердный, как пчела» и отсутствие их прямых, также производных по своему характеру, коррелятов в сравниваемых языках.

Однако каким бы специфичным ни был круг производящих баз для признаковых слов указанного типа и какие бы различия, диктуемые социально-историческими, культурными, прагматическими и т. д. факторами, ни наблюдались в отдельных языках, они не противоречат общему закону избирательности производящих баз для данных производных. Согласно этому закону обязательным условием, детерминирующим выбор имени существительного в качестве производящей базы для признакового слова заданной семантики, становится отражение в семантике имени существительного каких-то свойств и характеристик, действительно присущих обозначаемому предмету или приписываемых ему говорящими [14], вероятность выбора которых из всей совокупности свойств и признаков предмета, обозначаемого именем, наиболее велика [15].

Именно поэтому для описания семантики признаковых слов указанного типа чрезвычайно необходимым становится расширение информации о семантике производящих баз и обозначаемых ими предметах. Релевантными становятся сведения не только о том, какими свойствами характеризуются те или иные объекты и предметы реальной действительности, но и о том, какие ассоциации существуют у говорящих в связи с этими объектами, предметами, лицами и т. д. Для действительно полного описания семантики признаковых слов требуется не только предварительный детальный семантический анализ производящих баз, значимость которого в целом для словообразования трудно переоценить, но и анализ фоновых значений, тех ассоциаций и дополнительных сведений, которые составля-

ют лексический фон слова [16] и роль которых в семантике и прагматике еще по-настоящему не выяснена [17].

Таким образом, становится ясным, что для адекватного описания семантики признаковых производных слов нельзя ограничиться указанием категориальных значений их производящих баз, как это часто полагали ранее [18], и даже общим описанием их лексических значений. Для исчерпывающего описания семантики признаковых слов данного типа необходимо указание на всю совокупность денотативных, сигнификативных и ассоциативных компонентов субстантивных производящих баз, т. е. компонентов, не имеющих прямого формального выражения и составляющих, по образному выражению И. Б. Шатуновского, «тайную грамматику» имени существительного [19, с. 3]. Это тем более важно, поскольку вследствие несовпадения самих сигнификативно-ассоциативных компонентов в семантике производящих баз или же по причине различий в выборе актуализируемых в производном признаков слова описываемого типа обнаруживают в разных языках немало существенных отличий. Ср., например, русск. *бычиться* «принимать угрюмый вид, быть суровым, хмуриться, упрямиться, дичиться, бояться» и нем. *ochsen* «выполнять трудоемкую работу: зубрить», русск. *лисий* «такой, как лиса: хитрый, лукавый, льстивый» и нем. *fuchsig* «такой, как лиса: рыжий; разъяренный, свирепый» и др.

Описание глубинной семантики производящих имен существительных важно еще и потому, что их многопризнаковость создает предпосылки для актуализации на основе одного значения производящего одновременно нескольких признаков и тем самым для возникновения особого типа многозначности и широкого контекстуального употребления признаковых слов. Так, для производного *стальной* в современном русском языке и его коррелята производного *steely* в современном английском языке значимым оказывается не только то, что сталь — это определенный сплав, вещество, но и то, что сталь имеет определенный цвет (отсюда русск. *стальные воды залива*, англ. *steely grey eyes* «глаза цвета стали»), выделяется своей прочностью и т. д. (отсюда русск. *стальные мускулы*, *стальная воля*, англ. *steely wind* «резкий, холодный ветер»). Аналогичным образом слово *медь* в русском языке и его корреляты в английском и немецком языках предстают в словообразовательных процессах как наименования вещества, обладающего многими признаками: цветом, вкусом, особым звучанием и др. Ср. русск. *медные волосы*, *медный вкус во рту*, *медный голос*, англ. *coppery hair* «медные волосы», *a reddish coppery tinge* «красновато-медный оттенок», *a bitter*, *coppery*, *or metallic taste* «горький, медный или металлический вкус», нем. *kupferiges Gesicht* «медное лицо», *kupferiger Geschmack* «медный привкус».

Не затрагивая подробно вопроса о том, какие признаки наиболее часто выступают в сочетании друг с другом (в настоящее время в лингвистической литературе имеются лишь фрагментарные сведения о наборах признаков, обозначаемых именем прилагательным [20, 21], в целом же изучение возможной комбинаторики признаков в семантике как простого, так и производного прилагательного или глагола — задача будущих исследований), отметим, что это, в первую очередь, признаки, воспринимаемые органами чувств: цвет, вкус, форма, размер и т. д. Хотелось бы одновременно обратить внимание на то, что данные признаки соответствуют главным, первичным значениям имен прилагательных (о первичных и вторичных значениях частей речи см. [22]). Простые, непроизводные слова, их обозначающие, формируют ядро основных семантических разрядов данной части речи [23]. Не случайной представляется также связь перечисленных выше признаков и частных словообразовательных значений, выделяемых в системе имен прилагательных [1, с. 129].

Интересно, что некоторые признаки воспринимаются не как дополняющие друг друга, а скорее как противопоставленные друг другу или даже взаимоисключающие, и в этом случае наименование разных признаков, присущих тому, что названо субстантивной производящей основой, происходит не в пределах одного производного слова, а с помощью ряда про-

изводных единиц, мотивированных одной и той же производящей основой и образованных с помощью разных словообразовательных средств. Иначе говоря, многопризнаковость субстантивных производящих баз и определенные закономерности сочетания признаков создают предпосылки и для возникновения словообразовательных парадигм типа англ. *manly* — *manlike* — *mannish* — *manful* [24, ср. 25], в которых разными производными именуются разные признаки, присущие или приписываемые тому, что названо производящей основой. Ср.: *manly* «обладающий свойствами, характерными для мужчины: не женственный, не боязливый, смелый, решительный», *manlike* «подобный человеку, мужчине, имеющий телосложение или характер мужчины», *mannish* «мужской, присущий мужчине, мужеподобный», *manly* «мужественный, смелый»; ср. также *clerkish* «напоминающий клерка или его работу: чересчур педантичный, тщательный, привередливый, обстоятельный», *clerkly* «обладающий хорошим почерком, спокойный, старательный, прилежный, со скромной внешностью» и др.

На фоне своеобразной картины выбора актуализируемых в производном признаков, которые в разных языках могут и не совпадать, становится ясным, что главным отличием признаковых слов от их субстантивных баз является, по-видимому, противоположная направленность процессов номинации в признаковых словах по сравнению с исходными для них именами существительными. Подобно тому, как семантика имени существительного, называющего предмет, явление и т. д., направлена на обобщение всех его свойств, качеств, на создание целостного представления о предмете и его индивидуализацию, ономасиологическим заданием признакового слова является именование отдельного статического или динамического свойства, признака, качества предмета, мыслимого говорящими в отвлечении от самого предмета. Соответственно образование признаковых слов указанного типа на базе имен существительных предполагает восприятие говорящим предмета не только как чего-то целостного, качественно отличного от другого предмета и потому требующего отдельного наименования, но и как совокупности, средоточия, пучка разных свойств и характеристик, из которых признаки, воспринимаемые органами чувств, а также признаки, отражающие функциональные особенности предмета, явления и т. д., призваны играть в речемыслительной деятельности ведущую роль. Давая наименование тому или иному признаку или даже совокупности признаков путем отсылки к самому предмету — носителю этих признаков, говорящий исходит из понимания предмета как представителя того или иного определенного свойства или свойств, игнорируя при этом другие его свойства и признаки, выступающие в данной ситуации как несущественные и вторичные. (Интересно образование производных существительных типа *белок*, *голубика*, *косилка* и т. д., в которых, напротив, предмет получает наименование по отдельному своему признаку или функциональному предназначению. Ср. [26]). В силу огромного многообразия и различной комбинаторики свойств, присущих предметам, объектам и явлениям реальной действительности, признаковые слова, возникающие на основе наименований этих предметов, объектов, явлений, становятся экономным средством обозначения самых разнообразных свойств и качеств, называют многочисленные нюансы признаков и тем самым значительно расширяют возможности языковой дескрипции.

Специфика процесса образования производных признаковых слов компаративного типа диктует и специфику мотивационных связей между исходным существительным и производным. В отличие от деноминативных производных других типов, которые мотивируются всей семантикой исходного имени или отдельными его лексическими значениями [19, 27], признаковые слова указанной семантики мотивируются отдельными компонентами значений именных производящих баз, что и приводило исследователей к мысли о непредсказуемости значений таких производных и невозможности разработки правил, отражающих закономерности формирования их семантики [27, с. 173—174]. Более глубокое исследование мотивационных связей производящих и производных единиц убеждает нас, од-

нако, в некоторой поспешности подобных решений и необходимости более детального анализа семантики производящих баз.

Заключая описание семантики производных слов указанного типа, следует отметить, что словообразовательная номинация с помощью признаковых слов, в основе которой лежит, как мы стремились показать выше, своеобразный анализ значения производящего имени, специфическая организация сем и топикализация сигнификативно-ассоциативных компонентов в семантике производного, обнаруживает определенные параллели с процессами семантической деривации в сфере имени существительного, которая использует данные признаки для обозначения тех или иных сущностей, выступающих или осознаваемых говорящими в качестве носителей этих признаков.

Многие исследователи пришли к мысли о том, что признаковые слова мотивируются в таких случаях переносными, предикатными значениями соответствующих имен существительных. Так, слово *зверский* объяснялось как мотивированное переносным значением производящего существительного, а именно *зверь* «жестокий, свирепый человек» [28]. Представляется, однако, что в данных случаях мы наблюдаем параллелизм семантических процессов избирательности в двух разных явлениях — вторичной семантической номинации и словообразовании. В то же время процессы семантической деривации и словообразования, несмотря на то, что в их о снове лежит выбор одних и тех же признаков называемого мотивирующим именем объекта или предмета, в описываемом нами материале разнонаправленны: семантическая деривация использует данные признаки для (переносного) обозначения каких-то предметов, объектов или явлений, обладающих данными свойствами, словообразование же используется для наименования самих этих признаков или их совокупностей и разграничения их статического (производные прилагательные) и динамического (производные глаголы) аспектов [29, 30]. Одновременно необходимо подчеркнуть, что акцентируя важность сигнификативно-ассоциативных компонентов основного лексического значения субстантивных производящих баз для образования признаковых слов данного типа, мы отнюдь не считаем, что переносные значения призводящих слов не могут вовлекаться в словообразовательные процессы и выступать в качестве мотивирующих для признаковых слов. Как мы пытались показать в другой своей работе [31], реализация в производном слове как основных, так и вторичных значений производящего является важнейшим фактором, детерминирующим многозначность производных слов. Речь идет лишь о том, что экспликация в признаковых словах сигнификативно-ассоциативных компонентов, заключенных в семантике исходного, производящего имени, не предполагает обязательных мотивационных отношений производного с производящим в его переносных значениях. Это подтверждается фактами образования признаковых слов типа англ. *willowy* «гибкий и тонкий, как ива, грациозный» (*a willowy woman* «стройная и тонкая женщина») от имен существительных, в семантике которых предикатные значения вообще не зафиксированы. Общность же признаков, лежащих в основе словообразовательной номинации и семантической деривации, когда оба эти процесса имеют место, естественна и диктуется, на наш взгляд, тождеством источника мотивации — основным лексическим значением производящего имени. Все это позволяет заключить, что словообразование не в меньшей степени, чем процессы семантической деривации, участвует в создании той своеобразной «картины мира», которая предстает перед нами при исследовании лексических систем разных языков [32].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
2. *Улуханов И. С.* Словообразовательная семантика в русском языке. М., 1977.
3. *Уемов А. И.* Вещи, свойства и отношения. М., 1963, с. 21.
4. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 12-е изд. М., 1978.
5. Словарь русского языка в четырех томах. М., 1957—1961.

6. Большой англо-русский словарь. 3-е изд. М., 1979.
7. Большой немецко-русский словарь. 2-е изд. М., 1980.
8. Webster's Third new international dictionary of the English language. Springfield (Mass.), 1961.
9. *Hornby A. S., Cowie A. P., Gimson A. C.* Oxford advanced learner's dictionary of current English. Oxford University Press, 1980.
10. *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Лингвострановедческая теория слова. М., 1980, с. 25, 41—46.
11. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.
12. *Степанов Ю. С.* Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика. М., 1981, с. 50—96.
13. *Шатуновский И. Б.* Синтаксически обусловленная многозначность «имя номинального класса → имя естественного класса».— ВЯ, 1983, № 2.
14. *Plank F.* Morphologische (Ir-)Regularitäten: Aspekte der Wortstrukturtheorie. Tübingen, 1981, S. 102.
15. *Motsch W.* Ein Plädoyer für die Beschreibung von Wortbildungen auf der Grundlage des Lexikons.— In: Perspektiven der Wortbildungsforschung. Bonn, 1977, S. 184.
16. *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М., 1983, с. 57.
17. *Lakoff G.* Getting the whole picture: the role of mental images in semantics and pragmatics.— In: Proceedings of the Annual meeting of the Berkeley linguistic society. Berkeley, 1980.
18. *Соболева П. А.* Моделирование словообразования.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972.
19. *Шатуновский И. Б.* Проблемы словообразовательной транспозиции (на материале русского языка): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982.
20. *Williams J. M.* Synaesthetic adjectives: a possible law of semantic change.— Language, 1976, v. 62, № 2.
21. *Дзоценидзе Н. А.* Явные и скрытые компоненты значения слова (на материале имен прилагательных современного английского языка): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982, с. 12.
22. *Кубрякова Е. С.* Части речи в ономасиологическом освещении. М., 1978, с. 62.
23. *Шрамм А. Н.* Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка). Л., 1979.
24. *Харитончик З. А.* Адъективная словообразовательная парадигма.— Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, 1980, вып. 164.
25. *Земская Е. А.* О парадигматических отношениях в словообразовании.— В кн.: Русский язык. Вопросы его истории и современного состояния. Виноградовские чтения. I—VIII. М., 1978.
26. *Серебренников Б. А.* Номинация и проблема выбора.— В кн.: Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977, с. 147—187.
27. *Янценецкая М. Н.* Семантические вопросы теории словообразования. Томск, 1979.
28. *Авина Н. Ю.* Диахроническое изучение словообразовательных гнезд (на материале гнезда *зверь*).— В сб.: Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982.
29. *Lakoff G.* Irregularity in syntax. New York, 1970, p. 142.
30. Семантические типы предикатов. М., 1982.
31. *Харитончик З. А.* О многозначности суффиксального производного слова (на материале прилагательных современного английского языка).— В кн.: Романское и германское языкознание. Вып. VI. Минск, 1976.
32. *Кацнельсон С. Д.* Содержание слова, значение и обозначение. М.— Л., 1965, с. 108.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

БЕРКЕТОВА З. В.

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ МОТИВАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Проблема систематизации лексики разрабатывается в течение ряда десятилетий. Однако она остается актуальной в настоящее время, т. к. решалась до сих пор на ограниченном материале и только на основе семантической близости лексем. Ю. Н. Караулов в этой связи справедливо отмечает: «... из детально проработанных фрагментов не возникает отчетливого образа системы, который мог бы вылиться в краткую и членораздельную формулу, сконцентрировавшую, вобравшую в себя всю семантическую энергию, способную при обратном движении „расщепляться" и доводить исследователя от универсальной схемы до любого отдельного лексического элемента. Думается, что с мыслью ... о такой сокровенной формуле пишутся все лексикологические работы» [1, с. 168].

Предметом исследования в настоящей статье являются системные связи в лексике современного немецкого языка между наиболее частыми и семантически весомыми лексемами. Наша цель — выявить семантическое пространство в пределах лексем, не имеющих на первый взгляд ничего общего в значении. В качестве основания, позволяющего обнаружить непрерывность семантического пространства, мы избираем мотивационные отношения.

В лингвистической литературе ведется полемика по поводу того или иного понимания принципа системности. Структурный принцип, покоящийся на учете связей между элементами, обоснован Ф. де Соссюром, Л. Ельмслевом, Р. Якобсоном [2—4]. Структурно-субстанциональный принцип, учитывающий не только связи, но и субстанцию элементов, отстаивают В. М. Солнцев, Г. П. Мельников и другие ученые [5, 6]. Мотивационные отношения — это структурно-субстанциональные связи, проявляющиеся в единстве значения и формы мотивирующей лексемы (реализация субстанционального критерия), а также в семантической сочетаемости морфем вторично образованных слов (реализация структурного критерия). При этом придерживаемся следующего определения системы, сформулированного Г. П. Мельниковым. Система — это «любое сложное единство, состоящее из взаимосвязанных или взаимообусловленных частей-элементов, воплощенных в реальную субстанцию и имеющих конкретную схему взаимосвязей» (т. е. отношений) [7, с. 98]. Системность проявляется особым образом в каждой конкретной подсистеме, и субстанциональный или структурный критерии могут быть ведущими в зависимости от характера подсистемы.

Мы исходим из того, что в любом языке имеется ограниченный набор слов, являющихся системным центром большого числа других лексем. Обычно значения малого числа слов входят в качестве компонентов в семантику значительного по объему корпуса лексем. Это доминанты синонимических рядов, ядерные центры лексических полей, слова, обладающие большой словообразовательной активностью. Ограниченный набор лексем, семантика которых пронизывает большое число других слов, можно назвать опорными лексемами языка, на которых зиждется непрерывность семантического пространства.

Наше внимание обращено на лексемы, активные в словообразовательном отношении и выступающие в качестве компонентов вторично образованных слов. Подобные лексемы частично мотивируют и тем самым систематизируют вокруг себя большое число вторичных слов, в связи с чем

логично называть такие лексемы «мотиваторами» [8, 9]. Совокупность сложных и производных образований, включающих в свой состав слово-мотиватор, можно представить как мотивационное поле (МП), центром которого является лексема-мотиватор. Центр-мотиватор — систематизирующее начало: его семантика и форма пронизывают вторичные слова, образующие МП. МП — множество вторично образованных слов, связанных мотивационными отношениями с центром. В качестве примера рассмотрим опорную лексему (центр-мотиватор) *Dienst-*. Она входит в 86 вторичных слов по словарю Г. Варига [10]: *Dienstabteil*, *dienstbar*, *Dienstbefehl*, *dienstfrei*, *Dienstreise* и др. Вторичные слова — элементы МП; *-abteil*, *-reise*, *-bar*, *-frei*, *Dienst-* — компоненты этих элементов.

Сплошное обследование ряда словарей немецкого языка начали со словаря А. А. Лепинга и Н. П. Страховой [11]. МП легко выделимы, они представляют собой большие массивы словаря. Вычленили около 170 МП, содержащих не менее 30 элементов (принятый порог, который мы определили, ориентируясь на ассоциативные поля Ю. Н. Караулова [12]). Полученные результаты были сопоставлены с данными словаря Г. Варига. Несмотря на некоторые расхождения абсолютное большинство установленных центров-мотиваторов совпало в обоих словарях и включило не менее 30 элементов. Подобные же результаты мы обнаружили, просмотрев [13, 14]. Все исследуемые центры-мотиваторы включены в словарь-минимум немецкого языка, предназначенный для средней школы [15]. Сопоставив материал с данными частотного словаря Х. Мейера [16], мы пришли к заключению, что все они, а также многие элементы МП включены в наиболее частотные ранги лексики немецкого языка, которая составляет 15,9% всего словаря и покрывает 96,3 % текста. Анализ списка мотиваторов позволяет охарактеризовать их следующим образом: 1) исследуемые центры-мотиваторы по своей частотности входят в словари любого объема и назначения; 2) наиболее полные словари (включающие не менее 80 тысяч слов) содержат достаточное число элементов МП. Одни и те же слова одинаково ведут себя в словарях различного объема и назначения, т. е. являются своего рода лексическими константами; 3) центры-мотиваторы активны в словообразовательном отношении, образуют обширные МП по продуктивным моделям и обладают большой организующей силой — 153 МП систематизируют около 12 тысяч вторичных слов. Названные обстоятельства свидетельствуют о том, что исследуемые лексемы обладают большим системным весом [17, 18]; 4) в качестве центров-мотиваторов выступают имена — подавляющее большинство существительных — 95 (≈63%), прилагательные — 32 (≈21%), наречия — 14 (≈9%), числительные — 12 (≈7%); 5) с семантической точки зрения центры-мотиваторы обозначают наиболее важные жизненные понятия, а потому в своей основной части могут считаться общечеловеческими: *Wasser* «вода», *Luft* «воздух», *Feuer* «огонь», *Haus* «дом», *Krieg* «война», *Handel* «торговля», *Welt* «мир, вселенная», *Geld* «деньги», *Mann* «мужчина», *Frau* «женщина» и т. д. (несомненно иную, но во многом совпадающую с нашей характеристику центров семантических полей дает А. Н. Кузнецов [19]).

Оперируя понятиями «МП», «центр-мотиватор МП», «элементы МП», «компоненты элементов МП», мы сознательно отказываемся от термина «словообразовательное гнездо», издавна и с успехом применяемого в лексикологии. При этом имеем в виду следующее. Во многих исследованиях по словообразовательным гнездам анализируется формальный аспект проблемы: устанавливаются словообразовательные типы в пределах гнезд, определяется возможность образования различных частей речи от исходного слова (П. А. Соболева, Е. Л. Гинзбург, И. В. Альтман и другие авторы). Нас же интересует семантическая продуктивность мотивирующей лексемы независимо от типов словообразования и принадлежности вторичных слов к различным частям речи. В ряде исследований по словообразовательным гнездам, которые прослеживают семантические взаимосвязи внутри гнезда, устанавливаются ряды, зависящие от определенных значений мотивирующей основы, исследуется модификация лексического значения этой основы в зависимости от сочетаемости

с другими словообразовательными элементами (работы А. И. Моисеева, О. М. Соколова, А. Н. Тихонова, И. С. Улуханова, В. В. Лопатина, О. П. Ермаковой и др. авторов), моделируется «приращенное» значение (И. Г. Милославский). Для обнаружения системных связей важна не модификация, а сохранение лексического значения исходной лексемы, которое реализуется во вторичных словах. Исследуемые МП имеют семантические свойства, соответствующие характеристикам, присущим лингвистическим полям вообще: определенную протяженность, смысловую аттракцию (но не бинарное противопоставление), целостность, упорядоченность, взаимоопределяемость элементов, произвольность и размытость границ и т. д. [20, с. 127].

Материалом для данной статьи послужили МП с субстантивными центрами. Вначале рассмотрим особенности мотивационных связей в МП данной группы. Используя толковый словарь Г. Варига, мы убедились, что связь между центрами-мотиваторами и элементами МП покоится на прямых, метафорических значениях мотиватора, а также на потенциальных семах-мотиваторах, не отраженных в смысловой структуре центров. Так, в МП *Lauf-* 43 элемента, причем 25 из них мотивированы прямым значением мотиватора «das Laufen, schnelle Gangart»: *Läufer*, *Laufvogel*, *Laufwerk*. 18 элементов мотивированы метафорическим значением мотиватора «Gang einer Maschine»: *Laufkatze*, *Laufachse*, *Läuferwaage*. В МП *Feuer* 106 элементов, причем 67 элементов мотивированы прямым значением мотиватора «Verbrennung unter Flammenentwicklung bei Licht- und Wärmeabgabe»: *Feuerbestattung*, *Feuergitter*, *feuerfest*, *Feueranzünder*. 12 элементов мотивированы еще одним прямым значением мотиватора «Feuergefecht»: *Feuerzone*, *Feuerkampf*, *Feuerlinie*. 16 элементов мотивированы потенциальной семой-мотиватором, обозначающей признак огня, не отраженный в смысловой структуре центра-мотиватора,— «красный цвет»: *Feuerbohne*, *feuerrot*, *Feuerfuchs*. 7 элементов мотивированы другой потенциальной семой-мотиватором, также не отраженной в смысловой структуре слова. Эта сема-мотиватор обозначает признак огня, его способность светиться: *Feuerkugel*, *Feuerzeichen*, *Feuerbake*. Приведенные примеры наглядно представляют систематизирующую функцию центра-мотиватора МП по отношению к элементам поля и свидетельствуют о наличии системных связей.

Анализу были подвергнуты 95 МП с субстантивными центрами-мотиваторами, в результате чего мы пришли к заключению, что основной группирующей силой обладают прямые значения мотиваторов, примерно в 85% случаев; около 9% материала приходится на потенциальные семы-мотиваторы. Примерно 6% элементов МП группируется метафорическим значением мотиватора. Эти наблюдения позволяют заключить, что в словообразовании отражаются общие закономерности процесса номинации — избираются отдельные мотивировочные признаки, в качестве которых выступают прямые и метафорические значения центров.

В процессе функционирования в МП возникают и развиваются собственные семантические категории — потенциальные семы-мотиваторы, не отраженные в смысловой структуре центра, но также служащие систематизирующими мотиваторами. Отношения семантической производности между центром МП и его элементами позволяют расширить круг семантических связей в лексических полях, установленных Ю. Н. Карауловым [12, с. 106—107]. Наряду с нулевой оппозицией (равенство), привативной оппозицией (включение), эквиполентной оппозицией (пересечение) дизъюнктивной оппозицией можно говорить об отношении семантической выводимости, для которой характерны не только бинарные, но и многомерные связи.

Установив системность в пределах отдельных МП, попытаемся выявить наличие межполевых связей, что даст возможность показать непрерывность исследуемого семантического пространства. Ж. М. Татиевский делит различные виды системных связей на однонаправленные (или унарные), обоюдонаправленные (бинарные) и взаимоопосредованные (или дуальные) [21]. К однонаправленным связям относятся иерархические

которые Б. А. Успенский характеризует следующим образом: «Отношение подсистем в языке часто характеризуется определенной иерархией; эту иерархию можно описать в виде импликационных утверждений, характеризующих преимущественность одной подсистемы относительно другой в том или ином отношении...» [22, с. 225]. О принципиальном иерархическом устройстве любой из систем, т. е. о вхождении системного образования в более широкую систему, пишет В. Н. Садовский [23]. Предполагая, что отдельные МП как системные образования входят в более широкую систему, мы избрали такие, которые при одинаковой структуре отличаются от других бóльшим объемом, включают компоненты МП меньшего объема и вступают, таким образом, в иерархические отношения с ними. Объем определяем по количеству элементов, входящих в МП. «Числа не просто ищут и находят,— пишет В. Нейман,— поиски их — активный процесс в том смысле, что числовые данные о свойствах и отношениях характеризуют существенные стороны явлений» [24, с. 14]. Наиболее емкие МП мы назвали инклюзивными, т. е. включающими части других. Таковы *Wasser-* и *See-*, имеющие по 169 элементов и значительно превышающие по объему другие МП.

Как известно, расширение понятия обедняет его содержание. Однако «такое обеднение приводит к возрастанию способности обобщенного образа вступать в ассоциации по сходству со все бóльшим кругом конкретных следов и образов и, следовательно, выступать в роли „олицетворителя“ класса тех конкретных образцов, в ассоциации с которыми он вступает для посредничества в актах взаимодействия со средой» [25, с. 208]. Инклюзивные МП гораздо шире по объему, чем остальные, которые называем рядовыми. Рядовые МП являются равноправными по отношению друг к другу, и связь между ними обоюдонаправленная. Поскольку обоюдонаправленные связи в принципе одинаковы и повторяются между отдельными рядовыми МП, то эти связи можно назвать параллельными в отличие от иерархических, подчиняющих все МП одному инклюзивному. Термином «параллельные связи» хотим подчеркнуть относительную равноценность рядовых МП по отношению друг к другу. К рядовым относятся 93 МП с субстантивными центрами. Они включают меньшее число элементов по сравнению с инклюзивными и семантически менее обширны.

Чтобы выявить иерархические связи, мы сопоставили рядовые МП с инклюзивными и установили, что их элементы часто включают общие вторые компоненты. Сочетаемость различных морфем с одними и теми же морфемами свидетельствует о семантической близости первых [25]. Общими мы считаем только те компоненты, которые отдалены от центра одним деривационным шагом (общие компоненты на последующих деривационных шагах нами не учитывались, т. к. они в значительной мере зависят от семантики предшествующего компонента и к центру относятся опосредованно). На данном этапе анализа — систематизации лексического материала — были исключены из исследования производные, т. к. семантика аффиксов имеет более высокий уровень абстракции по сравнению с лексемами, и совпадение в лексической сочетаемости морфем как бы предполагает, включает в себя подобие в словообразовательном и грамматическом отношениях. Вначале устанавливаем общие компоненты всех МП с инклюзивным *Wasser-*. Наибольшую общность вторых компонентов с *Wasser-* имеет *See-*, всего 17: *-bad*, *-blase*, *-fest*, *-mann*, *-nadel*, *-not*, *-nymphe*, *-paß*, *-recht*, *-reise*, *-rose*, *-schaden*, *-schlange*, *-spinne*, *-straße*, *-weg*, *-zeichen*. Наличие столь большого числа общих компонентов у МП соответствует эмпирическому представлению о близости обозначаемых лексемами *Wasser* и *See* понятий. Кроме того, МП *Wasser-* и *See-* включают самое большое число элементов, что также увеличивает возможность пересечения данных МП по общим компонентам. Рассматривая наличие сложных слов в упомянутом словаре, мы отдаем себе отчет в том, что многие из них не нашли в нем отражения. Фиксация наиболее употребительных композитов, представляющих собой продуктивные модели, освобождает составителей словарей от необходимости включать все возможные вторичные слова. Тем не менее, наиболее типичные композиты

представлены в словаре Г. Варига. Основываясь на этих данных, мы проводим анализ мотивационных связей как внутри МП, так и между отдельными полями. Следующее МП *Feuer-* имеет 17 вторых компонентов, общих с *Wasser-*: *-ball*, *-farbe*, *-fest*, *-garbe*, *-geist*, *-kopf*, *-linie*, *-rad*, *-strahl*, *-rohr*, *-säule*, *-not*, *-stein*, *-wanze*, *-wasser*, *-werk*, *-zeichen*. МП *Feld-* имеет 12 общих компонентов с *Wasser-*: *-bau*, *-kunst*, *-hühner*, *-kessel*, *-linie*, *-pflanze*, *-polizei*, *-schlange*, *-stein*, *-waage*, *-weg*, *-zeichen*. МП *Luft-* имеет 13 общих компонентов с *Wasser-*. Интересно отметить, что лексема *Wasser* входит в качестве второго компонента во многие исследуемые рядовые МП: *See* (*See* — *Wasser*), *Feuer-*, *Gas-*, *Eisen-*, *Eis-*, *Berg-*, *Fisch-*, *Grund-*, *Haar-*, *Augen-*, *Gold-*, *Blut-*, *Tag-*, *Mund-*. Это обстоятельство также свидетельствует о семантической близости перечисленных МП. Ряд центров рядовых полей входит в качестве вторых компонентов в МП *Wasser-*. Тем самым они как бы вводят все свое поле в семантическую близость с *Wasser-*: *Wasserlauf*, *Wasserkunst*, *Wassernot*, *Wasserrecht*, *Wasserbau*, *Wassersport*, *Wasserstraße*. Общие вторые компоненты с МП *Wasser-* имеют абсолютное большинство исследованных рядовых МП с субстантивными центрами. Число общих компонентов колеблется от 17 до 1. Исключение составляют 4 МП, не имеющие ни одного общего компонента с *Wasser-*: *Post-*, *Ende-*, *Abend-*, *Gott-*. Возможно, что при увеличении выборки и в этих МП обнаружились бы общие компоненты. В общей сложности МП *Wasser-* имеет 72 общих компонента с другими МП. Остальные элементы определяют его семантическое своеобразие по сравнению с другим МП в той же мере, в какой элементы других МП определяют их семантическую неповторимость.

В результате подобного же сопоставления было установлено, что инклюзивное *See-* имеет общие вторые компоненты с большинством рядовых МП. Самое большое число общих компонентов оно имеет с МП *Wasser-* (17 компонентов). Далее, 12 общих компонентов с МП *Haus-*: *-drachen*, *-hund*, *-handel*, *-katze*, *-leute*, *-macht*, *-mann*, *-recht*, *-stand*, *-spinne*, *-wesen*, *-zeichen*; 10 общих компонентов с МП *Handel-*: *-(s)buch*, *-(s)flotte*, *-(s)gericht*, *-(s)hafen*, *-(s)krieg*, *-(s)staat*, *-(s)stadt*, *-(s)weg*, *-(s)wesen*, *-(s)zeichen*. Компонент *-see* является вторым компонентом в нескольких рядовых МП: *Endsee*, *Grundsee*, *Blutsee* или центры МП — вторые компоненты элементов МП *See-*: *Seestraße*, *Seebuch*, *Seehandel*. С 4 МП *See-* не имеет общих компонентов: *Preis-*, *Draht-*, *Kern-*, *Garten-*. В общей сложности МП *See-* имеет 75 общих компонентов с другими МП. Остальные элементы характеризуют его качественное своеобразие.

Проанализированный материал дает основание утверждать, что отношения между инклюзивными и рядовыми МП можно представить как сложные иерархические связи, базирующиеся на общности вторых компонентов элементов МП, на включении центров рядовых МП в качестве вторых компонентов инклюзивных МП, на включении рядовыми МП центров инклюзивных МП.

Выявляя общие компоненты различных МП, мы отметили особую активность ряда компонентов. Вторые компоненты семантического пространства инклюзивного МП *Wasser-* часто встречаются в различных рядовых МП. Компонент *-mann*, например, входит в 19 рядовых МП: *Seemann*, *Gasmann*, *Bergmann*, *Hauptmann*, *Hausmann*, *Handelsmann*, *Ehrenmann*, *Landsmann*, *Lebemann*, *Geldmann*, *Ackermann*, *Sportsmann*, *Schulmann*, *Arbeitsmann*, *Weltmann*, *Amtsmann*, *Parteimann*, *Milchmann*, *Spielmann*. Наличие общих вторых компонентов в различных МП можно рассматривать как параллельные связи МП.

Приводим список общих вторых компонентов в семантическом пространстве *Wasser-* (цифры указывают на количество рядовых МП, в которых они встречаются):

-recht	— 21	*-farbe*	— 9	*-schaden*	— 6
-bau	— 17	*-straße*	— 9	*-linie*	— 6
-werk	— 13	*-waage*	— 7	*-not*	— 5
-zeichen	— 12	*-kopf*	— 7	*-fest*	— 4
-stand	— 11	*-vogel*	— 6	*-ball*	— 4
-gang	— 10	*-gas*	— 6	*-spinne*	— 4
-reich	— 9	*-rohr*	— 6	*-paß*	— 4

Кроме того, компоненты *-recht*, *-bau*, *-kopf*, *-not* выступают в роли центров рядовых МП *Recht-*, *Bau-*, *Kopf-*, *Not-*. Это значит, что названные МП своими центрами параллельно связаны с другими МП: *Recht-* с 20 МП, *Bau-* с 16 МП, *Kopf-* с 6 МП, *Not-* с 4 МП.

Подобное же явление можно наблюдать и в семантическом пространстве инклюзивного *See-*. Компонент *-recht* встречается в 21 МП: *Wasserrecht*, *Handelsrecht*, *Hausrecht*, *Bergrecht*, *Luftrecht*, *Kriegsrecht*, *Arbeitsrecht*, *Heimrecht*, *Fischrecht*, *Ehrenrecht*, *Grundrecht*, *Stadtrecht*, *Staatsrecht*, *Holzrecht*, *Gasrecht*, *Mutterrecht*, *Strafrecht*, *Notrecht*, *Bodenrecht*, *Eisenrecht*, *Menschenrecht*.

Приводим список общих вторых компонентов семантического пространства *See-* с указанием количества (до 4 включительно) рядовых МП, в которых они встречаются:

-mann — 20	*-zeichen* — 8	*-not* — 5
-weg — 16	*-gang* — 7	*-straße* — 4
-karte — 16	*-staat* — 6	*-paß* — 4
-buch — 14	*-amt* — 6	*-stern* — 4
-reise — 12	*-verkehr* — 6	*-leute* — 4
-wesen — 12	*-schaden* — 6	*-fahrt* — 4
-bad — 8	*-handel* — 5	
	-stand — 5	

Имеются общие компоненты — *-recht*, *-buch*, *-mann*, *-not*, совпадающие с центрами рядовых МП *Recht-*, *Buch-*, *Mann-*, *Not-*. Следовательно, можно утверждать, что по центрам этих МП проходят их параллельные связи с другими МП: МП *Mann* — с 19, *Recht* — с 21, *Buch* — с 13, *Not* — с 4.

Установленные параллельные связи свидетельствуют о непрерывности семантического пространства между МП. Дальнейшие наблюдения за материалом дали возможность выявить общие вторые компоненты, встречающиеся в инклюзивных *Wasser-* и *See-*, на основе чего констатируем параллельные связи и между ними. Наиболее активные компоненты каждого из инклюзивного МП : *-mann*, *-recht*, *-weg*, *-zeichen*, *-stand*, *-not*, *-gang*. Рассмотрение этих элементов позволяет установить параллельные связи между двумя инклюзивными МП, т. е. семантическую непрерывность всего корпуса исследуемой лексики.

Обнаруженные общие вторые компоненты не только свидетельствуют о семантической близости центров, но и направляют ход дальнейших поисков. Справедливо задать вопрос: в чем конкретно проявляется семантическая общность между отдельными центрами-мотиваторами (такими словами, как *Wasser* и *Sonne*, *Wasser* и *Gas* и т. д.)? Чтобы ответить на этот вопрос, мы сопоставили смысловые структуры исследуемых лексем, используя дефиниции словаря Г. Варига [10]. Рассмотрим вначале такие случаи, в которых значения центров непосредственно связаны по прямым или переносным (периферийным) значениям с центром *Wasser-*. Так, в дефиниции центра *Wasser-* присутствует *See* «Inhalt von Meer, See, Fluß». Этот факт свидетельствует о частичной синонимичности *Wasser* и *See* в определенном значении, что находит подтверждение в общности морфемной сочетаемости. В непосредственной семантической связи с *Wasser* находятся слова, в дефинициях которых присутствует слово *Wasser* или слова, содержащиеся в дефиниции *Wasser*. Например, *Eis* «gefrorenes Wasser». Семантическая близость отражается в морфемной сочетаемости: *Eisgang*, *Wassergang*, *Eiswasser*. *Milch* и *Wasser* содержат в дефинициях слово «Flüssigkeit», что также свидетельствует об их непосредственной семантической близости. *Wasser* «farblose bei 0° C gefrierende Flüssigkeit...»; *Milch* «weiße Flüssigkeit, die von weiblichen Säugetieren und Menschen ausgeschieden wird». Семантическая общность в данном отношении реализуется в морфемной сочетаемости: *Blutbad*, *Wasserbad*; *Blutblase*, *Wasserblase*; *Blutwasser*. *Feuer* и *Wasser* имеют общие переносные значения: *Wasser* «Glanz, Durchsichtigkeit, Reinheit der Edelsteine»; *Feuer* «Glanz, Funkeln (von Augen, Edelstein)». Семантическая

общность в данном отношении реализуется в морфемной сочетаемости: *Feuersäule*, *Wassersäule*; *Feuergarbe*, *Wassergarbe*; *Feuerstrahl*, *Wasserstrahl*; *Feuerwasser*.

Слово *Fisch* имеет в своей дефиниции *Wasser*: «im Wasser lebendes Wirbeltier». Между *Fisch* и *Wasser* существуют устойчивые ассоциативные связи. Ю. Д. Апресян считает, что ассоциативные связи могут отражаться в основных значениях слов и часто обозначают господствующую в данном обществе практику использования денотата [26]. Семантическая связь между *Wasser* и *Fisch* отражается в морфемной сочетаемости: *Fischweg*, *Wasserweg*; *Fischrecht*, *Wasserrecht*; *Fischwasser*. Один из синонимов слова *Lauf* — *Bewegung*. Между водой и движением в реке, море существуют также устойчивые ассоциативные связи. Следовательно, по этому компоненту в значении *Lauf* непосредственно связано с *Wasser*, что отражается в морфемной сочетаемости: *Wasserrad*, *Laufrad*; *Wasserlauf*. Лексема *Lauf* в значении «sportlich betriebenes Laufen» непосредственно связана с *Spiel*. В морфемной сочетаемости отражается семантическая связь между *Lauf* и *Spiel*: *Laufspiel*, *Laufzeit*, *Spielzeit*. Что касается семантической связи между словами *Luft*, *Gas*, *Wasser*, то их общность отражается в дефинициях, характеризующих способность воды, воздуха и газа принимать форму тех пространств, резервуаров, в которых они находятся: «Gas — Aggregatzustand der Materie, in dem sie infolge freier Beweglichkeit der Moleküle keine bestimmte Gestalt hat, sondern jeden Raum, in den sie gebracht wird, ausfüllt». *Luft* определяется через *Gas*, следовательно, *Luft* присущи свойства *Gas*: «Luft — Gasgemenge, das die Atmosphäre bildet». *Wasser* не содержит в дефиниции достаточно определенно указанное свойство, однако оно наличествует в какой-то мере в «Inhalt von Meer, See, Fluß», т. е. вода заполняет какие-то пространства и принимает их формы. Семантическая связь между *Luft*, *Gas*, *Wasser* в этом отношении реализуется в морфемной сочетаемости: *Wasserrohr*, *Luftrohr*; *Luftgas*.

Лексемы *Wasser* и *Land* — частичные антонимы. Антонимичность может быть присуща лексемам в различной степени [27, с. 60; 28]: противопоставляются только лексемы, имеющие общие компоненты в значениях [29].

Wasser и *Land* образуют цепочку (*вода—море—суша*; *Wasser—See—Land*). *Land* определяется через синонимы *Erdboden*, *Grund*. В свою очередь *Boden* присутствует в дефиниции центра *Acker-*, где *Boden* употребляется в качестве синонима к *Feld*: «Acker — landwirtschaftlich bebauter Boden; Feld». Исходя из этих данных, мы выстраиваем цепочку опосредованной семантической связи *Wasser* ↔ *Land* → *Grund* → *Boden* → *Feld* → → *Acker*. Семантическая связь отражается в морфемной сочетаемости: *Ackerbau*, *Feldbau*; *Ackermann*, *Landmann*; *Grundwasser*; *Grundrecht*, *Bodenrecht*, *Ackerland*.

Лексема *Boden* присутствует в дефиниции *Erde* «der Boden als Grundlage des Pflanzenwachstums». В дефиниции другого значения *Erde* присутствует *Sonne* как член той же системы, непосредственно связанной с землей: Erde «von der Sonne aus der dritte der neun Planeten unseres Sonnensystems». Цепочку опосредованной семантической связи можно продолжить:

Boden ⟶ *Erde*
↓
Sonne

Семантическая связь между *Erde* и *Sonne* отражается в морфемной сочетаемости: *Sonnenstrahlen*, *Erdenstrahlen*; *Erdwärme*, *Sonnenwärme*; *Erdlicht*, *Sonnenlicht*; *Erdferne*, *Sonnenferne*. Центр *Berg-* имеет следующую дефиницию: «deutlich sichtbare größere Geländeerhebung». Семантическая цепочка связи такова: *Wasser* ↔ *Land* → *Gelände* → *Berg*. Лексема *Gelände* не относится к центрам МП. Мы используем ее в качестве своеобразного семантического мостика, или «метаимени», чтобы установить семантическую связь. Метаимена не отражают «...никакого объективного множества, но обслуживают потребности самой лексической системы» (например, слово «совокупность») [30, с. 48]. Семантическая связь между

Berg и *Land* реализуется в морфемной сочетаемости: *Bergbau*, *Landbau* *Bergmann*, *Landmann*; *Bergland*. Роль метаимени выполняют и лексемы *Gewächs* и *Pflanzenwachstum* в установлении семантической цепочки *Erde* → *Baum* → *Holz*. Слово *Holz* имеет одну из дефиниций *Baum*, а *Bäume* «Holzgewächs aus Stamm und Krone», «Erde — der Boden als Grundlage des Planzenwachstums», следовательно, семантическую опосредованную связь можно представить в следующей цепочке: *Wasser* ↔ ↔ *Land* → *Erde* → *Pflanzenwachstum* → *Baum* → *Holz*. Семантическая связь отражается в морфемной сочетаемости: *Baumschnitt*, *Holzschnitt*. Семантическую связь между такими центрами, как *Wasser* и *Staat*-, устанавливаем через *Land*, синонима к *Staat*. Семантическая цепочка опосредованной связи имеет вид: *Wasser* ↔ *Land* → *Staat*. Семантическая связь *Staat* и *Land* в этом отношении отражается в морфемной сочетаемости: *Landeskunde*, *Staatskunde*; *Staatsregierung*, *Landesregierung*; *Staatsmann*, *Landsmann*; *Staatsrat*, *Landesrat*; *Staatsminister*, *Landesminister*, *Staatswissenschaft*, *Landeswissenschaft*; *Staatsunternehmen*, *Landesunternehmen*.

Поскольку в данной статье иллюстрируется лишь часть исследуемого материала, то здесь не отражены реальные семантические связи между такими лексемами, как *Wasser* и *Haus*, *Wasser* и *Haupt*, *Wasser* и *Eisen*. Семантические цепочки прерываются из-за отсутствия других необходимых в данных случаях центров МП.

Итак, описанные нами семантические связи между центрами-мотиваторами установлены на основе общности в основных и периферийных типах значений, а также путем опосредованных семантических цепочек. Проведенное исследование позволяет сделать заключение о роли первого и второго компонентов сложных слов в установлении системных связей. Первые компоненты (центры МП) выполняют ведущую роль непосредственно в МП; вторые компоненты выполняют основную функцию главным образом в установлении межполевых связей. Семасиологический метод исследования системности подтверждает в определенном отношении результаты, полученные при ономасиологическом подходе, осуществленном на материале тезауруса Ю. Н. Карауловым [1].

Семантическое пространство в пределах МП с субстантивными центрами строится на основе принципа мотивированности, избранного в качестве ведущего и подчиняющего себе остальные типы тождественных связей: синонимические, антонимические, гиперо-гипонимические, тематические и т. д. Можно предполагать, что подобные же результаты будут обнаружены при исследовании МП, центры которых образуют имена, относящиеся к другим частям речи. Практическим результатом подобного исследования явится словарь системных связей естественного языка. В качестве его словарных единиц следует рассматривать отдельные МП, между которыми обнаруживаются иерархические и параллельные связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Караулов Ю. Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка М., 1981.
2. *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики.— В кн.: *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
3. *Ельмслев Л. А.* Пролегомены к теории языка.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
4. *Якобсон Р. О.* Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
5. *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
6. *Мельников Г. П.* Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978.
7. *Мельников Г. П.* Системная лингвистика и ее отношение к структурной.— В кн.: Проблемы языкознания: Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов. М., 1967.
8. *Маслова-Лашанская С. С.* Метафорическая деривация.— В кн.: Скандинавский сборник. Таллин, 1979.
9. Мотивационный диалектный словарь. Томск, 1982.
10. *Wahrig G.* Deutsches Wörterbuch. Gütersloh, 1978.
11. *Лепинг А. А.*, *Страхова Н. П.* Немецко-русский словарь. М., 1965.
12. *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М., 1976.

13. Das große Wörterbuch der Deutschen Sprache in 6 Bänden. Mannheim — Wien — Zürich, 1977.
14. *Klappenbach R.*, *Steinitz W.* Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Bd. 1—6. Berlin, 1978.
15. *Любимова З. М.*, *Рахманов И. В.* Словарь наиболее употребительных слов немецкого языка. М., 1967.
16. *Meyer H.* Deutsche Sprachstatistik. Hildesheim, 1964.
17. *Скороходько Э. Ф.* Семантические связи в лексике и в текстах.— В кн.: Вопросы информационной теории и практики. № 23. М., 1974.
18. *Skorochod'ko E. F.* Semantische Relationen in der Lexik und in Texten. Bochum, 1981.
19. *Кузнецов А. Н.* Структурно-семантические параметры в лексике. М., 1980.
20. *Денисов П. Н.* Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1980.
21. *Татиевский Ж. М.* Системность отношения и отношение системности.— В кн.: Системный метод и современная наука. Новосибирск, 1976.
22. *Успенский Б. А.* Отношение подсистем в языке и связанные с ними универсалии.— В кн.: Проблемы языкознания: Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов. М., 1967.
23. *Садовский В. Н.* Основание общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974.
24. *Neumann W.* Über Multidisziplinäres, Interdisziplinäres und Spezifisches in der Linguistik.— Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1979, Bd. 32, Hf. 2.
25. *Мельников Г. П.* Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978.
26. *Апресян Ю. Д.* Английские синонимы и синонимический словарь.— В кн.: Англо-русский синонимический словарь. М., 1979.
27. *Миллер Е. Н.* Природа лексической и фразеологической антонимии. Алма-Ата, 1978.
28. *Миллер Е. Н.* Отображание в антонимии неязыковых явлений — ВЯ, 1979, № 1.
29. *Новиков Л. А.* Антонимия в русском языке. М., 1973.
30. *Степанов Ю. С.* Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. Под ред. Аванесова Р. И., Иванова В. В.—М.: Наука, 1982. 436 с.

Рецензируемый том, подготовленный силами сотрудников Института русского языка АН СССР, в основном Сектора истории языка и диалектологии, описывает историю развития грамматических категорий и форм глагола, начиная с эпохи древнейших памятников древнерусского языка до XVII в. включительно, в первую очередь — форм словоизменения — парадигматики.

Представленная вниманию читателей историческая грамматика в целом отвечает тем требованиям, которые можно было бы предъявить к работам академического типа: концептуальность, охват всех сторон системы языка, опора на предшествующую научную традицию. Материал разных глав в ней рассматривается в рамках в целом единой композиционно-концептуальной структуры: за исходную принимается система русского языка эпохи конца X — начала XI в.— эпохи после утраты носовых и до смягчения полумягких согласных. Хотя опорные точки исходного периода — моменты истории фонетической системы древнерусского (общевосточнославянского) языка, а не ожидаемой морфологической, выбор его в качестве исходного не может вызвать возражений, поскольку именно к этому времени относится появление древнейших письменных памятников русского языка — главных источников исследования.

Далее эволюция форм глагола (форм времени, наклонения, вида, причастий) прослеживается в рамках древнерусского (общего всем восточнославянским языкам) периода (XI—XIV вв.) и старорусского (XV—XVII вв.) периода. Подобное деление едва ли вызовет возражение у историка языка, поскольку объективно установлено, что в XIV—XV вв. происходит формирование самостоятельных восточнославянских языков. Такая единая композиционная структура и принятая концептуальная схема в целом соблюдается авторами разных разделов (В. В. Ивановым — история временны́х форм, В. Н. Белоусовым — история форм повелительного и сослагательного наклонений, В. Б. Силиной — история категории глагольного вида, И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко — история причастий), что придает работе характер не сборника, а коллективного монографического исследования.

Что касается полноты охвата системы языка, грамматических категорий глагольной лексики в ее истории, то здесь можно отметить известные лакуны.

Если достаточно подробно и полно изложена история временны́х форм, морфологическая схема выражения глагольного вида, история причастий, намечена классификация глаголов в исходной системе, то обойдены вниманием супин, инфинитив, залог. Из иллюстраций книги видно, что супин сохранялся в памятниках еще в XIV в. и начале XV в. (см. с. 208, 223). Ничего не говорится в грамматике об эволюции форм инфинитива в чисто морфологическом плане, а также форм *л*-овых причастий. Залоговым отношениям (действительный, страдательный, средний залог) уделено определенное внимание лишь при описании истории причастий, т. к. формы выражения залоговых отношений в глагольном имени довольно явственно морфологичны — суффиксы. Но в спрягаемых формах эти отношения также выражались, и предметом рассмотрения могло бы явиться прослеживание постепенного перехода от лексикализованного местоимения *ся* (возможны вариации — *себе*, *си* в свободной синтаксической позиции: в пре- и постпозиции дистантной и контактной) к морфологизованной частице — аффиксу *ся*.

Использование в книге богатейших словарных исторических картотек Института русского языка АН СССР [1, 2] позволило уточнить хронологию ряда процессов в исторической морфологии русского глагола, наметить и выразить более определенное мнение об их жанрово-стилистической принадлежности книжно-славянскому или народно-литературному типу древнерусского и старорусского языка, пользуясь терминологией В. В. Виноградова. Список использованных источников (с. 417—433) насчитывает более 360 названий, количество же источников несравненно большее, т. к. одно название (например, акты) включает в себя не один десяток самостоятельных документов (источников). Среди них главное место принадлежит публикациям, но весьма внушителен процент рукописных оригиналов. Их в числе 360 названий более 100, включая рукописные собрания научных материалов: картотеки упомянутых выше исторических словарей русского языка, Словаря современного русского литературного языка, Псковского областного словаря, материалы Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ). Широко использованы публика-

ции старых текстов (в основном старорусских), подготовленные специалистами различного профиля: историками, литературоведами, лингвистами. Последние наиболее информативны, т. к. в передаче оригиналов удовлетворяют запросы не только исследователей исторического синтаксиса и морфологии, но также и фонетики, а некоторые явления исторической морфологии нельзя объяснить, не привлекая данных фонетики. Среди привлеченных источников особо следует выделить публикации древнерусских и старорусских текстов, подготовленные сотрудниками Сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР. К сожалению, в книге не используются рекомендованные издателями сокращения этих публикаций, причиной чего является следование перечням источников для исторических словарей русского языка [3, 4].

Список использованных исследований (с. 412—417), ссылки на которые в тексте работы даны весьма компактно и экономно (с указанием автора и года издания), включает 125 названий. Здесь все основные отечественные курсы по истории русского языка (Н. Н. Дурново, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, П. С. Кузнецова, В. В. Иванова), однако нет ни одного зарубежного — В. Р. Кипарского, К. Г. Мейера, В. К. Мэтьюса, содержащих разделы по морфологии глагола. Список не дает представления о библиографии вопроса, изучать по нему историографию вопроса нельзя. Да и в соответствующих главах книги историко-библиографический раздел отсутствует. По-видимому, он представился авторам книги ненужным. При наличии в перечне «Исследования» работ по современному языку и общетеоретическим проблемам русистики мы не найдем в нем обобщающих монографических работ (не говоря о статейном материале) по отдельным аспектам глагольной морфологии, хотя в предисловии (с. 3—4) говорится об использовании монографических исследований и даже диссертаций (кандидатских и докторских).

Книга состоит из Введения и разделов: Классификация глаголов в исходной системе; История временны́х форм глагола; История форм повелительного наклонения; История форм сослагательного наклонения; История категории глагольного вида; История причастий. К книге прилагаются списки цитируемых исследований и использованных источников.

Во Введении дается общая характеристика основных положений исторической морфологии и исходной морфологической системы, описание принципов ее реконструкции и частей речи в ней (конец X — начало XI в.). От этой исходной точки начинается отсчет эволюции явлений в различных разделах книги.

Принципы классификации глаголов в исходной системе, предложенные В. Б. Силиной, не вызывают в целом возражений. Выделяются по соотношению претеритальной основы (прич. на *-lъ*) и презенса (3-е л. мн. ч.) пять суперклассов и 12 классов. Они охватывают всю известную нам глагольную лексику исходной системы. Следует сказать, что подобные опыты классификации на материале древнерусского языка XII—XIII вв. предлагались и ранее [5] (с выделением 3 суперклассов и 8 классов). Тем не менее следует признать, что все многочисленные опыты классификации древнерусского глагола не вошли в учебно-практический обиход, в то время как классификация А. Лескина, выделившая всего 5 классов (не 12!) и имеющая проекции на современные русские спряжения, не теряет и до сих пор своего учебно-прикладного значения. Не представляется достаточно удачным выбор прич. на *-lъ* как репрезентанта претеритальной основы ввиду фонетических преобразований в причастиях консонантных исходов основ.

В разделе о временны́х формах глагола дается обзор истории форм простых и сложных времен сначала в исходный, а затем древнерусский и старорусский периоды. В этом разделе, как и в других, освещение явлений протекает на сравнительном старославянском (ретроспективный аспект) и диалектном русском фоне, показывающем сохранение в позднейший период архаических форм в народно-разговорном языке. Рассмотрение материала по двум периодам (древнерусскому и старорусскому) представляется внутрисистемно оправданным лишь в отношении аориста, имперфекта и преждебудущего. Что касается других времен (перфекта, плюсквамперфекта, презенса), то рубеж XIV—XV вв. не является одновременно рубежом их истории. Высказанное замечание кажется тем более справедливым, что, например, раздел История форм настоящего времени в XV—XVII вв. (с. 117—124) построен исключительно на диалектном материале по той причине, что письменные памятники XV—XVII вв. не добавляют ничего принципиально нового к древнерусскому периоду. Морфологические и фонетические явления рассматриваются в тесном единстве и взаимозависимости. В необходимых случаях привлекается арсенал фонетических объяснений (*имаш* < *имаси* в Псков. прологе 1383 г.— как отражение смешения ‹с› и ‹ш› — с. 52). Довольно четко очерчиваются хронологические рамки отдельных морфологических явлений. Привлекаются сравнительные данные родственных восточнославянских языков: староукраинского и старобелорусского. Предлагается подчас оригинальное истолкование морфологических явлений, учитывающее слабые стороны предшествующих интерпретаций. Так, ‹т› в 3-м л. презенса глаголов объясняется особой фонетикой флексий, когда ‹т'› становится избыточным (с. 65). Принципиально верны такие исходные предпосылки, как «запаздывание» письменных памятников с фиксацией процессов народно-разговорного языка (с. 90) и осознание неполноты отражения языковых явлений в письменных памятниках (с. 38).

Несколько замечаний по разделу о временах. При анализе аналитических форм будущего времени с *хотѣти* + *инфинитив* следовало бы выделить особо случаи несогласования: *хощеть быти днсь чю-*

беса — ЛЛ 1377, 61 (с. 113) и явной семантической оппозиции: *хочемъ померети отъ глада*, т. к. они ярко свидетельствуют о десемантизации и усилении связочных функций у глагола *хотѣти*. Сомнительно, что выражения *а ôн возьми и пойди*, *а он возьми и побеги* говорят в пользу сохранения старых аористных форм (с. 91). Известны более выразительные примеры пережиточных форм аориста, совпавших с повелительным наклонением: «Но скворушка, услышь, что хвалят соловья... и думает» (Крылов); «Отец-то мой ему и полюбись: что прикажешь делать?» (Тургенев) [6—7]. По-видимому, в истории русского языка дело обстояло таким образом, что в определенный период старые аористные формы преобразовались в формы повелительного наклонения в связи с общей поздней трансформацией значений форм повелительного наклонения в сфере разговорной речи. К числу текстов XVII в., где находили еще применение формы аориста, следует причислить не только летописи (см. с. 125), но также грамотки (частные письма) и некоторые деловые тексты, в которых еще спорадически встречаем аорист в церковных штампах и формулярах: ѡ сем писах Данилко Берестов; судом бжіім отець мои преставися (1669 г.) [8]; преставис ѕдѣ в Праге грає Таѯенски (1628 г.) [9, с. 118]. Формы *помре*, *умре* можно встретить и в современном городском просторечии.

По тому же плану, что и временны́х форм, строится описание истории форм повелительного и сослагательного наклонений (с. 132—157). Раздел наполнен интересным, содержательным материалом, убеждает своими интерпретациями. Позволим себе лишь одно контрсоображение по этому разделу. Полагаем, что повелительное наклонение от *ѣсти* и *дати* не могло употребляться в значении изъявительного (с. 138). Экспансия флексий презенса, свойственных тематическим глаголам (*ѣшь*, *дашь*), могла привести к сближению форм презенса и императива только по звучанию, но не значению.

По-новому (в морфологическом плане) освещается в книге история категории глагольного вида (с. 158—279). Совершенно обоснованно принята ориентация на описание морфологического механизма глагольных видовых корреляций в истории русского языка. Содержательная сторона глагольного вида (значения видов и способов действия) оставлена в стороне, поскольку может явиться предметом специального исследования в работе иного плана. Главным объектом рассмотрения оказывается суффиксация как средство имперфективации, не осложненное, в отличие от приставок, никакими вневидовыми лексическими значениями. Нельзя не согласиться с принципиальной позицией автора раздела, считающего вид категорией не словоизменительной, а лексико-грамматической (с. 247). Устанавливается, что кульминацией в развитии суффиксальной имперфективации было расширение функций неоднофонемного и способного присоединяться к основам любого строения суффикса *-ива* (*-ыва*) как специфически древнерусского средства имперфективации, получившего дальнейшее развитие в старорусский период. Интересны развитые вслед за Ю. С. Масловым наблюдения над так называемым кратно-перфективным употреблением имперфекта глаголов совершенного вида как явлением живого древнерусского разговорного языка (с. 194 и сл.). Определяется, что в период до завершения формирования современной категории вида действовала тенденция к дополнительному распределению членов корреляции по временам (с. 196 и сл.). Делается вывод о том, что со становлением формы будущего времени несовершенного вида (*будет собирать*) сформировалась и та видо-временная система русского языка, которая представлена в его современном состоянии (с. 197 и сл.), когда каждый коррелят получает полную самостоятельную парадигму форм времени и принцип дополнительной дистрибуции нарушается. Отмечены случаи контаминации корреляций, расширения коррелятивного ряда за пределы пары глаголов и создания усложненных трех- и четырехчленных корреляций (*съкупити — съкупати — съкупляти — съкупливати*, с. 227, 232). Автор приходит к выводу, что современные видовые корреляции могли сложиться не ранее XVII в.

Выскажем несколько соображений по видовому разделу. Не везде достаточно учитывается возможная двойственность грамматической интерпретации форм, например, *въпрошевати* ввиду наличия ⟨ш⟩ могло быть образовано от *въпрашати* с выравниванием корневого чередования *а → о* (с. 173). Кстати, вопросу о чередовании согласного в исходе основ с суф. *-ива* уделено недостаточно внимания. Между тем здесь целесообразны поиски ответа на вопрос: что влияло — аналогия с формой 1-го л. ед. ч. презенса или наличие промежуточного имперфектива на -ja-. Некоторые глагольные формы восстанавливаются умозрительно, без документирования материалом письменных памятников: **умьрти* (реально *умрѣти*), **попьрти*, **начьрти* < *начьрпти* (реально *начьрпнути*), **истьрти* (с. 228). Глаголы на *-nǫ-* могли означать не только мгновенно-одноактный способ действия, но также и процессуальность (ст.-сл. *съхнѫти*, др.-русск. *съхнути* — с. 178). Не всегда учитывается взаимопроникновение парадигм, действовавшее уже в исходной системе ввиду недостаточности ряда парадигм (с. 162, 164). Хотелось бы видеть в разделе некоторые соображения об особенностях поведения заимствованных глаголов в отношении морфологического механизма русского глагольного вида.

Раздел об истории причастий построен несколько отлично от других, в нем нет выделения древнерусского и старорусского периодов. Богато оснащенный материалами сплошной выборки из целого ряда памятников, прилагаемых самостоятельным списком, результатами статистических подсчетов, отраженными в весьма информативных сводных таблицах, разнообразным диалектным материалом, раздел тесно увязывает все это с той карти-

ной эволюции причастных форм, которая выявлена на основании письменных памятников. Много внимания уделено не только формальному варьированию (а это главное), но и синтаксической роли причастий в предложении, а последняя тесно связана с морфологией причастий. Не забыта и жанрово-стилистическая дифференциация текстов, в которых представлена эта морфологическая категория в целом книжного происхождения. Прослеживаются история и пути появления неизменяемых форм — современных деепричастий. Фиксируются примечательные явления грамматической индукции (внешнего уподобления по флексии — *рѣша пришедъша* — с. 304 и др.), где проявляется взаимодействие синтаксиса и морфологии. Показаны следы разрушения старославянского оборота «дательный самостоятельный», когда причастие с флексией *-у* становится обобщенным его показателем (с. 362). Подробно анализируются различные аспекты употребления страдательных причастий прошедшего времени в функции сказуемого в русских говорах (с. 386 и сл.) и отражения этого морфолого-синтаксического явления ранее в памятниках письменности. История причастий, таким образом, показана через призму многочисленных и разнообразных явлений — от связанных с фонетикой до обусловленных контекстно.

Основное возражение по этому разделу вызывает отнесение форм с частицей (приставкой) *не-* к числу причастных образований, а также общее освещение процессов адъективации причастий. Мы не склонны признавать формы с *не-* (*невъздержаемъ*, *невзыскаемъ*, *недоумѣваемыи*, с. 368 и под.) причастиями, поскольку они, во-первых, не имеют (за редким исключением: *недоумѣваше сѧ* [10]) спрягаемых форм и, во-вторых, формально отошлись от парадигмы словоизменения глагола. Заместителями *не-* могут выступать полнозначные именные основы, ср. *очевидимо* и *приснопомнимыи* (с. 369) — наречное образование и прилагательное-композит, без достаточных оснований, на наш взгляд, занесенные в категорию причастных форм. Следовало бы отметить, что адъективация полных форм причастий протекает не только путем изменения грамматической семантики (*вѣрующая грамота* «грамота, предъявителю которой надо верить, доверять»), но и способа образования, когда причастие отрывается от глагольной парадигмы, сохраняя причастный суффикс, но становясь формально прилагательным, ср. *вѣрѹщих* (=верующих) (1627—1628 гг.) [9, с. 104]; *вѣрю-[щую] грамотѹ* (1643 г.) [11]. Не исключены случаи, когда причастие отрывала от глагола и присоединяла к прилагательному лексическая антитеза и одновременно сходство с инфинитивной основой, ср. случаи типа *орамая* (вм. *оремая*) *земля* (с. 367) по аналогии с *орати* «кричать». Авторы раздела прошли мимо формальных особенностей древнего прилагательного *орамая* (*земля*).

В заключение следует сказать, что рецензируемая книга является первым серьезным академическим трудом по исторической морфологии глагола. Им воспользуются специалисты в области истории русского языка, преподаватели исторической грамматики в вузах, студенты, стремящиеся к углубленному познанию эволюции форм русского глагола. В ней они обнаружат не только богатейший, доныне не привлекавшийся в монографиях и статьях материал письменных памятников русского языка, весьма тщательно систематизированный и интерпретированный, но и обрисовку важнейших этапов эволюции основных грамматических явлений и форм русского глагола — одной из наиболее сложных, а вместе с тем и интересных частей речи в системе языка. Вышедшая книга, без сомнения, окажет благотворное влияние на курс Исторической грамматики русского языка в вузах.

Демьянов В. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Словарь русского языка XVIII века. Проект. Отв. ред. Сорокин Ю. С. Л., 1977, с. 3.
2. Лингвистические источники. Фонды Института русского языка. Ред. Котков С. И., Сумкина А. И. М., 1967, с. 106, 124.
3. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи. Под ред. Аванесова Р. И. М., 1966, с. 90—169.
4. Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений. Сост. Геккер С. Ф. Подг. к изд. Романова Г. Я. М., 1975.
5. *Демьянов В. Г.* Опыт классификации древнерусского глагола старшего периода.— В кн.: Лингвогеография, диалектология и история языка. Кишинев, 1973.
6. *Гвоздев А. Н.* Очерки по стилистике русского языка. М., 1952, с. 196.
7. *Шмелев Д. Н.* Об одном случае реликтового употребления формы аориста в русском языке.— В кн.: Материалы и исследования по истории русского языка. М., 1960, с. 287—290.
8. Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из фонда А. И. Безобразова). Изд. подг. Котков С. И., Тарабасова Н. И. М., 1965, с. 46, 103.
9. Вести-Куранты. 1600—1639 гг. Изд. подг. Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г., Сумкина А. И. Под ред. Коткова С. И. М., 1972.
10. Успенский сборник XII—XIII вв. Изд. подг. Князевская О. А., Демьянов В. Г., Ляпон М. В. Под ред. Коткова С. И. М., 1971, с. 41.
11. Вести-Куранты. 1642—1644 гг. Изд. подг. Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г., Сумкина А. И. Под ред. Коткова С. И. М., 1976, с. 43.

Lutterer I., Majtán M., Šrámek R. Zeměpisná jména Československa. Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Malé encyklopedie. Svazek 11.— Praha: Mladá fronta, 1982. 373 s.

Топонимический словарь «Географические названия Чехословакии», подготовленный известными ономастами И. Люттерером (материалы по Чехии), М. Майтаном (материалы по Словакии) и Р. Шрамеком (материалы по Моравии и Силезии), включает 1187 словарных статей. Отбор названий произведен по современной либо исторической значимости объектов, но отдельные топонимы включены в словарь потому, что они «имеют интересную этимологию или репрезентируют некоторые из основных топонимических типов» (с. 9—10). Подавляющее большинство статей посвящено ойконимам. Рассмотрены именования всех городов (у больших городов также и названия их частей), многих местечек и населенных пунктов сельского типа. Из других топонимических классов довольно широко отражены названия рек и гор.

Отбор материала в словаре хорошо продуман и вполне оправдан. Представляется уместным и введение наряду со статьями, описывающими историю названия (или названий) отдельного географического объекта, также статей, обобщающих все случаи употребления определенного топонима, какова, например, статья о самом частотном в Чехословакии ойкониме *Lhota* (489 случаев употребления). Но вот отсутствие анализа названий *Čechy*, *Slovensko*, *Slezsko*, также и *Československo* нельзя расценить иначе, как ощутимую лакуну исследования, тем более — изданного массовым тиражом и ориентированного на широкий круг читателей. Из крупнейших хоронимов Чехословакии в словаре рассмотрено лишь название *Morava*, да и то попутно, в статье об исходном речном именовании. Вероятно, уместна была бы и статья об этимологически очень сложном ороним*е* *Sudety*, который лишь упоминается (с. 133), но не анализируется.

Словарные статьи построены добротно, основательно. После заглавного слова — топонима в его современном написании — дается очень краткое определение соответствующего географического объекта и его локализация. Прочие сведения об объекте и его истории используются в словарной статье лишь в той мере, в какой это необходимо для толкования топонима. А толкование это начинается с истории — с основания либо первого упоминания объекта. Далее по документам приводятся основные формы названия и комментируется их динамика, приведшая к ныне употребительной форме. Эта часть словарной статьи сама по себе важна и содержательна. Очень интересно, например, узнать, что знаменитое название *Аустерлиц* — это лишь' позднейшая немецкая перестройка исходного славянского топонима *Новоседлице* и что ныне данное селение носит название *Славков* — более позднее, но тем не менее фигурирующее в документах с XIV в. (с. 274).

Но история — лишь подготовительный этап для этимологии названия (либо названий — если их несколько). Этимологический аспект топонимического словаря является, несомненно, главным, и поэтому о нем следует сказать особо. Позицию авторов в этом вопросе можно определить как этимологический реализм. Они не увлекаются этимологической научной фантастикой, нередкой в топонимических исследованиях, и не стараются извлечь из топонимов больше исторической информации, чем ее там содержится. Учет истории названия, его документации и существующих либо существовавших вариантов позволяет более строго и достоверно этимологизировать каждый топоним. При этом исследователи не уклоняются от замечаний такого рода, что, скажем, происхождение топонима *Прага* «до сих пор вполне удовлетворительно не объяснено» (с. 245), а иногда и вообще ограничиваются комментарием: «Происхождение названия не совсем ясно».

Этимология по преимуществу дается одна, но подчас сообщается, особенно в спорных случаях, сводка разных толкований топонима. В целом этимологии, избранные или предложенные авторами словаря, приемлемы и надежны. Но, разумеется, в работах такого рода не может не быть дискуссионных моментов. В частности, рецензенту представляется, что увязывание этимологического смысла топонима с его словообразовательной структурой проведено в словаре в отдельных случаях слишком прямолинейно, однозначно. Между тем топонимические суффиксы, как известно, могут со временем выходить за рамки первоначально весьма четких мотивационных ситуаций, семантически абстрагируясь и приобретая самый общий смысл указания на тип географического объекта.

Так, суффиксы *-ice*, *-ovice*, вне всякого сомнения, служили для обозначения людей, зависящих от какого-то лица (названного мотивирующей основой топонима): *Лидице* — «село людей Люда» и т. д. Но обязательно ли в каждом ойкониме на *-ice*, *-ovice* видеть этот смысл? В случаях *Кошице* (с. 155—156), *Левице* (с. 174), например, он более чем сомнителен. Суффикс здесь имеет общетопонимический смысл, так как в первых фиксациях названных ойконимов этого суффикса еще не было.

Сомнения возникают и относительно трактовки речных названий с суффиксом *-ava*. В гидронимах *Морава*, *Опава*, *Влтава* происхождение этого суффикса из герм. *ahwa* «вода» (> *aha* > *au* > слав. *-ava*) можно считать хорошо обоснованным. В двух первых названиях, относящихся к древнейшему, так называемому староевропейскому пласту, германский компонент наслоился позднее в качестве перевода, а в названии *Влтава* он является частью германского композита **Wilth-ahwa* «стремительная вода (река)» (с. 333).

Но авторы словаря обобщают эти слу-

чаи и переносят их как будто бы на все гидронимы с *-ava*, например, *Русава* (с. 263), *Свитава* (с. 290), *Виднава* (с. 329) и др. Однако такое обобщение сомнительно. В славянском мире за пределами ЧССР много топонимов на *-ава* (ср. *Сучава*, *Полтава* и т. д.), которые имеют слишком древнюю документацию, чтобы видеть в них распространение «германизма» *-ава* после его славянской топонимизации, и слишком обширную локализацию, чтобы рассматривать их как прямое продолжение герм. *ahwa*. Не проще ли предположить, что славяне имели древний гидроформант *-ава*, независимый от герм. *ahwa*, и что наличие этого гидроформанта облегчило и обусловило адаптацию германизмов типа *Влтава*?

Говоря об этимологиях отдельных названий, отметим, что происхождение интересного ойконима *Конепрусы* описывается слишком неясно, запутанно (с. 153). Вовсе не определена генетическая языковая принадлежность оронима *Татры* (с. 300), который во вступительной статье отнесен к дославянским (с. 27). В интерпретации этого названия не использован украинский географический термин *товтри* «известняковые гряды». Название города *Острава* в словаре объясняется из реки *Остравы*, но этимология гидронима вообще отсутствует. Для гидронима *Ваг*, однозначно отнесенного во вступлении (с. 27 и 40) к дославянским субстратным названиям, словарь параллельно с германской предлагает также неплохо мотивированную славянскую этимологию (с. 320).

Отдельные недосмотры не снижают общего очень высокого этимологического уровня рецензируемой работы. Что в этой связи воспринимается как заметный недочет, так это отсутствие фамилий, отсутствие указаний авторства этимологий. Составители словаря во многих случаях предложили свои собственные интерпретации. Но есть, вполне естественно, также и немало фактов использования уже существующих этимологий, которые составителями рецензируемого словаря лишь повторяются (с отбором и оценкой этимологий, а иногда и с привлечением дополнительной аргументации). И в этих случаях следовало бы назвать ученого, предложившего этимологию. Это не только повысило бы научную ценность издания, но и позволило бы четко определить тот вклад в этимологизацию чешской и словацкой топонимии, который внесли авторы словаря.

Собственно словарная часть исследования предваряется содержательными общими вступительными материалами, которые включают краткое описание состава и структуры словаря (Предисловие, с. 9—11), очень ценную характеристику этнической истории земель Чехии и Словакии с элементами языковой и хронологической стратификации топонимов («История заселения Чехословакии и хронология топонимических типов», с. 13—20), общий анализ сущности топонимов как имен собственных («Характеристика системы и общественной функции географических названий», с. 20—27), семантическую классификацию географических названий в частичном сочетании с их словообразовательной группировкой («Перечень основных типов географических названий в чешском и словацком языках», с. 28—40), образцы топонимических карт (всего 10 карт, посвященных отдельным топонимическим явлениям, с. 29—39), «Список сокращений и условных знаков» (с. 41—42) и «Словарик употребленных терминов» (с. 43—44).

В этих вступительных материалах, в частности, сообщается, что на территории Чехословакии славяне появились в начале VI в. (в восточной Словакии — несколько раньше) и уже с начала VII в. этнический состав населения стал почти исключительно славянским (с. 14—15). Предшественниками славян на этих землях были, в последних веках до нашей эры, кельтские племена. Одно из них, племя боев, оставило по себе память в хороним *Baiahaim* > *Bohemia* «Чехия», образовавшемся уже на германской почве. Перед началом нашей эры кельты были вытеснены с этой территории германскими племенами — прежде всего маркоманами и квадами. Германский топонимический субстрат представлен в Чехословакии рядом названий, по преимуществу рек и гор. Наряду с древнейшими, дославянскими германизмами, в топонимии Чехословакии имеется немало более поздних названий немецкого происхождения, явившихся результатом длительных славяно-германских языковых контактов (с. 27).

Предложенная в рецензируемом исследовании классификация географических названий традиционна для топонимистов ЧССР и основывается преимущественно на идеях В. Шмилауэра. Все географические названия членятся по своему топонимическому значению на два класса — названия населенных мест (místní jména) и названия ненаселенных мест (pomístní jména), которые разделяются в свою очередь по этимологическому, дотопонимическому значению, на 13 групп, из которых первые 4 относятся к названиям населенных мест, а остальные — к названиям ненаселенных мест. Каждая из 13 групп содержит дальнейшую более или менее детализированную семантическую рубрикацию, причем в первых двух группах («название жителей» и «отношение к лицу») — и только в них — эта рубрикация сопровождается перечнем основных словообразовательных средств, обслуживающих данную семантическую подгруппу.

Это — хорошая, продуманная классификация. Но она, как, впрочем, и все другие из ныне сохраняющихся в ономастическом обиходе, имеет свои слабые, уязвимые стороны. Среди них — нарушение единства принципа классификации. Наряду с собственно семантическими группами в составе первого топонимического класса выделяется группа «иноязычные имена», а в составе второго класса — группа «остальные имена» (где наряду с разрядом неясных выступают все те же иноязычные имена). Но ведь все иноязычные имена тоже имеют свою мотивацию, свой этимологический смысл! Например, смысл ойконимов

Варнсдорф, *Карлштейн* адресует их группе «отношение к лицу», точно так же ойконимы *Вамберк*, *Кромпахи* по смыслу должны фигурировать в группе «вещественное обозначение» (т. е. топонимическая метонимия) и т. д.

При этом вторичное использование иноязычных топонимов для номинации географических объектов на метафорической основе непоследовательно включается то в группу «иноязычные имена» (*Табор*, с. 33), то в соответствующую семантическую группу. Например, топоним *Америка* фигурирует в подгруппе «удаленность» группы «общее отношение и свойство» (с. 37). Судя по иллюстративному материалу, метафоры в классификации вообще редко принимаются во внимание. Так, название *Кобыла*, входящее в топонимию обычно в качестве географического термина, а не названия животного, приведено тем не менее в группе «животные» (с. 40). Названия явно одного ряда, идущие от указания на температуру воды,— *Teplice* и *Studenec* — оказались в классификации в разных рубриках (с. 33).

Включенные в исследование топонимические карты интересны, составлены они квалифицированно. Но карты эти слишком уже автономны: они никак не связаны с текстом словаря. Было бы уместным и желательным как-то прокомментировать эти карты во вступлении (или отдельным текстом), сослаться на них в соответствующих словарных статьях. Отметим также, что карты № 3 и № 9 посвящены ареалам несущественных для топонимики фонетических различий. При этом на карте № 3 рассмотрен суффикс *-ary*, *-ár y* «служебных» названий населенных мест (*Бечвары*, т. е. «Бочары» и т. д.). Но разве суффикс *-ary*, *-áyr* имеет какое-либо отношение к топонимическому словообразованию? Он образовывал названия лиц по профессии, т. е. действовал на дотопонимической стадии, а уже эти готовые названия могли становиться именами селений по феодальной повинности либо преимущественному занятию жителей. Приведенная в словаре классификационная схема совершенно справедливо отмечает, что «служебные» названия образовывались просто формой множественного числа (с. 28). И ойконим *Бечвары* образован точно так же, как, скажем, ойконим *Златники*. Выделение здесь суффикса *-ары* попросту неправомерно. Отметим, кстати, что и суффикс *-ná*, выделяемый авторами в качестве топонимического (с. 22), не всегда является таковым. Во всяком случае, название части города Брно *Lesná* взято от готового, существующего в чешском языке прилагательного *lesní*, а не специально образовано топонимическим суффиксом *-ná* от существительного *les*.

В целом же топонимический словарь И. Люттерера, М. Майтана и Р. Шрамека «Географические названия Чехословакии» — явление выдающееся, важный этап и своеобразный итог большой и многоплановой исследовательской работы чешских и словацких ономастов. Специалисты получили ценную и надежную сводку современных данных по истории и этимологии важнейших топонимов ЧССР. Читатели-неспециалисты, которым под видом топонимики обычно предлагается лишь набор наивных «туристских легенд», имеют, наконец, достоверное, доступное и вместе с тем глубоко научное описание рождения и жизни географических названий.

Карпенко Ю. А.

Копыленко М. М., Саина С. Т. **Функционирование русского языка в различных слоях казахского населения.**— Алма-Ата: Наука, 1982. 112 с.

Работа М. М. Копыленко и С. Т. Саиной представляет собой оригинальное социолингвистическое исследование синхронного состояния казахско-русского двуязычия в четырех областях Казахской ССР (Алма-Атинской, Семипалатинской, Кокчетавской и Кзыл-Ординской), выполненное методом анкетирования с применением способа квот. Всего было роздано свыше 4,5 тыс. анкет. Полученные ответы были обработаны на ЭВМ и представлены в виде различных таблиц и схем, на материале которых проводился содержательный анализ данных, делались необходимые обобщения и выводы.

Новаторский характер данной монографии может быть понят на основе сравнения с подобными исследованиями как в нашей стране, так и за рубежом. Так, например, изучение двуязычия американскими социолингвистами (Дж. Фишман и др.) опирается на теорию «малых групп» (семья, профессиональная группа) и не позволяет сделать обобщения относительно целого региона или страны. С другой стороны, широкий подход ряда отечественных социолингвистов, основанный на данных переписи населения и соотношения языковой продукции на различных языках (количество издаваемых книг, газет, журналов, радиопередач и т. п.), несколько оттеснял самих носителей двуязычия.

Выяснение роли русского и казахского языков в различных социальных ситуациях и в устах различных слоев казахского населения — основная задача рецензируемой работы. Для решения данной задачи авторы разработали оригинальную анкету из 13 так называемых «закрытых вопросов», подразумевающих получение стандартных ответов более чем по 50 позициям.

Рецензируемая книга состоит из предисловия, введения, пяти глав, заключения и приложения.

Во введении рассматривается роль социальных и демографических факторов в развитии и функционировании русского языка в Казахстане от периода добровольного присоединения Казахстана к России до наших дней.

В I главе излагаются методы социолингвистических исследований, причем наиболее подробно рассматривается метод анкетирования и его преимущества (скорость исследования и незначительные материальные затраты, надежность и объективность получаемых результатов в связи с использованием современной вычислительной техники). На с. 20—22 приводится анкета для жителей города, а на с. 22—24 — для жителей села.

Главы II и III являются центральными, основанными на качественной интерпретации результатов анкетирования городского (II гл.) и сельского (III гл.) населения. Здесь авторы прослеживают различия в использовании русского языка двуязычными представителями казахского населения в зависимости от их демографических (пол, возраст) и социальных признаков (образование, профессия и др.). В этих главах устанавливается определенная корреляция между социально-демографическими признаками информантов и характером использования ими казахского или русского языка в различных ситуациях общения (общение в семье, с друзьями, с коллегами, выступление на собрании, чтение специальной и художественной литературы и т. п.). Полученные результаты носят нестандартный характер. Покажем это на примере влияния образования на использование русского языка. Общая, ставшая тривиальной гипотеза гласит: чем выше образование, тем шире использование русского языка. Она подтверждается исследованием, но при этом получены очень интересные конкретные данные. Например: 1) информанты, получившие гуманитарное образование, реже прибегают к использованию русского языка, чем получившие естественно-научное или техническое образование; 2) в неофициальных сферах общения (друзья, переписка) использование русского языка имеет еще большие ограничения.

Глава IV представляет собой фактически обобщение материалов предыдущих двух глав, она рассматривает общность и различие в использовании русского языка жителями города и деревни. Здесь же проанализирован очень важный показатель двуязычия — степень владения русским языком представителями города и деревни. Для выяснения этого вопроса был разработан специальный тест (см. с. 86 и сл.) и критерии оценки.

Глава V посвящена рассмотрению русских вкраплений в казахских художественных текстах. Обычно речевые вкрапления рассматриваются с точки зрения их структурных особенностей. Авторы рецензируемой книги обратили внимание на их функциональные особенности, т. е. в качестве стилистического средства. Несмотря на оригинальность данного подхода и интересный фактический материал, эта глава представляется нам связанной довольно слабо с предыдущими. Вероятно, лучше было бы дать ее в приложении.

На основе своего исследования авторы приходят к очень важным выводам (см. заключение, с. 107): 1) хотя позиции русского языка в республике значительно укрепились, это не привело к снижению роли родного — казахского языка; 2) наоборот, за годы Советской власти сферы использования казахского языка значительно расширились (средства массовой информации, область художественной, политической и научной литературы, образования и т. п.); 3) имеющиеся различия в территориальном использовании русского языка связаны с конкретной демографической и национально-языковой ситуацией данного региона; 4) русский и казахский языки не конкурируют друг с другом на территории Казахстана, а дополняют друг друга, их использование в каждой конкретной ситуации обусловлено потребностью в наиболее экономном и целесообразном удовлетворении коммуникативных потребностей общества в целом.

Материал книги убедительно показывает, что миф о насильственной русификации нерусских народов и их языков не имеет под собой никакой почвы. Практически использование русского языка как языка межнационального общения не сказывается отрицательно на внутриэтническом общении на родном языке.

Теоретическая ценность работы М. М. Копыленко и С. Т. Саиной заключается в разработке методов и приемов социолингвистических исследований, которые могут быть использованы и в других регионах нашей многонациональной страны. Практическая ценность их исследования заключается в том, что полученные данные важны для научного обоснования языковой политики в зависимости от языковой ситуации в различных областях Казахской ССР.

Данная монография представляет интерес не только для социолингвистов, но и для социологов, демографов, педагогов, историков и партийных работников.

Карлинский А. Е.

Matešić J. **Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika.**— Zagreb: Školska knjiga, 1982. 808 s.

За последние годы в связи с общим развитием фразеологии как особой лингвистической дисциплины во многих славянских странах развернулась работа по созданию фразеологических словарей. Из больших толковых одноязычных словарей следует отметить двухтомные своды болгарской и польской фразеологии, фразеологический словарь русского языка, из небольших — словари белорусской и словацкой фразеологии. Создан так же ряд весьма интересных двуязычных фразеологических словарей и масса словарей учебного типа.

Сербохорватская (хорватскосербская) фразеология в этом отношении до сих пор оставалась белым пятном, что весьма усложняло исследования по сравнительно-историческому и сопоставительно-типологическому славянскому языкознанию. Этот недостаток ощущался тем острее, что и в чисто исследовательском плане именно сербохорватская фразеология была в славистике изучена весьма недостаточно. Словарь, составленный коллективом югославских и западногерманских лексикографов под руководством Й. Матешича в принципе ликвидировал эту большую лакуну. Объем, качество фразеографической обработки материала, продуманное расположение фразеологических единиц (далее — ФЕ) и другие достоинства делают его одним из лучших европейских фразеологических словарей.

Основная цель составителей — как можно полнее отразить сербохорватскую фразеологию, истолковать значения ФЕ. Эту нацеленность на конкретный материал нельзя не приветствовать, ибо до сих пор он был рассыпан во многих словарях, словариках и паремиологических сборниках и не мог широко использоваться. В словаре зарегистрировано около 12 тысяч ФЕ, что, например, в три раза превышает число оборотов, представленных во «Фразеологическом словаре русского языка» под ред. А. И. Молоткова. Столь большой объем обусловлен тем, что авторы не стремятся быть нормализаторами и кодификаторами: их словарь создан не по нормативному, а по описательному принципу. В этом богатом лексикографическом источнике отражены не только те ФЕ, которые употребляются в современной сербской и хорватской литературе и публицистике, но и те, которые звучат в живой речи. При этом критерием для включения таких разговорных, просторечных, жаргонных и сленговых ФЕ служит их регистрация в речи по крайней мере двух-трех носителей языка.

Важным критерием отбора материала для подобных изданий является дефиниция ФЕ и границ фразеологии составителями. Здесь авторы следуют оправданному и рациональному для лексикографии принципу, включая в корпус словаря лишь ФЕ в узком понимании, т. е. практически — лишь идиоматику. Тем самым достигается качественное единообразие описываемого материала.

В словаре нашли отражение все структурно-семантические типы сербохорватской идиоматики — глагольные, номинативные, адъективные, адвербиальные. Чрезвычайно богато представлена здесь компаративная фразеология, что далеко не всегда характерно для фразеологических словарей общего типа. Так, под стержневым словом *pas* «собака, пес» дано 26 устойчивых сравнений (с. 453—454). Широко отражена и фразеология с точки зрения ее происхождения. Основной корпус словаря составляет исконно сербохорватская идиоматика, но даются и старославянизмы, тюркизмы, русизмы, галлицизмы, англизмы и т. д. Особо важно, что авторы мобильно регистрируют в своем труде самые современные обороты — например, *bìti nàlaziti se* ipf. *naći se* pf. i sl. *u àutu* «быть в неблагоприятной ситуации, жить вне событий, вне происходящего», *ȍtići* pf. *u àut* «попасть в неловкое положение, невыгодную ситуацию» (с. 4) или *zvjèzdani trenȕtak* «особо удобное, удачное время, лучшие минуты кого, чего; звездный час» (с. 701). Большим подспорьем для исследователей сербохорватской фразеологии и помощью в отыскании конкретного оборота являются пунктуально составленные отсылочные статьи на каждый компонент ФЕ — включая стержневые компоненты, под которыми дано описание ФЕ: таких статей около 30 тысяч.

Самостоятельную ценность имеют в рецензируемом словаре контекстные иллюстрации. Они обычно отличаются яркостью и экспрессивностью (ср. контексты к обороту *sjèsti* pf. (*pàdati* ipf. *pàsti* pf. i dr.) *nà dupe* — с. 110). Благодаря таким иллюстрациям демонстрируется нередко шкала варьирования ФЕ в художественной и живой речи [ср. *pòdrezati* pf. (*pòdsjeći* pf., *pòstrići* pf., *sàpèti* pf., *potkrèsati* pf. i sl.) *komu, četu krȋla* — с. 278].

Большей частью, как уже отмечалось, иллюстративные примеры черпаются из художественной литературы нашего времени, хотя в словаре широко представлена и классика. Весьма положительно можно оценить и включение в словарь переводных текстов, например, переводы с русского произведений Л. Н. Толстого (С. Краньчевич), Ф. М. Достоевского (Кушан-Лукич) или с английского, польского, чешского, греческого и др. Это в какой-то мере — нарушение фразеографической традиции, но оно особо оправдано для южнославянской языковой зоны, где переводы всегда играли значительную роль и в художественном творчестве писателей, и в формировании литературного языка. Нельзя не приветствовать и широкую эксцерпцию из публицистических изданий, которая и позволила отразить самые новые веяния во фразеологическом обогащении сербохорватского языка. И, конечно, учитывая близость литературного (стандартного) языка к живой речевой стихии в Югославии, можно признать абсолютную оправданность отражения разговорно-просто-

речных элементов фразеологического фонда.

Практично расположение материала: оно подчинено доминанте стержневого слова, которым условно избирается первое существительное, прилагательное или глагол (при отсутствии существительного). В результате читателю легко проследить за семантической системой больших фразеологических рядов. В одно гнездо собраны, например, соматические обороты с компонентами *ruka*, *noga*, *glava* и т. д., а наличие отсылочных статей в этом же гнезде позволяет обозреть всю совокупность фразеологических ассоциаций, порожденных соответствующими лексемами.

Отражение системных отношений ФЕ — вообще сильная сторона словаря. Авторы особо внимательны к регистрации такого специфичного для фразеологии вида варьирования, как лексическая замена компонентов. Причем регистрируются не только компонентные замены на базе синонимии, но и на базе общего семантического поля: *dolijévati* ipf. (lijévati ipf., *dòliti* pf., *báciti* pf. i sl.) *ûlje nà vatru* и под. Достаточно компактно и четко разграничивается многозначность, постоянно учитывается грамматическая специфика ФЕ и влияние синтаксического окружения на их семантику. Авторы последовательно фиксируют и ударение, что вполне оправдано спецификой акцентовки сербохорватского языка.

Способ семантической характеристики ФЕ — в основном описательный. Толкования, правда, не стандартны и не унифицированы (как, например, в болгарском фразеологическом словаре), но в большинстве случаев корректны и точны. Они могут быть и развернутыми, и предельно лапидарными (до одной лексемы-синонима) и — реже — могут дополняться фразеологическим синонимом (например, к ФЕ *dogúrati koga do dȕvara* при развернутом толковании дается и синонимический оборот *utjerati koga u škripac*) (с. 117). В некоторых случаях используется и семантический конкретизатор, указывающий диапазон применения ФЕ: например, к обороту *strijéljati ȕšima* в круглых скобках дан поясняющий комментарий — «о лошади, об осле и и под.» Авторами сделана также попытка разграничить сербский и хорватский варианты во фразеологии. Сами они, однако, сознают трудности и некоторую условность такого разграничения (с. IX), поэтому такие попытки в тексте словаря спорадичны.

Естественно, что в столь монументальном труде можно найти и некоторые лексикографические недочеты. В целом, как отмечалось, проблема выделения ФЕ из необъятного корпуса устойчивых оборотов разного типа авторами решена верно. Среди критериев, которые служили им опорой такого выделения, однако, нет столь важного, как экспрессивность. Несколько приближается к этому критерию, правда, «идиоматичность», понимаемая как семантическое преобразование хотя бы одного из компонентов ФЕ, но она не адекватна экспрессивности. Отсюда, как кажется, случаи отражения в словаре таких сочетаний, которые либо демонстрируют широкую сочетаемость того или иного переосмысленного слова (*plívati u bogàtstvu* «купаться в богатстве»), или, по сути дела, являются метафорическими лексемами, а не словосочетаниями (*bìti bógin* «быть боговым», т. е. умереть, погибнуть; *bȉti dúša* «быть душой чего»), либо же представляют собой термины и вообще сочетания терминологического, номенклатурного и под. типа (*sȕhī rèžīm* («сухой закон», *nèčisti dȕh* «нечистый дух, сатана», *ćòravā Anđelija* «мартовская вьюга»).

Весьма ощутимой лакуной словаря является отказ составителей от стилистической паспортизации материала: ведь уже широкий принцип его отбора и обращение к самым разным регистрам литературной и живой речи делают такую паспортизацию особо необходимой. Понятны трудности, с которыми сталкиваются фразеографы при описании ФЕ. Однако разграничение хотя бы «глобальных» стилистических регистров (книжн., прост., разг., жарг., сленг.) — не говоря уже о распределении ФЕ по шкале экспрессивности — важнейшая задача демонстрации этих единиц как системного целого.

Из мелких недочетов можно отметить гипертрофированное внимание составителей к глагольному виду. Видовые пары, конечно, довольно сложная лингвистическая проблема, но для носителя языка (которому предназначен словарь) они большой трудности не представляют. По-видимому, «пестрящие» видовые пометы при глагольных компонентах ориентированы скорее на немецкого читателя (словарь создавался при широком сотрудничестве с коллегами из ФРГ, и его материал в какой-то мере стал основой и будущего сербохорватско-немецкого фразеологического словаря), чем на югослава. Странно, что в списке словарей, которые подвергнуты эксцерпции, не оказалось «первоосновы» сербохорватской лексикографии — словаря Вука Караджича. Правда, в списке «цитированных произведений» есть некоторые труды Вука — например, «Kovčežić za istoriju, jezik i običaje». Отдельные замечания можно высказать и по принципу расположения материала: внутри вокабулы не формализована парадигматика, что затрудняет поиск в большой группе ФЕ (например, см. стержни *Bog*, *Duša* и под.). Лишнее место, как кажется, занимают «пустые» отсылки на глаголы *biti* «быть», *imati* «иметь» и под.: вряд ли читатель будет искать соответствующую ФЕ под этими глаголами.

Созданный словарь — крупный вклад в славянскую фразеографию и фразеологию. Материал, заключенный в нем, поможет решить многие спорные вопросы фразеологической теории и практики. В частности, уже сейчас ясно, что он станет большим подспорьем при выяснении этимологии ФЕ. Так, до сих пор существовали два взгляда на происхождение ФЕ *положить зубы на полку*. Первый связывал ее с «зубьями» приспособлений для пряжи, которые откладывались якобы весной, с наступлением голодного

периода, на полку. Второй объяснял ее как народную шутку. Варианты того же оборота в сербохорватском языке, фиксируемые словарем — *stàviti* (*mètnuti*) *zûbe na pòlicu* и *mètnuti* (*ôbjesiti*) *zûbe ô klin*, убедительно свидетельствуют (при наличии подобных польских, чешских и других соответствий), что о чисто русском «этнографизме» уже не может быть и речи и что перед нами — древний славянский фразеологический каламбур. Материалов подобного рода в словаре весьма много. Вот почему этот фразеологический тезаурус несомненно станет источником, из которого будут черпать и художники слова, и лингвисты, и этнографы — все те, кому дорога живая и образная речь славянских народов.

Мокиенко В. М.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1984

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

23—25 ноября в Москве и Ленинграде состоялась Всесоюзная конференция «Типологические исследования на современном этапе и значение работ академика И. И. Мещанинова». Конференцию, посвященную столетию со дня рождения акад. И. И. Мещанинова, открыл директор Института языкознания АН СССР акад. Г. В. Степанов. Во вступительном слове он охарактеризовал сложный период формирования и становления отечественного языкознания, завершившийся дискуссией 1950 г. Нельзя считать, что дискуссия 50-х годов не принесла никаких положительных результатов: в ходе дискуссии отбрасывалось то, что воспринималось как устаревшее; отечественное языкознание крепло и ныне вышло на передовые рубежи мировой языковедческой науки. Акад. И. И. Мещанинов преодолел упрощенное понимание исторических процессов развития языка, свойственное лингвистам того времени. В его творчестве ведущим был принцип историзма. Как показывает нынешняя конференция, советское языкознание смогло по достоинству оценить вклад И. И. Мещанинова в изучение многих языков, в их типологическое исследование.

В коллективном докладе чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцевой, М. М. Гухман, Г. А. Климова, В. З. Панфилова (Москва) были рассмотрены основные проблемы типологических исследований в современном языкознании.

Исходя из понимания языка как средства коммуникации и выражения мысли, следует считать, что типологическая близость языков должна основываться на их глубинных, семантически содержательных категориях, а это неизбежно подводит исследователя к проблеме языковых универсалий. При любой ориентации лингвистического исследования необходимо учитывать особенности строения системы языка. Брать за основу типологических определений только один из уровней языка недостаточно, целесообразнее искать те взаимосвязанные межуровневые явления, в области которых может проявиться специфика различных уровневых признаков. Если исходить из определения языкового типа как формы организации понятийного содержания языка, то различные формы расчленения понятия, или, наоборот, явление синкретизма (например, объединение понятий вида и времени, вида и наклонения и т. п.) имеют прямое отношение к проблеме выделения языковых типов.

В течение длительного времени типология рассматривалась как лингвистическая дисциплина, исключающая любое историческое осмысление сопоставляемых фактов. Вместе с тем, скорее в плане постановки проблемы, возник вопрос о возможности применения типологических параметров к изучению языковых изменений. Направления исторической типологии — формальное (морфологическое), контенсивное (включающее направление синтаксическое, но не тождественное ему) — соотнесены с разновидностями синхронной типологии, ведущее значение которой очевидно. В контенсивной типологии недостаточно ясным является сам состав дифференциальных признаков, привлекаемых при выделении языковых типов; нуждается в дальнейших исследованиях и стратификация языковых типов. В применении к контенсивной исторической типологии построение диахронических констант, моделирующих узуальные однонаправленные трансформации языковых типов, остается актуальной задачей будущих исследований.

Вовлечение в орбиту исследования разнотипных языков, тесно связанное в СССР с именем И. И. Мещанинова, приводит к преобразованию типологии из дисциплины, обслуживающей описание фактического материала, в дисциплину, претендующую на его объяснение. В центре внимания типологии неизменно оказывалась проблема взаимоотношения слова и предложения в разнотипных языках. Степень проявления вербоцентрической структуры предложения существенно варьирует по языкам различной типологии. Будучи особенно очевидной в языках активного строя, она несколько менее отчетливым образом выступает в эргативных и еще менее заметной оказывается в номинативных языках. Одним из конкретных отражений подобной градации может, по-видимому, считаться различный удельный вес инкорпорирующих комплексов в языках трех названных выше типов.

Общим, универсальным для предложений во всех языках является выражение в их составе отношений актантов (т. е. субъекта и объекта) к действию и субъектно-предикатного отношения (отношения логического субъекта и предиката). Как отношения актантов к действию, так и субъектно-предикатные отношения, образующие два различных уровня передаваемой предложением мысли, получают формальное выражение в его структуре, что дает основание выделять в нем два уровня его членения —

синтаксическое и логико-грамматическое, или актуальное. Эти два вида членения предложения, по-видимому, имеют место во всех современных языках, т. е. являются языковыми универсалиями. Таким образом, корреляция, установленная И. И. Мещаниновым между характером структуры слова и синтаксического членения предложения, дополняется корреляцией между характером структуры слова и способами логико-грамматического (актуального) членения предложения.

В. З. Панфилов (Москва) в докладе «Соотношение формальных и содержательных критериев в типологической классификации языков» подчеркнул большую эвристическую ценность идей И. И. Мещанинова, работы которого положили начало направлениям в типологических исследованиях, известным в последние два десятилетия как синтаксическая типология и типология грамматических категорий. В докладе был подробно рассмотрен вопрос о характере соотношения синтаксического и логико-грамматического членения предложения, между которыми осуществляется постоянное взаимодействие. Есть языки, в которых оба эти фактора в том, что касается структуры предложения, действуют в значительной мере автономно (тюркские языки, нивхский и др.). Однако существуют языки, в которых оба уровня членения предложения менее автономны по отношению друг к другу: абхазско-адыгские и др. языки. Выражение субъектно-объектных отношений в составе предложения (синтаксическая типология, по И. И. Мещанинову) в настоящее время определяется как контенсивная (содержательная) типология, противопоставляемая традиционной (морфологической) типологии как чисто формальной. Докладчик сформулировал следующее положение: если определять форму как элементы в их соотношениях, как способ организации материальной и идеальной сторон языка, то формой обладает и та, и другая сторона языка. Традиционная, морфологическая типология по преимуществу исследовала форму материальной стороны языка, синтаксическая (контенсивная) типология, исследуя форму содержательной стороны предложения (выражение субъектно-объектных отношений в его составе), тоже является формальной.

Н. Н. Коротков (Москва) выступил с докладом «Проблема слова в языках разных типов». Рассмотрев статус слова как языковой единицы в китайском языке, докладчик сделал вывод, что в китайском понятие слова, имея определенную специфику, играет ту же центральную роль в описании языкового строя, что и во флективных языках. И наоборот, понятие морфемы как реально выделимой основной единицы «морфемного» уровня, качественно отличной от слова, здесь не играет такой роли, как в языках флективных. По мнению докладчика, есть основания говорить об относительном моносиллабизме и относительной аморфности китайского слова, сами эти типологические черты китайского слова носят взаимообусловленный характер, в совокупности порождая все те проблемы, которые наиболее характерны для китайского языка как антипода флективно-синтетических языков.

М. М. Гухман (Москва) в докладе «Понятийные категории, языковые универсалии, типология» отметила, что термин «понятийные категории» появляется в работах И. И. Мещанинова 1945 года в связи с выделением проблематики синхронной типологии синтаксических систем, когда особую значимость приобретает трактовка соотношения плана содержания и плана выражения. Модель типологического анализа, базисным компонентом которой стала «понятийная категория», явилась ответом на данную постановку вопроса. Теория понятийных категорий создавалась Мещаниновым в процессе сознательного преодоления влияния понятийного аппарата логики и психологии. Понятийные категории Мещанинова (ср. субъект, объект, модальность и т. д.) — это общие языковые категории, которые передаются в строе языка, а не через язык (языковые универсалии), получающие разную реализацию в конкретных языках. Различия преломляются в грамматических категориях и несловоизменительных лексических рядах, образующих в типологически разных языках своеобразные системы. Данная методика анализа явилась одной из первых попыток сочетать изучение категорий языка, образующих его содержательный каркас, с рассмотрением форм реализации этих категорий.

В докладе Г. А. Климова (Москва) «Различия в структуре предложения (активный, эргативный и номинативный строй предложения) и их роль в типологической классификации языков» говорилось о том, что современный этап разработки синтаксического аспекта контенсивной типологии характеризуется двумя важными моментами: 1) синтаксические особенности разнотипных языков приводятся в системное соответствие не только со специфическими для них чертами морфологии, но и с характерными для этих языков принципами организации лексики; 2) в исследовании возрастает роль собственно синтаксических критериев за счет внедрения в него ряда тестов на так называемые контролирующие свойства. Как отметил докладчик, дальнейшая разработка вопросов синтаксического механизма эргативной системы поставила под сомнение адекватность для ее характеристики таких категорий традиционной грамматики, как подлежащее и прямое дополнение. Так, даже авторы, признающие релевантность понятия подлежащего для эргативных языков, вследствие опоры на неодинаковые критерии выделяют его в составе эргативной конструкции неоднозначным образом. Г. А. Климов подробно рассмотрел особенности структуры предложения в языках трех типологических систем: активной, эргативной и номинативной.

В докладе «Части речи в языках различных типов» Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев (Москва) выступи-

ли против узкоморфологического подхода к проблеме частей речи, выработанного на материале индоевропейских языков, применение которого не дает возможности выделить части речи в языках с морфологией, типологически отличной от индоевропейской морфологии. По мнению докладчиков, само существование грамматического строя языка предполагает существование классов слов с общими грамматическими свойствами, которые могут быть разнообразными—синтаксическими, морфологическими или морфолого-синтаксическими. Синтаксические критерии выделения частей речи универсальны. Так, в китайском языке, равно как и в языках изолирующего типа, грамматические классы слов (части речи) могут быть выделены на основе учета трех групп признаков: 1) внутренней структуры сложных слов; 2) так называемых внешних морфологических признаков (словообразовательных и формообразовательных аффиксов и формантов и проч.); 3) всех видов синтаксических свойств.

Помимо докладов, на конференции были заслушаны сообщения и выступления ряда ученых.

Говоря о роли акад. И. И. Мещанинова в развитии исторических и филологических наук в Советском Азербайджане, акад. АН АзССР М. Ш. Ш и р а л и е в (Баку) отметил, что И. И. Мещанинов как лингвист-теоретик и самый авторитетный представитель советского языкознания уделял большое внимание той роли, которую азербайджанское языкознание сыграло в типологических исследованиях языков различных систем; он явился инициатором целого ряда научных и научно-организационных мероприятий, нацеленных на формирование и развитие прежде всего гуманитарных наук в республике.

Г. А. М е н о в щ и к о в (Ленинград) подчеркнул выдающуюся роль И. И. Мещанинова во введении в круг типологических исследований материала бесписьменных и младописьменных языков коренного населения Сибири и Дальнего Востока и многих языков Средней Азии и Кавказа.

Д. М. Н а с и л о в (Ленинград) в своем сообщении заострил внимание на том, что в трудах И. И. Мещанинова фундаментальные проблемы общего и теоретического языкознания освещались — в отличие от предшествующей традиции — преимущественно на материале неиндоевропейских языков. Так, например, для урало-алтайских языков им было показано, что в историческом развитии времена являются вторичными образованиями по отношению к видовым.

П. В. Ч е с н о к о в (Таганрог) высказал мысль, что в ходе сравнительно-типологического анализа должны учитываться различия и идентичность семантических форм мышления, воплощенных в конкретных языках, при этом сопоставление семантических форм мышления, свойственных различным языкам, должно производиться в пределах выделенных докладчиком восьми параметров как важнейших универсалий плана содержания языков.

Г. К. В е р н е р (Таганрог) в своем выступлении обоснованно утверждал, что гипотеза И. И. Мещанинова о наличии в прошлом в кетском языке посессивной конструкции предложения остается актуальной и она учитывается в последних исследованиях типологического состояния енисейских языков в прошлом и в настоящее время.

В. И. Д е г т я р е в (Ростов-на-Дону) в сообщении «Значение типологических данных для сравнительно-исторического изучения славянских языков» отметил, что типологические соответствия находят полезное применение в семантических реконструкциях грамматических категорий. Интерпретировав на этой основе некоторые наиболее древние грамматические формы числа в праславянском языке и обнаружив в них следы значения общего числа, В. И. Дегтярев высказал предположение, что общее число может быть реконструировано для дофлективного состояния праиндоевропейского языка.

А. С. А м а н ж о л о в (Алма-Ата) показал, что функционально-семантический подход к языковым явлениям, разработанный в трудах выдающегося советского ученого И. И. Мещанинова, находит самое широкое применение, в частности, в тюркском и казахском языкознании.

В сообщении «К роли падежной корреляции и залога в системе эргативности» З. Г. А б д у л л а е в (Махачкала) коснулся основных проблем языков эргативного строя: вопроса о необходимости установления единого и универсального признака, выражаемого различными синтаксическими конструкциями подлежащего, о характере маркировки отношений имени и глагола; о залоговости в эргативном строе предложения и др.

М. В. М а ч а в а р и а н и (Тбилиси) остановилась на некоторых аспектах взаимоотношения лексики и синтаксической структуры предложения в картвельских языках.

Подводя итоги конференции, акад. Г. В. С т е п а н о в отметил, что прослушанные доклады и сообщения свидетельствуют о громадной роли, которую акад. И. И. Мещанинов сыграл в организации исследований многочисленных языков и в разработке ряда коренных теоретических проблем языкознания.

Было принято решение о публикации материалов конференции.

Заключительное заседание состоялось в Ленинграде, в Малом конференц-зале АН СССР, где когда-то председательствовал на заседаниях сам И. И. Мещанинов.

Открывая заседание, заместитель директора Института языкознания АН СССР по Ленинградскому отделению А. И. Д о м а ш н е в отметил, что его проведение в Ленинграде закономерно, поскольку имя И. И. Мещанинова неразрывно связано с этим городом. А. И. Домашнев подчеркнул огромное значение трудов И. И. Мещанинова, в частности, его книги «Члены предложения и части

речи», оказавшей большое влияние на развитие советского языкознания, в особенности в области типологических исследований.

Содержательная характеристика И. И. Мещанинова как человека, ученого, организатора науки была дана чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкой (Ленинград) в ее «Слове об Иване Ивановиче Мещанинове». «Яркость И. И. Мещанинова,— сказала А. В. Десницкая,— слагалась из совокупности его личных качеств, в числе которых — талант, оригинальность научного мышления, преданность науке, неизменная благожелательность ко всем товарищам и ученикам, организаторские способности». А. В. Десницкая обрисовала основные этапы научной деятельности И. И. Мещанинова: вначале археография, затем археология и лингвистика, когда И. И. Мещанинов открыл для советской науки халдоведение (урартологию); уже в этот период для И. И. Мещанинова характерным было стремление к комплексному изучению древних культур — в аспекте истории, археологии, этнографии, языкознания. В середине 30-х годов И. И. Мещанинов стал директором Института языка и мышления, академиком-секретарем Отделения литературы и языка АН СССР. Собственным направлением лингвистических исследований ученого стали проблемы теоретического языкознания, и прежде всего синтаксической типологии.

Н. А. Баскаков (Москва) в докладе «Исследования И. И. Мещанинова в изучении типологии тюркских языков» осветил значение идей ученого для современной тюркологии. Широко использованные И. И. Мещаниновым материалы по тюркским языкам часто способствовали уточнению общелингвистических положений. Так, продуктивной для типологических исследований является общая концепция примата синтаксической структуры языка в отношении исследований других уровней языка. Разработанный под влиянием методов И. И. Мещанинова в тюркологии прием ретроспективной внутренней реконструкции архетипов позволил установить природу как всех основных синтаксических конструкций, так и развитие структуры слова и механизм агглютинации. Вместе с тем в типологических исследованиях И. И. Мещанинова, касающихся тюркских языков, есть положения, которые в современной тюркологии интерпретируются несколько иначе, чем это было представлено его информантами. Так, для тюркских языков ныне установлены не две основные единицы (слово и предложение), а три: слово, словосочетание и предложение.

В докладе А. В. Бондарко (Ленинград) «Теория понятийных категорий И. И. Мещанинова и типология функционально-семантических полей» концепция И. И. Мещанинова рассматривалась как один из этапов развития теорий, трактующих воплощение мыслительной категоризации в категоризации языковой. В концепции И. И. Мещанинова особое значение, по мнению автора, имеют два основных принципа: 1) рассмотрение понятийных категорий как категорий сознания и в то же время как категорий языковых; 2) направленность данной теории на выявление системности в языковом выражении рассматриваемых категорий. И. И. Мещаниновым намечена своего рода типология семантических единств в грамматике на основе разной степени системности средств выражения определенного категориального признака (категории понятий — понятийные категории — грамматические понятия). В докладе был подчеркнут принцип многообразия структурных типов функционально-семантических полей. Выделены два основных типа: 1) моноцентрические (сильно центрированные) поля, опирающиеся на грамматическую категорию; 2) полицентрические (слабо центрированные) поля, базирующиеся на некоторой совокупности различных языковых средств, не образующих единой системы форм (например, поля таксиса, бытийности, состояния и др. в русском языке).

А. Н. Жукова (Ленинград) в докладе «Типологические исследования палеоазиатских языков, понятие инкорпорирующих языков» отметила, что И. И. Мещанинов ввел в круг типологических исследований данные языков народов Севера, что способствовало как обогащению общелингвистической теории новыми фактами, так и усилению теоретической разработки вопросов грамматического строя младописьменных и бесписьменных языков. Идеи И. И. Мещанинова лежат в основе определения инкорпорирования в языках чукотско-камчатской группы как одного из способов выражения подчинительной синтаксической связи. Изучение всех типов инкорпоративных комплексов в чукотско-камчатских языках приводит к выводу: инкорпорирование — прием выражения подчинительной синтаксической связи между словами в предложении, базирующейся на включении в форму главенствующего слова основы зависимого слова. Отношения между членами инкорпоративного комплекса не формируют предложения, они служат для образования словосочетания.

В докладе М. А. Кумахова (Москва) «Типологические исследования западнокавказских языков» отмечалось, что в разные периоды истории языкознания высказывались различные точки зрения на типологию западнокавказских (абхазско-адыгских) языков. И. И. Мещанинов и его ученики относили данную группу языков к полисинтетическим языкам. Западнокавказские языки являются языками эргативного строя с очень высокой степенью синтеза глагольной словоформы. В них встречаются разные типы эргативной конструкции — глагольный (в абхазском и абазинском) и глагольно-именной (в адыгейском, кабардино-черкесском, убыхском), причем первый тип (глагольный) является исходным.

А. П. Володин и В. С. Храковский (Ленинград) в сообщении «Типология императива» указали, что, занимаясь этой проблемой, они пытались решить ее в духе традиций И. И. Мещанинова — общие выводы базируются на

широком типологическом материале, причем к сопоставлению привлечены практически все языки народов СССР. Авторы констатируют, что положение императива в системе глагола специфично — отличные от индикатива личные показатели, иная структурная организация парадигмы, ее нестабильность даже в разных описаниях одного языка и т. д. Построив семантическую модель словоформы императива, авторы выделяют в русском глаголе парадигму императива в составе восьми личных форм.

Чл.-корр. АН КазССР Р. Г. Сыздыкова (Алма-Ата), высказав сожаление, что среди казахских ученых нет языковедов-типологов, выразила надежду, что проведение конференции, публикация ее материалов будут стимулировать развитие типологических исследований в союзных республиках, в частности и в Казахстане (создаваемый контрастивный курс русского языка дает богатый сопоставительный материал).

Т. М. Гарипов (Уфа) отметил, что взгляды И. И. Мещанинова оказались удачно преломленными в изучении башкирского синтаксиса; типологическое изучение языков, начатое И. И. Мещаниновым, проводилось методом бинарных сопоставлений, в настоящее время расширяются контрастивные исследования, которые позволяют глубже проникнуть в специфику многих языковых явлений. Т. М. Гарипов внес предложение обратиться в соответствующие инстанции с ходатайством о присвоении имени И. И. Мещанинова одной из улиц г. Уфы, где ученый родился.

Ю. А. Крейнович (Ленинград), остановившись в своем выступлении на явлении инкорпорации, не имеющей до сих пор единого понимания, подчеркнул, что инкорпорирование — это синтаксическое основосложение, а не словосложение, и к нему неприменим термин «примыкание».

В выступлении И. Г. Мачавариани (Тбилиси) была освещена важная сторона научной деятельности И. И. Мещанинова — его урартологические штудии; будучи в свое время единственным профессиональным лингвистом, который занимался урартским языком, И. И. Мещанинов впервые детально разработал и дал точную интерпретацию многих вопросов грамматической структуры урартского языка (субъектно-объектные отношения, именное склонение, синтаксис, типологическое сопоставление с кавказскими языками и др.).

Розанова В. В. (Ленинград), *Юдакин А. П.* (Москва)

12—13 апреля 1983 г. в Институте языковедения им. А. А. Потебни АН УССР состоялись II научные чтения, посвященные памяти акад. АН УССР и чл.-корр. АН СССР Л. А. Булаховского (к 95-летию со дня рождения). Открывая чтения, директор Института языковедения АН УССР акад. АН УССР В. М. Русановский отметил, что Л. А. Булаховский по праву занимает одно из ведущих мест в истории отечественного языкознания. Ему удалось соединить воедино традицию дореволюционного классического языкознания с практикой языкового строительства в стране. Научное наследие Л. А. Булаховского — первого председателя Украинского комитета славистов, директора Института языковедения АН УССР (1944—1961) составляет около 400 наименований. Он создавал теорию славянской акцентологии, выработал методологию изучения украинского литературного языка. В течение многих лет Л. А. Булаховский был на Украине неоспоримым авторитетом во всех областях языкознания.

В ходе научных чтений было заслушано 17 докладов, из которых были посвящены непосредственно изучению научного наследия Л. А. Булаховского и 8 докладов развивали его научные идеи.

В. Г. Чурганова (Москва) выступила с докладом: «Л. А. Булаховский и русистика». Она подчеркнула непреходящее значение трудов выдающегося ученого по русистике, отметив, в частности, оригинальность его подхода к таким проблемам, как природа аналогических процессов, закономерности и типы деэтимологизации в русском языке, морфонологические явления в русском языке и др. Ряд трудов ученого, задуманных как учебные пособия для студентов, выходит далеко за эти рамки и представляет собой самостоятельную научную ценность. Среди них особое место занимают монографии «Курс русского литературного языка», «Исторический комментарий к русскому литературному языку» и «Русский литературный язык первой половины XIX века» (в двух томах).

В докладе Г. П. Пивторака (Киев) «Л. А. Булаховский об украинско-белорусской языковой общности» был отмечен весомый научный вклад ученого в разработку вопросов истории восточнославянских языков. Глубокое знание древней украинско-белорусской письменности и привлечение достаточного количества надежного фактического материала позволили ученому прийти к выводу, что общие украинско-белорусские фонетические и грамматические черты — это преимущественно архаические особенности, сформировавшиеся еще в период распада древнерусского языкового единства или даже раньше в ходе древнего и длительного сожительства и тесной связи южной и западной восточнорусских диалектных групп — предков украинского и белорусского языков. Общая же украинско-белорусская лексика, наоборот, является результатом позднейших тесных взаимоотношений украинцев и белорусов в усло-

виях общего государства — Литовского княжества. Научные идеи Л. А. Булаховского и намеченные им дальнейшие возможные направления в исследовании украинско-белорусских языковых отношений выдержали испытание временем и остаются перспективными и сейчас.

К. К. Трофимович (Львов) в докладе «Становление литературных языков лужицких сербов в концепции Л. А. Булаховского» остановился на его работе «Возникновение и развитие литературных языков», один из разделов которой посвящен языку лужицких сербов. В этом разделе глубоко и всесторонне освещен процесс формирования верхне- и нижнелужицких литературных языков. Положение ученого об отсутствии почвы для объединения обоих языков в один, который обслуживал бы всех лужицких сербов, актуально и в настоящее время. Докладчик отметил, что в его собственных исследованиях о становлении и развитии верхнелужицкого литературного языка плодотворно использовались идеи и положения Л. А. Булаховского, сделавшего большой вклад в теорию становления и развития литературных языков.

В докладе И. А. Стоянова (Киев) «Проблемы болгаристики в трудах Л. А. Булаховского» были подробно проанализированы труды Л. А. Булаховского по проблеме болгарского языкознания, в частности, его специальные работы: «Падение синтетического склонения в болгарском языке», «К болгарскому ударению», «Болгарский язык как источник для реконструкции древнейшей акцентологической системы» и др. Докладчик отметил, что эти работы широко используются современными болгарскими учеными, а монография «Введение в языкознание» в переводе на болгарский язык опубликована в НРБ. Л. А. Булаховский был первым на Украине советским языковедом-болгаристом.

В докладе «Исторический комментарий к современному литературному языку у Л. А. Булаховского как новое направление лингвистических исследований» О. Б. Ткаченко (Киев) на примере русского языка показал перспективность метода исторического комментирования у Л. А. Булаховского, исходившего из сосуществования в каждом из периодов истории языка нескольких стилистико-хронологических вертикальных слоев. В связи с этим наиболее адекватным описанием современного языкового состояния может быть только его историческое описание, построенное не в двух, как до сих пор, а в трех измерениях. Перенесение принципа этого описания на другие, более отдаленные периоды развития языка позволило бы создать и наиболее полную и точную (системную) историческую грамматику.

С. Ф. Бевзенко (Киев) в докладе «Исторический синтаксис украинского языка в концепции Л. А. Булаховского» отметил постоянный интерес ученого к историческому синтаксису и осветил глубину разработки Л. А. Булаховским ряда важнейших вопросов этой области отечественного языкознания. Докладчик высоко оценил вклад ученого в развитие теории членов предложения, классификацию типов предложений, выяснение истории отдельных типов предложений.

Всестороннее освещение основных принципов предпринятого в последние годы издания научного наследия Л. А. Булаховского нашло в докладе М. А. Жовтобрюха (Киев) «Пятитомное издание избранных трудов Л. А. Булаховского». Докладчик подчеркнул научные достоинства нового издания, указал на трудности при его подготовке к печати и отметил, что благодаря изданию пятитомника многие труды Л. А. Булаховского, опубликованные в свое время в труднодоступных (отчасти — редких) журналах и брошюрах, сейчас обрели новую жизнь.

Выступая с докладом «Первый этап издания научного наследия Л. А. Булаховского», Т. Б. Лукинова (Киев) отметила, что это издание осуществлялось общими усилиями АН УССР и АН СССР. Из печатных работ Л. А. Булаховского переиздано около 130, причем собранные вместе некоторые тематически связанные серии статей образовали монографии: «Возникновение и развитие литературных языков», «Славянские названия птиц», «Деэтимологизация в русском языке» и др. Во все тома вошло также около 40 л. раньше не публиковавшихся архивных материалов. Пять статей помещены в переводах с других языков (белорусского, немецкого, французского). В 5-томном издании опубликовано также много фотодокументов — портретов ученого, его снимков с другими языковедами: В. В. Виноградовым, И. К. Белодедом, А. С. Чикобава; писателями — М. Ф. Рыльским, П. Г. Тычиной, несколько автографов. Однако пять томов «Избранных трудов» Л. А. Булаховского не смогли вместить всего, что требует переиздания. В архиве еще имеются неопубликованные материалы. Планируется дальнейшая работа по изданию научного наследия выдающегося ученого как в Киеве, так и в Москве.

Н. П. Романова (Киев) в докладе «Язык художественной литературы и вопросы культуры речи в творческом наследии Л. А. Булаховского» главное внимание уделила общей языково-художественной (теоретической и методологической) концепции ученого. В частности, было подчеркнуто, что Л. А. Булаховский оставил не только непревзойденные этюды о языке художественных произведений, но и дал теоретическое определение основных понятий культуры речи и стилистики. Наблюдения и выводы Л. А. Булаховского по данным вопросам вполне актуальны в науке о языке и сейчас и дают в руки исследователя не только богатый теоретический и фактический материал, но и блестящие образцы его исследовательской обработки. Выход в свет «Избранных трудов» Л. А. Булаховского сделает более доступными рассеянные по различным изданиям его научные разработки и будет содействовать более активному их использованию в современной науке о языке художественной литературы и художественной речи.

Новые грани творческой биографии

ученого раскрыла Ю. Л. Булаховская в выступлении «Л. А. Булаховский и украинские писатели». Было отмечено, что творческие связи и тесная личная дружба соединяли Л. А. Булаховского с М. Ф. Рыльским и П. Г. Тычиной на протяжении многих лет. Эти связи базировались на общем интересе к языку художественных произведений, к вопросам художественного перевода, к воспитанию творческой смены, на совместной общественной деятельности, любви к славянским языкам и литературам.

На следующем заседании были заслушаны доклады, развивающие научные идеи Л. А. Булаховского.

Доклад А. А. Белецкого (Киев) «Независимые аналогические изменения грамматического строения родственных языков» был посвящен характеристике сходных изменений, происходящих в индоевропейских языках в процессе их развития на разных уровнях языковой структуры. На фонетическом уровне были рассмотрены ритмомелодические изменения, процесс монофтонгизации дифтонгов и вторичной дифтонгизации, фонетическое падение окончаний, приведшее к изменениям в морфологической структуре. Среди морфологических изменений общим является возникновение некоторых аффиксов из бывших местоимений, два направления в развитии артиклей (препозитивные и постпозитивные артикли) и грамматикализация глаголов. Среди синтаксических изменений было отмечено вытеснение инфинитивных оборотов аналитическими конструкциями, возвращение от гипотаксиса к паратаксису под влиянием устной речи (рекапитуляция), избегание деепричастных оборотов. Все эти изменения могут быть объяснены как генетической общностью рассматриваемых языков, так и внутриструктурными моментами. В заключение были приведены параллельные явления в неиндоевропейских языках.

В докладе Н. С. Зарицкого (Киев) «Частичная видовая соотносительность в глаголах русского языка» были представлены результаты изучения данного явления на материале сплошного обследования глагольной лексики современного русского языка. На основании предварительного вычисления глаголов-корнетипов, объединенных в четыре группы,— первично непроизводные, базальные глаголы (*нести*, *брать*, *купить* и др.), отыменные (*белить*, *ночевать*), звукоподражательные и глаголы с заимствованной основой (*агитировать*, *арендовать*) — создана типология частичной видовой соотносительности, определены механизмы ее формирования и функционирования.

Выступая с докладом «К проблеме славяно-венгерских межъязыковых контактов» В. В. Нимчук (Киев) отметил, что в языках, пребывающих длительное время во взаимосвязях, наблюдаются, кроме лексических заимствований, и дискретные заимствованные элементы — семантические и лексико-грамматические кальки. К последним в венгерском языке докладчик относит побудительную частицу *hadd* «пусть» — кальку славянского *chaj*, *nechaj* при образовании аналитической формы будущего времени. Славянским (древнерусским) влиянием можно объяснить также образование форм аналитического будущего времени. В. В. Нимчук поддержал мнение венгерского ученого Л. Кишша о том, что венгерские формы числительных 11—29 калькируют общеславянский тип, но, по мнению докладчика, в венгерском языке сохраняется влияние древнеугорского типа, в котором на первом месте помещались десятки, а за ними следовали единицы.

И. Г. Матвияс (Киев) выступил с докладом «Среднеприднепровский, волынский и подольский говоры и их отношение к новому украинскому литературному языку». Отметив общепринятое положение о том, что основой данного языка послужило юго-восточное наречие, в частности, среднеприднепровский говор, докладчик на материале Атласа украинского языка показал генетическую связь юго-западных и северных украинских говоров со среднеприднепровским и пришел к выводу, что в формировании норм современного украинского литературного языка приняли участие все украинские говоры, хотя роль разных говоров была различной. Наиболее близкими к среднеприднепровскому говору оказались соседние волынский и подольский говоры.

Основная идея доклада В. Г. Скляренко (Киев) «Ударяемые редуцированные гласные начального слога в древнерусском языке заключалась в том, что в древнерусском языке сильная позиция редуцированного гласного начального слога не зависела от его ударяемости, за исключением тех случаев, когда редуцированный гласный входил в сочетания *trъt*, *tlъt*, *trьt*, *tlьt*, а также иногда находился в позиции перед *j* (т. е. был напряженным редуцированным).

И. М. Железняк (Киев) в докладе «Роль экстралингвистических факторов в этимологическом исследовании гидронимов» подчеркнула, что важнейшими признаками топонимов является отсутствие у них лексической семантики и наличие так называемой точечной локализации. Интра- и экстралингвистические факторы порождают частные особенности номинации, которые и определяют всю сложность данной гидронимной системы. Мотивационную базу гидроосновы могут определять в совокупности совпадение во времени возникновения гидронима и активизации семантического признака определенного слова. Изучение принципов номинации открывает новые пути в исследовании географических названий. Каждое название требует отдельного монографического изучения, поскольку имеет свою неповторимую историю, для выяснения которой необходимо привлечение внелингвистического материала.

Основой доклада В. И. Ермак (Киев) «Некоторые вопросы перевода из сербохорватского и польского языков» послужил анализ отдельных произведений сербских и польских авторов конца XIX — первой половины XX в. сатирического направления. Их произведения вызывают специфические трудности при переводе на русский и украинский языки (экспрессивная лексика в речи дей-

ствующих лиц, фразеология, иронические эффекты в авторской речи с умышленным переплетением лексики «высокого» и «низкого» стилей и т. п.). Приведенные докладчиком примеры убедительно показали необходимость творческого отношения к переводу, восприятия произведения в его идейно-исторической обусловленности и художественно-стилевой специфике.

Подводя итоги II научных чтений, посвященных памяти Л. А. Булаховского, В. М. Русановский отметил высокий идейно-теоретический и научный уровень всех докладов, засвидетельствовавших дальнейшее творческое развитие научных идей выдающегося слависта, и подчеркнул необходимость продолжить издание его научного наследия, особенно неопубликованных трудов.

Материалы II научных чтений, посвященных памяти Л. А. Булаховского, решено опубликовать. III научные чтения предполагается провести в 1985 г. в Киевском государственном университете им Т. Г. Шевченко, где А. В. Булаховский на протяжении многих лет заведовал кафедрой славянской филологии.

Пивторак Г. П. (*Киев*)

17—20 мая 1983 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР и на филологическом факультете МГУ проходила конференция «Полесье и этногенез славян», организованная совместно двумя научными центрами в соответствии с решением Второго координационного совещания по комплексным проблемам истории и культуры славянских и балканских народов (Звенигород, 1978 г.). Первая конференция из серии запланированных на этом совещании прошла в Ленинграде в 1981 г., а очередную предполагается провести в Гомеле в 1985 г.

В нынешней конференции приняли участие представители 11 институтов Академии наук (Москва, Ленинград, Минск, Киев, Львов), 7 университетов (Москва, Ленинград, Минск, Киев, Гомель, Днепропетровск, Иваново), 8 пединститутов (Минск, Житомир, Мозырь, Луцк, Глузов, Сумы, Нежин, Курск), а также Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (Москва), Ровенского института культуры, этнографических музеев Киева и Львова и других учреждений. Было проведено 8 заседаний, на которых был заслушан и обсужден 61 доклад по археологии, антропологии, исторической географии, этнографии, этнолингвистике, диалектологии и фольклору Полесья.

Доклады первого дня заседаний затрагивали основные вопросы изучения Полесья и теоретические проблемы славянского этногенеза. Полесью как компоненту славянской прародины, его значению в славянской ареалогии и задачам комплексного этногенетического изучения был посвящен доклад Н. И. Толстого (Москва). В докладе Г. А. Хабургаева (Москва) «Об условиях междисциплинарного подхода к решению проблем славянского этногенеза» была затронута глотто- и этногоническая проблематика. Вопрос о соотношении этногенеза и глоттогенеза славян обсуждался в докладе В. В. Мартынова (Минск). А. С. Герд (Ленинград), говоря об объекте этногенетических исследований, подчеркнул, что краеугольным вопросом теории этногенеза является в настоящее время вопрос о методах анализа материала, а общей платформой для смежных научных дисциплин служит ареалогия. В. В. Седовым (Москва) на основе археологических данных была определена роль Припятского Полесья в этногенезе славян. Этногенетическому аспекту археологических культур Полесья были посвящены также доклады Л. Д. Поболя и В. Ф. Исаенко (Минск). Доклад Ф. Д. Климчука (Минск) касался выявления следов племенных и более поздних исторических границ в современном диалектном ландшафте Полесья. Вяч. Вс. Иванов (Москва) на широком сравнительном материале показал, что в архаических обычаях Полесья находят отражение индоевропейские обряды почитания и ритуального сожжения коня, конской головы и колеса. Ю. И. Смирнов (Москва) оценил полесскую эпическую традицию как дающую исключительное число общеславянских параллелей. В докладе В. Д. Дяченко (Киев) содержалась антропологическая характеристика полесского компонента славян сравнительно с другими компонентами.

Был заслушан ряд диалектологических докладов: Ф. Т. Жилко (Пушкино Московской обл.) — о вокализме полесских говоров украинского языка, Т. М. Судник (Москва) — о синонимии «быть» и «жить» в полесских говорах Белоруссии, Н. В. Никончука (Житомир) — об интерпретации некоторых балто-славянских лексических параллелей (полесск. *кульша* и др.), В. В. Шура (Мозырь) — о тюркизмах и полонизмах в полесской животноводческой лексике, В. М. Куриленко (Глухов) — о специфических животноводческих терминах Волынского Полесья. Связь полесской лексики с лексиконом других славянских регионов была показана А. Е. Супруном (Минск) на примере нескольких полесско-южнославянских изолекс (полесск. *зубель*, *зорыты*, *жэнь*, *зноіць*, *задарга*).

Три доклада были посвящены вопросам ономастики. П. А. Михайлов (Минск) рассказал о подготовке к изданию регионального ономастического словаря Туровщины. Е. Е. Черепанова (Сумы) на материале составленного ею словаря микротопонимов Черниговско-Сумского Полесья охарактеризовала некоторые структурно-семантические ти-

пы составных наименований болот, озер, урочищ и т. п. В докладе Р. М. Козловой (Гомель) обосновывалась исконно славянская принадлежность некоторых неясных по происхождению гидронимических названий бассейна Днепра.

На конференции была прочитана серия этнолингвистических докладов и сообщений. Этнолингвистический аспект реконструкции прасостояния диалектной лексики рассматривался в докладе П. Е. Гриценко (Киев), где была сделана попытка выявить в словах, восходящих к деривационному гнезду *kras-*, семантическую связь между понятием цветения ржи, представлениями о русалке, о радуге и некоторыми реалиями свадебного обряда. Сопоставляя существующее диалектное, этнографическое и археологическое членение территории Припятского Полесья, А. С. Соколовская (Минск) сделала вывод о близости этих границ к древней границе между славянами и балтами.

Ряд полесско-карпатских параллелей из области терминологии традиционной народной культуры был приведен в докладе Н. К. Гаврилюк (Киев). Г. А. Цыхун (Минск) указал на два полесско-южнославянских соответствия в лексике и сопутствующих ей обычаях и поверьях («ламкание» и «железный человек»). В докладе Ф. К. Бадалановой (Москва) содержалась интерпретация сходных полесских и южнославянских поверий, связанных с орехом и молнией, и их отражение в языке (например, в черниг. *аріхава маланка* «молния без грома»).

В докладе С. М. Толстой (Москва) об ареальной характеристике полесского традиционного календаря были выделены термины, приуроченные к определенным ареалам внутри Полесья и противопоставленные другим терминам с тем же значением (пары *Громницы — Стриченье*, *Страсть — Чистый четверг*, *Сухая середа — Сухой четверг* и др.). В докладе П. Ф. Романюка (Житомир) анализировалась терминология свадебного деревца и его обрядовые функции в зоне правобережного Полесья. Полесскому обозначению агонии как *брода* и связанным с этим термином обрядовым представлениям был посвящен доклад О. А. Седаковой (Москва). В докладе Т. Б. Лукиновой (Киев) о следах культа предков в обрядовой лексике была предложена попытка объяснения слова *упырь* в связи с древнеславянским обрядом трупосожжения: значение «покойник, не преданный сожжению» реконструируется на основе этимологической трактовки корня в связи с семантикой огня и префикса, имеющего негативное значение.

В докладе О А. Терновской и Ф. К. Бадалановой (Москва) была показана антонимичность символов совы и курицы, представленная в поверьях, в свадебном и жатвенном ритуалах, в обрядовом фольклоре и фразеологии (полесск. *сава смаленая*). Различные значения термина *коза* в земледельческой и календарной обрядности Полесья были рассмотрены Н. А. Старостенко (Гомель) в связи с архаической символикой этого животного в славянских народных представлениях. В сообщении Е. А. Левковской и А. Н. Никончука (Житомир) содержалась семантическая интерпретация слова *волк* в лесной терминологии Полесья. И. Я. Яшкин (Минск) проследил географию некоторых специфических для Полесья трудовых приемов и их названий.

20 мая было проведено заседание «круглого стола», на котором обсуждался вопрос славянского этногенеза.

Состоявшийся обмен мнениями и материалами по комплексному изучению полесских древностей был плодотворным и своевременным, способствующим сотрудничеству исследователей разных специальностей и взаимному согласованию результатов и выводов разных научных дисциплин. В докладах и выступлениях подчеркивалось особое значение ареального, картографического представления фактов, относящихся к ведению каждой отдельной дисциплины, и дальнейшего сопоставления и исторической интерпретации полученных изоглосс, изопрагм, изодокс и ареалов.

Участники конференции были единодушны в том, что Полесье представляет собой уникальную в славянском мире этнокультурную зону, сохраняющую до настоящего времени многие архаические формы языка, фольклора, материальной и особенно духовной культуры, что ставит перед современной наукой задачу систематического всестороннего изучения Полесья.

Более подробно содержание всех докладов и сообщений освещено в опубликованном сборнике тезисов: «Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы». Ко времени проведения конференции вышел из печати «Полесский этнолингвистический сборник» (отв. ред. Н. И. Толстой), который подводит итоги изучения традиционной духовной культуры Полесья. Сборник содержит богатый полевой материал, собранный в экспедициях, ежегодно проводимых Институтом славяноведения и балканистики АН СССР совместно с Московским университетом, и отражает работу над созданием Этнолингвистического атласа Полесья, которая ведется в Институте под руководством Н. И. Толстого.

Гура А. В. (Москва)

CONTENTS

Articles: K a c n e l ' s o n S. D. (Leningrad). The speechthought activity; K u b r i a k o v a E. S. (Moscow). On the nominative component of speech; Z y c a r' Y u. V. (Tbilisi). On the unity of mentality and differences of languages; V e r e š č a g i n E. M. (Moscow). On the problem of the homoioarkteon and the homoioteleuton in Byzantinian hymnography (analysis of rhymes in Old Slavonic translations); M a l k o v a O. V. (Moscow). On the origin of East-Slavonic languages (founded on the data of the Galician Gospel of 1266—1301); F r a n č u k V. J u. (Kiev). The language of Old Russian diplomacy; Š e v j a k o v a V. E. (Moscow). On the interaction of intonational and syntactic means of expressing grammatical meaning; **Materials and notes:** G r e č k o V. K. (Leningrad). On the semantics of passive constructions (founded on the materials of German scientific texts); T o m a x i n G. D. (Moscow). Toponyms as phenomena of language and culture (founded on the analysis of American geographical names); U š a k o v V. D. (Moscow). Stylistic function of the phrase-forming means (founded on the materials of the Koran text); Č e e r č i e v M. Č. (Makhachkala). On the theory of phonological extrapolations (founded on the materials of the Avarian language); P j u r b e e v G. C. (Moscow). On the typological study of the syntax of the sentence in Mongolian languages; B u z a r o v V. V., B u z a r o v a M. D. (Piatigorsk). Neutralisation on the syntactic level; X a r i t o n č i k Z. A. (Minsk). Semantic peculiarities of derivational adjectival words; B e r k e t o v a Z. V. Hierarchial and parallel lins of motivational fields in modern German; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: K a c n e l's o n S. D. (Léningrad). Les procès de la parole—pensée; K u b r i a k o v a E. S. (Moscou). Sur l'aspect nominatif du discours; **Discussions:** Z y c a r' Y u. V. (Tbilissi). L'unité de mentalité et différences des langues; V e r e š č a g i n E. M. (Moscou). Sur le problème de homoioarkteon et de homoioteleuton dans l'hymnographie byzantine (l'analyse des rimes dans les traductions vieux-slaves); M a l k o v a O. V. (Moscou). Sur l'origine des langues slaves orientales (fondé sur les matériaux de l'évangile galicien de 1266—1301); F r a n č u k V. Y u. (Kiev). Sur la langue diplomatique vieux-russe; Š e v j a k o v a V. E. (Moscou). Sur l'interaction de l'intonation et de syntaxe dans l'expression de la signification grammaticale; **Materials and notes:** G r e č k o V. K. (Léningrad). Caractéristiques sèmantiques des constructions passives (fondé sur les matériaux des textes scientiques allemandes); T o m a x i n G. D. (Moscou). Toponymes en tant que phénomènes de linguistique et de culture (fondé sur les materiaux des noms géographiques des États Unis); U s a k o v V. D. (Moscou). Fonction stylistique des moyens servant pour la formation des propositions (fondé sur l'analyse du texte de Koran); Č e e r č i e v M. Č. (Makhatchkala). Sur la théorie des extrapolations phonologiques (fondé sur les matériaux de la langue avarienne); P j u r b e e v G. C. (Moscou). Sur l'étude typologique de la syntaxe de la proposition dans les langues mongoles; B u z a r o v V. V., B u z a r o v a M. D. (Pjatigorsk). La neutralisation au niveau syntaxique; X a r i t o n č i k Z. A. (Minsk). Particularités sémantiques des mots dérivés adjectivaux; B e r k e t o v a Z. V. (Alma-Ata). Liens hiérarchiques et parallèles des champs de motivation en allemand moderne; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 29.04.84 Подписано к печати 6.07.84 Т-14607 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 82,1 тыс . Уч.-изд. л. 16,6 Бум. л. 5
Тираж 5793 экз. Зак. 134

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10